ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[12] 2012

ВУДХАУЗ, ОРУЭЛЛ, СТОППАРД *ET CETERA*

Основан в 1955 году

[12]
2012

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

Вудхауз, Оруэлл, Стоппард et cetera

Литературный гид: Дело Вудхауза 3

4 Роберт Маккрам *Жизнь Вудхауза. (Детство.)* Фрагменты книги. Перевод Андрея Азова, Игоря Мокина

32 П. Г. Вудхауз *Два рассказа.* Перевод Екатерины Доброхотовой-Майковой

49 Леонора Вудхауз *П. Г. Вудхауз дома.* Перевод Андрея Азова

54 Роберт Маккрам *Жизнь Вудхауза. (Военные годы.)* Фрагменты книги. Перевод Игоря Мокина

87 П. Г. Вудхауз *"Ты только не волнуйся, но тут к нам немецкая армия".* Перевод Андрея Азова

91 П. Г. Вудхауз *Моя война с Германией.* Перевод Екатерины Доброхотовой-Майковой

97 *Газетная война.* Отклики на берлинские радиопередачи П. Г. Вудхауза. Перевод и вступление Андрея Азова

112 Ивлин Во *П. Г. Вудхаузу: поздравление и покаяние.* Выступление на Би-би-си. Перевод Андрея Азова

123 Джордж Оруэлл *В защиту П. Г. Вудхауза.* Эссе. Перевод Андрея Азова

№ 137 Том Стоппард *До-ре-ми-фа-соль-ля-си-Ты-свободы-попроси.* Пьеса для актеров и оркестра. Перевод Ольги Варшавер. Предисловие автора

Малая проза романистов. Антология британского рассказа 164 *Вступление*

165 Джейн Гардем *Дамасская слива. Мертвые дети.* Перевод Ольги Новицкой

188 Адам Торп *Наемный солдат.* Перевод Сергея Ильина

194 Хилари Мантел *Этажом выше.* Перевод Екатерины Доброхотовой-Майковой

205 Дэвид Константайн *Чай в "Мидлэнде".* Перевод и примечания Александры Борисенко и Виктора Сонькина

210 Пенелопа Фицджеральд *Хирухарама.* Перевод Екатерины Кузнецовой

Литературное наследие 217

218 Вирджиния Вулф *"Я – Кристина Россетти".* Эссе. Перевод Маши Лукашкиной

225 Кристина Россетти *Стихи.* Перевод Маши Лукашкиной

Из будушей книги 235 Мария Карп *Оруэлл в Испании*

Анкета "ИЛ" 265

Библиография 271 *Английская литература на страницах "ИЛ". 2011–2012*

272 *Содержание журнала "Иностранная литература" за 2012 год*

281 *Алфавитный указатель авторов журнала "Иностранная литература" за 2012 год*

Авторы номера 283

© "Иностранная литература", 2012

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Б. В. Дубин

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Ю. П. Гусев
Г. М. Дашевский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Рудницкий
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

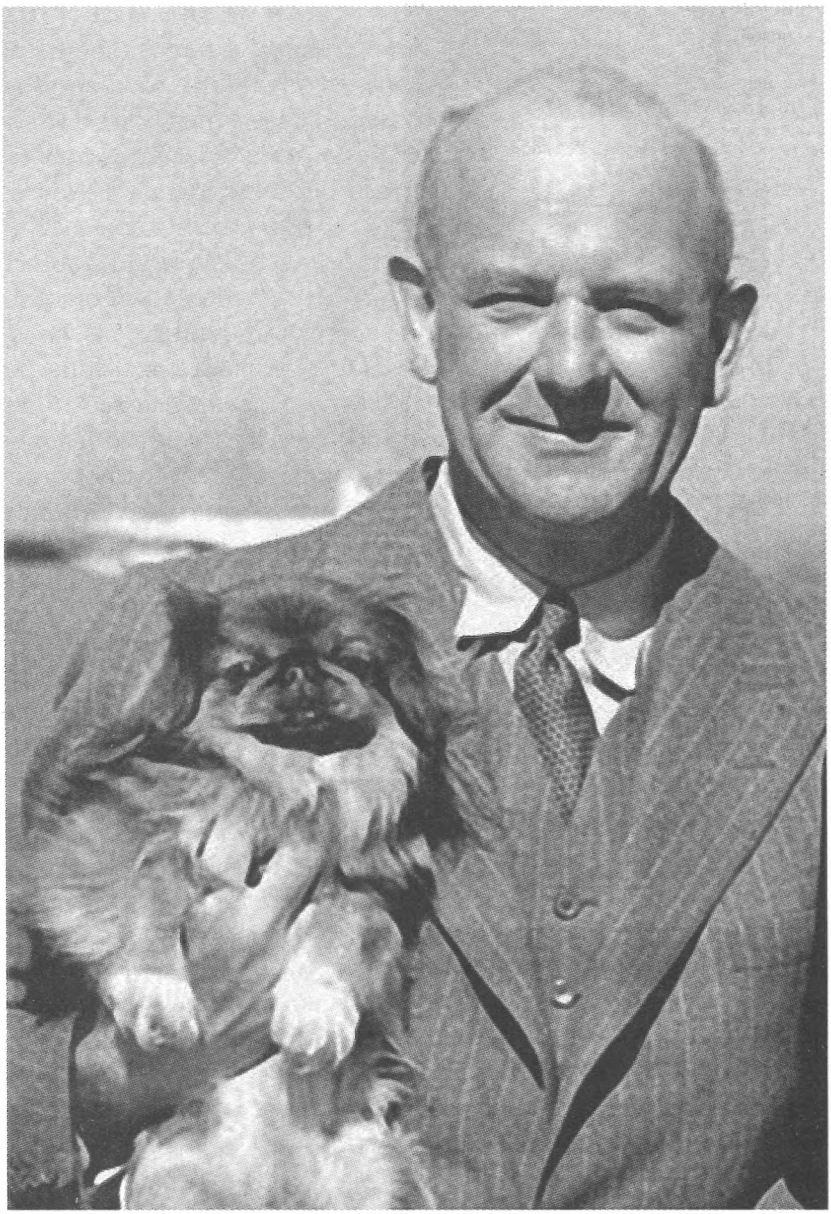
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :

Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Е. Д. Кузнецова
Е. М. Мамардашвили
Ю. Д. Романова
М. С. Соколова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Дело Вудхауза



Роберт Маккрам

Жизнь Вудхауза
(*Детство*)

Фрагменты книги

Перевод Андрея Азова, Игоря Мокина

"*Детство – лучше некуда*" (1881–1894)

– Бог ты мой, Дживс!.. По-моему, кто-то мутит воду в источнике, из которого проистекают имена, вам не кажется?

П. Г. Вудхаус *Дживс и феодальная верность*[1]

ВУДХАУЗ – древняя английская фамилия, теперь уже накрепко связанная с тем особым юмористическим повествованием, в котором действуют бестолковая молодежь, чудаковатые аристократы, всемогущие тетушки и камердинеры. Имя Вудхауза известно всему миру, окружено особой английской атмосферой – даже те, кто не читал из него ни строчки, знают, кто это такой...

© Robert McCrum, 2004
© Андрей Азов. Перевод, 2012
© Игорь Мокин. Перевод, 2012

1. Перевод И. Бернштейн. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. переводчиков.*)

Человек, которому довелось носить и прославить это древнее имя, третий сын Эрнеста и Элеоноры Вудхауз, родился 15 октября 1881 года в английском городке Гилфорд, по адресу Вейл-плейс, 1, по Эпсом-роуд. Его назвали Пелемом Гренвилом в честь крестного отца, и из этого, как он потом скажет, устрашающего наименования малыш мог выговорить только "Плам". Так он на всю жизнь и остался для своих родственников, друзей и почитателей Пламом, или Пламми. "Если вы спросите, нравятся ли мне имена Пелем и Гренвил, — писал он в 1968 году, — то признаюсь вам: нет". <...>

Вудхауз родился в викторианскую эпоху, созревал как писатель — в эдвардианскую и писал на протяжении большей части XX века. Он был на два года младше Эйнштейна, Троцкого и Э. М. Форстера; был сверстником Пикассо и Бартока и годом старше Вирджинии Вулф и Джеймса Джойса. Поколение, к которому он принадлежал, полностью перевернуло мир — его облик, язык, даже само время. Но Вудхауз, превративший — благодаря особому дару слышать музыку английской речи — юмористическую прозу в своего рода поэзию, не был революционером ни по духу, ни по воспитанию. Прежде всего он был англичанином, подарившим Англии безумно смешную версию себя самой — версию, которая своим появлением обязана его гению, и в немалой степени — его происхождению.

<...>

Отец Вудхауза, Генри Эрнест Вудхауз, вырос в Повике, городке неподалеку от Вустера. Он родился 14 июля 1845 года, окончил школу Рептон, поступил на государственную службу и в 1867 году получил назначение в Гонконг на должность мирового судьи, которую занимал до 1895 года. Высокий, сдержанный и добродушный, Эрнест — вслед за Бернардом Шоу — шутил, что происходит из "паданцев": ветви младших и ничего не наследующих сыновей. Он любил баловать детей и ходить на долгие прогулки; от него Вудхауз унаследовал крепкое телосложение и покладистый нрав. Влияние отца на Вудхауза очень заметно: это от него и его знакомых Вудхауз перенял восточные словечки, которыми пестрят его произведения[1]. Как пишет историк Дэвид Кеннадайн, англичане, служившие в колониальных странах, "старались воссоздать то сложно упорядоченное иерархичное общество, которое, как им казалось, они оставили на ро-

1. Это такие слова, как *бохи* или *улун* (китайский чай), *пурда* (изоляция женщин от мужчин в мусульманских странах, а в переносном смысле — замкнутость, одиночество) и т. п. В русских переводах Вудхауза они обычно не сохраняются.

дине"[1]. "Повсеместное стремление к почестям и наследуемым титулам", характерное для колонистов, не омрачалось сомнениями или беспокойством о судьбе имперской идеи. Вот от такой семьи Вудхауз и заразился интересом к бесконечным тонкостям классовых различий.

Как истинный англичанин, Эрнест проявлял полнейшее равнодушие к профессиональным обязанностям. За время своей восточной карьеры он научился погружаться в дрему по первому желанию и сохранил эту привычку после выхода на пенсию.

Совсем другим человеком была мать Вудзауза: эта волевая и властная женщина, которую родные шутливо называли "мемсахиб" — "белая госпожа", — держала в руках всю семью. Ее черты можно найти у многих героинь Вудхауза; да и своей упрямой решимостью писать во что бы то ни стало Вудхауз, наверное, обязан ей. Высокая и угловатая, Элеонора — по-домашнему Лил — Вудхауз происходила из не менее древней семьи, чем ее супруг, и могла похвастать не менее славной родословной и не меньшим изобилием родственников, владельцев загородных поместий. Ее отец, преподобный Джон Батерст Дин, номинальный викарий прихода Святой Елены в Лондоне, жил в Бате и отдавал все свои силы генеалогии, стремясь доказать, что род Динов происходит от Роберто де Дены, знатного норманна при дворе Эдуарда Исповедника, и что в числе их предков в XVI веке был архиепископ Кентерберийский. Попав в трудное положение, Берти Вустер тоже всегда вспоминает свою родословную. Например, в "Фамильной чести Вустеров":

> Конечно, хвастаться своими предками — дурной тон, но, черт возьми, Вустеры и в самом деле пришли в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем и, между прочим, были с ним большие друзья; но что толку от дружбы с Вильгельмом Завоевателем, если отпрыску древнего рода суждено погибнуть от зубов скотчтерьера[2].

Дины были истинно викторианской семьей с несколько богемными наклонностями. Сама Элеонора, тринадцатый ребенок в семье, успела проявить себя на сцене; ее бунтовщица-сестра Эммелина (для близких — Ним) обучалась живописи в Париже и семь раз выставлялась в Королевской академии художеств, а написанный ею портрет кардинала Ньюмена — дальнего родственника по материнской линии — и поныне хранится в Национальной портретной галерее; еще одна сестра, Мэри,

1. David Cannadine. Ornamentalism: How the British Saw Their Empire. — London, 2001. — P. 28.
2. Перевод Ю. Жуковой.

опубликовала несколько сборников поэзии и романтической прозы, а один из дядьев написал книгу о висте. Воспользовавшись семейными связями, Элеонора отправилась на поиски мужа к своему брату Уолтеру в Гонконг, тут же подцепила Эрнеста и в 1877 году вышла за него замуж, после чего получила семейное прозвище "шанхайка Лил".

Вудхауз не был особенно близок с матерью. Повзрослев, он редко с ней встречался — и то лишь в обществе своего брата Армина, которого брал для моральной поддержки. Она слишком много командует, говорил он, и слишком строга к слугам. Изображая в первой главе "Неуемной Джилл" молодого англичанина, которым помыкает мать, Вудхауз, кажется, обращается не столько к воображению, сколько к собственным воспоминаниям. Он ничего не пишет в мемуарах о своих чувствах к матери, но за десять лет после смерти отца он посетил ее лишь однажды, а это говорит о многом.

Для своего времени и общественного положения Эрнест и Элеонора Вудхауз были типичной викторианской супружеской четой. Они произвели на свет нескольких сыновей, назвав их необычными именами: Филипа Певерила (Пева) в 1877 году, Эрнеста Армина (родившегося в 1879 году после двух умерших в родах близнецов), самого Плама и, наконец, Ричарда Ланселота Дина (Дика) в 1892 году — но затем совершенно устранились от всякого родительского участия, как и было принято в колониях. С первых дней жизни Вудхауза отец с матерью были для него в лучшем случае дальними родственниками, в худшем — совершенно чужими людьми. В прозе Вудхауза удивительно мало отцов и матерей, а те, что имеются, обычно сдержаны, холодны, строги и не проявляют любви к своим детям. Дети отвечают им взаимностью. Когда Вудхауз пишет про сына лорда Эмсворта: "Кого-кого, а своего отца Фредди видеть не хотел", — он опирается на собственный опыт.

В 1881 году, гостя у сестры в Гилфорде, Элеонора раньше срока родила маленького Плама и вскоре увезла его в Гонконг, где, как это было заведено, отдала кормилице-китаянке. В 1883 году Эрнест и Элеанора привезли малыша Вудхауза вместе с двумя его старшими братьями в Бат и поручили их заботам мисс Ропер, поборницы чистоты и порядка. Это ее Вудхауз выводит в рассказе "Снова о нянях", где пишет: "А главное, может ли тонкий человек ощущать покой рядом с тем, кто бивал его некогда головной щеткой?"[1]

1. Перевод Н. Трауберг.

Целых три года юные Вудхаузы не видели ни Эрнеста, ни Элеонору. Помещенные под своего рода домашний арест, они разделили судьбу многих детей Британской империи конца XIX века. Если сложить все то время, что Вудхауз провел с родителями между тремя и пятнадцатью годами, то в сумме едва ли наберется полгода — чудовищно мало, как ни посмотреть. "Мать казалась нам чужой", — вспоминал он в старости. Тогда подобное отчуждение родителей от детей считалось нормальным. Сегодня оно кажется безответственным и даже бездушным. Это разобщение наложило отпечаток на всю жизнь будущего писателя.

Литературоведы часто сравнивали детство Вудхауза и Киплинга. Несмотря на разницу в возрасте (Киплинг был на шестнадцать лет старше), сходство и в самом деле заметно. Оба — представители среднего класса, оба росли в поздневикторианской Англии, пока их родители были на Востоке, обоих воспитывали чужие люди, у обоих рано проявился талант рассказчика. Но Вудхауз гораздо легче переносил свое полусиротское положение — возможно, просто потому, что его не чувствовал или не позволял себе чувствовать.

Для очень многих писателей душевные раны служат источником вдохновения. По сравнению с другими писателями: Редьярдом Киплингом, Г. Х. Манро (Саки), Сомерсетом Моэмом или Джорджем Оруэллом, выросшими в сходных условиях и перенесшими сходную психологическую травму, — Вудхаузу повезло: тяжесть травмы смягчалась его удивительно легким, покладистым и приятным нравом, о котором вспоминали все, кто только его знал. Детство приучило его к одиночеству, а гений (и это не преувеличение) помогал ему заполнять одинокую жизнь смешными фантазиями. Он увлеченно исследовал глубины абсурдного; то была часть его защитной стратегии. Вудхауз очень серьезно относился к своему творчеству, но оно, увы, как и все комическое, противится серьезному анализу. В зрелом возрасте он всегда гнал от себя уныние и тоску, а его родные делали все возможное, чтобы оградить его от огорчений. Интересный факт: в немецком плену он записал в дневнике, что для защиты от непереносимых мыслей "нужно приучить себя тут же переключать внимание на другое". Если обратиться к "психологии индивидуума" (выражаясь словами Дживса), идеализация Вудхаузом родителей — хрестоматийный случай того, что в психоанализе называют расщеплением. Уже пожилым человеком, вспоминая о родителях, он сказал: "Отец нам во всем потакал, мать не очень... С отцом... у меня всегда были очень хорошие, хоть и не слишком близкие отношения". Такие признания для Вудхауза редкость: обычно он — сама уклончивость. В зрелом возрасте, благодаря постоянным путешествиям, он довел искус-

ство эскапизма до совершенства[1]. Психотерапевт решил бы, что это реализация детской мечты о бегстве из семьи, но в текстах Вудхауза этого не видно. В мемуарах он продолжает, как сказал бы Берти Вустер, носить маску:

Для автобиографии нужны чудаковатый отец, несчастливое детство и жуткая школа. У меня ничего такого не было. Отец — нормален, как рисовый пудинг, детство — лучше некуда, а школа — шесть лет блаженства[2].

Но что бы он ни говорил, детство у него было одинокое и эмоционально бедное, что приучило его довольствоваться собственным обществом, уходить в себя, спокойно отрешаться от этого мира и искать развлечений в мире другом — воображаемом. Он всегда говорил, что хочет стать писателем. Богатство его вымышленного мира отражает пустоту того действительного мира, который окружал его в ранние годы.

Так Вудхауз, этот образцовый англичанин, привык довольствоваться тем, что имеет, и никому не жаловаться. Он научился видеть только светлую сторону жизни и с философским спокойствием принимать все, что преподносит судьба. В его словах: "Я не помню, чтобы хоть раз в те годы почувствовал себя несчастным", — можно, говоря языком психологов, увидеть, как работает защитный механизм отрицания. Это умонастроение он сохранил до конца своих дней. В 1924 году он писал:

Как писатель-юморист я всегда страдал от того, что характер у меня веселый, сердце здоровое, а жизнь ничем не омрачена. Страдал — потому что читатели любят, чтобы автор смешных рассказов был человеком глубоко несчастным и если и писал что-нибудь развлекательное, то только для того, чтобы облегчить невыносимую тяжесть своего, как он давно уже это понял, никчемного существования.

Сейчас уже невозможно сказать, была ли способность отгораживаться от всего плохого, что подстерегало его в жизни, врожденным свойством характера Вудхауза или приобретенным умением, вошедшим в привычку. В любом случае, эта способность всегда выручала его и сообщала беззаботный тон его произведениям. Детский психотерапевт Адам Филлипс счита-

1. Яркий пример тому можно увидеть в статье его падчерицы Леоноры Вудхауз "П. Г. Вудхауз дома" (см. с. 49).
2. Перевод Н. Трауберг.

ет, что у Вудхауза "как и у любого брошенного ребенка, не мог не возникнуть вопрос: почему мои родители так меня не любят, что не хотят быть со мной? Почему за мной присматривают чужие?" Психотерапевты выделяют, по меньшей мере, три типичных реакции на отсутствие родителей в раннем детстве. Во-первых, у маленького Вудхауза должен был обостриться интерес к миру взрослых, к разговорам, которые они ведут между собой. Пытаясь объяснить себе, чем вызвана разлука с родителями, он, наверное, придумывал истории о причинах их непонятного отсутствия и со временем пристрастился к подобным выдумкам — впоследствии самого разного характера. Во-вторых, он мог находить утешение в повторяющихся ритуалах однообразной ежедневной жизни и ревностно исполнять их, боясь малейших отступлений. И в самом деле, в зрелые годы он всегда старался придерживаться железного распорядка. В-третьих, с ранних лет лишенный матери, он не мог не относиться к противоположному полу настороженно, предпочитая дружбу с мужчинами. Достаточно даже поверхностного взгляда на его произведения, чтобы обнаружить постоянное опасливое недоверие (и даже неприязнь) к тетушкам, невестам, старым девам и писательницам. Рассказав в "Билле Завоевателе" про "не только вулканическое, но и неизменное" чувство Билла Веста к Алисе Кокер, Вудхауз продолжает: "А она его — ломом". И подводит итог — рефрен всего его творчества: "Одно слово, женщина". "Покажите мне безупречно утонченную и изысканную особу женского пола, — говорит Берти Вустер в романе 'Держим удар, Дживс', — и я вам докажу, что на самом деле она настоящий Наполеон по части мучительства"[1]. Адам Филлипс полагает, что у Вудхауза развилась боязнь женщин — он не способен был доверять им, вступать с ними в близкие отношения, позволять себе сильные чувства к ним. Женщины должны были казаться маленькому Вудхаузу исключительно сильными и невыносимо организованными существами, причем "организованность", по мнению Филлипса, означает "нежелание прислушиваться к детским желаниям и потребностям, а это, с точки зрения ребенка, то же самое, что равнодушие".

Самое смешное, что, несмотря на отъезд родителей, женщин вокруг Вудхауза было более чем достаточно. У него было, по меньшей мере, восемь живущих в Англии тетушек с материнской стороны, из которых особенно глубокий отпечаток на детской психике Вудхауза оставили тетя Мэри и тетя Луиза. Тетя Мэри, "гроза моего детства", осталась старой девой, ругалась

1. Перевод И. Шевченко.

почти со всеми родственниками и стала прототипом грозной тети Акриджа Джулии, а также знаменитой тети Берти Вустера Агаты, "более известной как бич Понт-стрит". Вудхауз свел воедино воспоминания о разных женщинах, участвовавших в его воспитании, и создал типичные портреты-страшилки: "...в тете Агате пять футов девять дюймов росту, крючковатый нос, волосы с сильной проседью — общее впечатление довольно внушительное"[1]. А знакомя с ней читателя, Вудхауз рекомендует ее так: "У нее акулий глаз и твердые моральные устои"[2]. Напротив, старшая из сестер Дин, тетя Луиза, для близких Лули, стала для Вудхауза чем-то вроде приемной матери, и он списал с нее некоторые черты будущей тети Далии, про которую Берти Вустер говорит: "...широкая и добрая душа, как это часто бывает у охотников". Из дядюшек Вудхауза четверо (дядя Филип, дядя Фредрик, дядя Эдвард и дядя Генри) были священниками, чьи приходы были рассеяны по юго-западу Англии от Бреттон-Флеминга в Девоншире до Хенли-Касла в Вустершире — по деревенькам вроде тех, что описаны в рассказе "Большой гандикап проповедников" или в одном из лучших рассказов Вудхауза "Ансельм получает свой шанс". Иногда, даже в самых удачных и смешных своих вещах, Вудхауз, с детства впитавший атмосферу английских сельских приходов, отвлекается на умиленные воспоминания о времени, которое он провел под сенью церквей:

Ничто не вызывает такого умиротворения и такой дремоты, как вечерняя служба в деревенской церкви. Чувство заслуженного покоя после прекрасного дня... Дверь в церковь была открыта, и аромат деревьев и жимолости смешивался с запахом плесени и воскресной одежды прихожан... Сквозь витражные стекла в церковь проникали лучи заходящего солнца, с деревьев доносилось щебетание птиц, в тишине чуть слышно поскрипывали платья прихожанок. Полное умиротворение. Именно это я и хотел сказать. На душу мою снизошли мир и покой[3].

В 1886 году, когда Вудхаузу было всего пять лет, в его детский мир, полный тетушек и священников, ворвались родители, на несколько недель вернувшиеся на родину. За китайский павильон, который Эрнест оборудовал для Выставки достижений Индии и других колоний Британской империи, его пожаловали орденом Святых Михаила и Георгия. Согласно семейному преданию, режим правления няни, мисс Ропер, рухнул, после того как Эрнест и мальчики вернулись с прогул-

1. Перевод И. Баласникова.
2. "На выручку юному Гасси". Перевод И. Бернштейн.
3. "Этот неподражаемый Дживс". Перевод И. Баласникова.

ки грязные и растрепанные, — бесчинство, которого она перенести не могла и тотчас подала в отставку. Да и пора было: братья Вудхаузы уже вышли из того возраста, когда требуется нянька, — пришло время отдавать их в школу.

Школа-пансион Элмхёрст в Кройдоне была одним из многих поздневикторианских учреждений "для индийских детей", то есть для детей колониальных служащих, живших на Востоке. Она тогда недавно открылась, и в ней было всего шесть учеников. Школу держали две незамужние сестры, Кларисса и Флоренс (Сисси и Флорри) Принс, управлявшие ею от имени своего отца, семидесятилетнего старика, в прошлом начальника железной дороги. Располагалась школа в имении "Шале": дом 43 по Сент-Питерс-роуд; то был тесный невзрачный пригородный домик "в швейцарском стиле", стоявший на северо-западных склонах Кройдона. Кормили там плохо: еды вечно не хватало, и Вудхауз вспоминал потом, как стащил репу с соседнего поля и попался. Среди семейных преданий, относящихся к заведению сестер Принс, есть рассказ о том, как одно вареное яйцо делили на шестерых учеников, а также о том, как братья Вудхаузы стыдливо умяли пакет печенья, предназначавшийся дворнику. Викторианский Кройдон легко узнать в "Митчинг-хилле", о котором вспоминает дядя Фред, отправляясь в свое родовое гнездо: "Луга, где я играл ребенком, проданы и застроены. Но прежде там были просторные поля... Мне давно хочется посмотреть, что там творится. Наверное, черт знает что"[1].

Сестры Принс и их подопечные (трое Вудхаузов, два Аткинсона и еще один мальчик) жили в "Шале" как одна большая семья. Однажды маленький Вудхауз, прячась за диваном, подобно герою его собственного рассказа, нечаянно подслушал, как некий мистер Джордж Гарди Скотт пылко просит руки у мисс Флорри — и получил не только желанную руку, но и место директора школы Элмхёрст. Мальчиков редко баловали. В единственном письме родителям от братьев Вудхаузов, сохранившемся с тех времен, Армин описывает, как перед Рождеством их водили в "Олимпию" на цирковое представление, и жалуется в приписке: "Пев отправил папе письмо. Как жаль, что он все никак не едет домой".

Так с 1886 года для Вудхауза потянулась типичная школьная жизнь, когда длинные семестры в пансионе прерываются каникулами в компании тетушек — этих "грозных викторианских дам". Он считал дни до "главного события года" — двух идиллических летних недель у бабушки в Повике (графство Вустер-

1. "Дядя Фред посещает свои угодья". Перевод Н. Трауберг.

шир), туда, в эту часть Англии взрослый Вудхауз будет не раз удаляться во время приливов вдохновения. Так с малых лет Вудхауз привыкал к уединению, замкнутости и самодостаточности. В Кройдоне он уходил в себя, чтобы сбежать от школьной дисциплины; на каникулах — чтобы сбежать от рассеянного равнодушия взрослых. "В Хем-хилле нас предоставляли самим себе, — вспоминал он о том, как гостил у бабушки. — Только раз в день водили поздороваться с бабушкой — сморщенной дамой, очень похожей на мартышку". Если братьев Вудхаузов не брали в Хемхилл, то пристраивали к дяде Филипу в Уэст-Кантри или к дяде Эдварду и его сыновьям-крикетистам в Хенли-Касл.

Уже тогда Вудхауз твердо знал, кем станет, когда вырастет. "Я с детства хотел быть писателем, — говорит он в своих мемуарах 'За семьдесят', — и приступил к делу лет в пять". Он очень рано начал читать, запоем прочел такие бестселлеры своего времени, как "Шиворот-навыворот" Ф. Энсти, "Остров сокровищ" Стивенсона и "Бевис. История одного мальчика" Ричарда Джеффриса, а в шесть лет проглотил "Илиаду" в переводе Александра Поупа. Как многие одинокие дети, он заполнял пустоту сочинительством. Вот два примера его раннего творчества. Первый — "Малинькое стихатварение каторое я выдумал сам"; говорят, оно было написано, когда ему было пять лет:

О, что за скорбный день
убитые звери лижали
на поли сраженія
в скорбной
тоске.
Из ран вытикала
красная крофь
и с нею жизнь
быстро их покидала.
А в лагере
лижали
тысичи мертвых солдат

П. Г. Вудхауз

Второй пример — коротенький рассказ, написанный им в семь лет и своей интонацией напоминающий молитвенник или Библию короля Иакова, чтение которых Вудхауз каждое воскресенье слышал в церкви:

Около пяти лет назад прилетел в лес Дрозд, и свил он себе гнездо на тополе, и запел так красиво, что все червяки повылазили из своих норок, и муравьи опустили свою ношу, и сверчки прекратили веселиться, и мотыльки уселись рядком, чтобы послушать его. Он

пел, словно был на небесах, и пока пел, он словно поднимался все выше и выше.

Наконец Дрозд окончил свою песню и спустился перевести дух.

Спасибо тебе, сказали ему звери. На этом мой рассказ кончается.

Пелем Г. Вудхауз

В 1887 году, на девяностом году жизни, скончался дед Вудхауза с материнской стороны, Джон Батерст Дин. Его вдова с четырьмя незамужними дочерьми — Луизой, Мэри, Энн и Эммелиной — переехали в маленький городок Бокс, где купили поместье Чейни-корт: красивый старый дом в елизаветинском стиле с тенистой подъездной аллеей, конюшнями, розовыми садами и холмами, с которых открывался прекрасный вид на окрестный Уилтшир. Воспоминания о Чейни-корте и о хозяйничающих там тетушках, несомненно, были источником вдохновения для Вудхауза, когда он писал один из лучших своих романов "Брачный сезон". Берти Вустер едет к некоему Эсмонду Хаддоку в поместье Деверил-холл, что близ деревни Кингс-Деверил, и попадает в "волнующееся море" аж из пяти теть:

— Пять?

— Да, сэр. Девицы Шарлотта, Эммелина, Гарриет и Мертл Деверил и вдова леди Дафна Винкворт...

Услышав слова "пять теток", я ощутил некоторую дрожь в коленках. Шутка ли, очутиться в стае теть, пусть и не твоих лично[1].

Чейни-корт был просторным, внушительным особняком, вековечную социал-географию которого (верхний этаж, нижний этаж, дверь, обитая зеленым сукном[2]) Вудхауз усвоил навсегда. Здесь он, по его выражению, вступил в "возраст коротких штанишек", когда тетушки спихивали его друг другу. Вспоминая после семидесяти эти свои одинокие сиротливые годы, Вудхауз частенько отзывался о себе как о "безмозглом олухе" — типичная формула самоуничижения. На сохранившихся фотографиях — опрятный, физически развитый здоровячок с ясными, широко посаженными глазами и намеком на тот массивный волевой подбородок, который впоследствии будут подчеркивать карикатуристы. Глядя на эти фотографии, легко представить себе, что по ту сторону фотокамеры высится какая-нибудь властная тетушка и требует, чтобы мальчик стоял смирно.

1. Перевод И. Бернштейн.

2. В викторианских английских домах существовало типичное пространственное разделение на хозяйскую часть и часть, предназначенную для прислуги. Прислуге отводился фрагмент нижнего этажа, а хозяева жили и принимали гостей на верхних этажах. В ту часть, которая отводилась прислуге, вела дверь, обитая зеленым сукном.

Кроме тетушек, священников и заморских дядюшек в жизни маленького Вудхауза был еще один разряд взрослых — слуги. Самой частой женской профессией в Англии XIX века была профессия служанки. В 1891 году в Англии насчитывалось около полутора миллионов женской прислуги всех возрастов — солдаты домашней армии под командованием офицера-дворецкого. Вудхауз с братьями росли, как он говорит, "держась за камердинерский пояс". Он близко познакомился с жизнью нижнего этажа своих священствующих дядюшек и их жен, к которым ездил на каникулы, и так вспоминал о повторяющемся ритуале: "Всегда наступал момент, когда хозяйка, натянуто улыбаясь, предлагала мне спуститься к слугам и выпить там чаю". В компании лакеев и служанок "безмозглый олух" раскрепощался. "В их обществе, — писал Вудхауз, — я забывал стесняться и начинал шутить не хуже их".

В 1889 году, после трех лет обучения в Кройдоне, обнаружилось, что у старшего из братьев Вудхаузов, Пева, слабые легкие, а в викторианской Англии это всегда лечилось морским воздухом. Родители решили отправить братьев в Колледж королевы Елизаветы на остров Гернси. "Зачем мне и Армину надо было туда ехать, понятия не имею, — рассказывал Вудхауз первому своему биографу Дэвиду Джейсену. — Видимо, родители любили оптовые сделки". Он также говорил, что был доволен колледжем: "...нам разрешали гулять, где мы хотели... и в целом жизнь была очень приятной", — но на этом его воспоминания о двух годах, проведенных в сем внушительном заведении с видом на Сент-Питер-порт, заканчиваются.

Были ли у Вудхауза друзья в Колледже королевы Елизаветы, мы не знаем: возможно, ему вполне хватало компании Певерила и Армина. Мотив братской любви не раз всплывает в творчестве Вудхауза, однако, хотя братья Вудхаузы и росли вместе, они не были по-настоящему близки, и их дороги вскоре разошлись. Певерил вырос эдвардианским денди; со временем, как и отец, отправился на Восток, вступил в ряды гонконгской полиции и зажил уютной и сытой жизнью европейского колониста. Со своим стеклянным глазом (он потерял глаз из-за укуса какого-то насекомого) и китайским камердинером, на чьих медных пуговицах красовался герб Вудхаузов, он был поистине квинтэссенцией колониального чиновника: важным, скучным и чрезвычайно консервативным.

Если Вудхауз и проявлял нечто похожее на братскую любовь, то лишь по отношению к Эрнесту Армину, который был двумя годами старше и в определенном смысле не менее одарен. Имя Армин встречается в норфолкских семьях с XVII века. Армин Вудхауз добился выдающихся успехов в учебе: в Оксфорде полу-

чил Ньюдигейтскую премию[1] за стихи и с отличием сдал экзамены по классической филологии. Высокий и волевой, он был прекрасным спортсменом, неплохим пианистом и талантливым поэтом, которому особенно хорошо удавались юмористические стихи. Окончив Оксфорд, он, по семейной традиции, отправился на Восток, в Индию, и стал преподавать в Деканском колледже в Пуне. Там он увлекся теософией, перешел в колледж Анни Безант и какое-то время был учителем Кришнамурти — этого маленького мессии теософов. Отслужив в Первую мировую в Шотландском гвардейском полку, он издал сборник военных стихов, женился, вновь уехал в Индию и наконец в 1935 году вернулся в Англию. Обленившийся и растолстевший, общительный и невероятно умный, он умер в 1936 году — подвели легкие: он всю жизнь был завзятым курильщиком. У него были непростые отношения с младшим братом, но их всегда связывало детство. После смерти Армина Вудхауз написал его вдове Нелле: "Бедный Армин всегда так много для меня значил, я изо всех сил старался ему подражать. Мы с ним были очень близки, — прибавил он, поддавшись нахлынувшей нежности; однако то была близость, рассчитанная на разлуку. — Наша привязанность друг к другу не требовала постоянного общения. Мне казалось, даже расстанься мы на несколько лет, встретившись, мы продолжили бы разговор с прерванного места".

Любимец матери Дик, самый младший из братьев, практически отсутствовал в жизни Вудхауза. Нам ничего не известно об отношении Вудхауза к младшему брату, но кое о чем, пожалуй, можно догадаться — достаточно вспомнить его героев-мальчиков: Освальда Глоссопа, бойскаута Эдвина, Бонзо Траверса и Томаса (или Тоса) Грегсона, — которые мучают Берти Вустера. После школы Дик уехал в Индию, а оттуда в Китай, где работал в страховом отделении Шанхайско-Гонконгского банка. Он умер от лейкоза в мае 1940 года в возрасте 48 лет, как раз когда его старший брат застрял в поверженной Франции.

В викторианской Англии десятилетнему мальчику пора было уже задумываться о будущем. Вудхауза, как и большинство детей его поколения и социального происхождения, прочили на государственную службу. В 1892 году его отправили в училище Малверн-хаус, которое находилось в местечке Кирнси (графство Кент), неподалеку от Дувра, где мальчиков готовили к поступлению в Дартмутский королевский военно-морской колледж. Для начитанного, мечтательного, непрактичного ребенка трудно было найти что-нибудь менее подходящее. Распорядок в

1. Ежегодная премия за лучшее стихотворение на английском языке, написанное студентом Оксфордского университета.

школе был строгий, программа рассчитана на будущих мичманов и капитанов. Вудхауз, уже овладевший искусством эскапизма, уходил на долгие одинокие прогулки. Вскоре, однако, стало очевидно, что — даже если оставить в стороне его нарастающую тягу к литературе — он не сможет служить на флоте из-за плохого зрения, не позволявшего ему различать флаговую сигнализацию. Вудхауз отомстил Малверн-хаусу, послав туда учиться Берти Вустера — под начало "козломордого школьного директора", преподобного Обри Апджона.

В 1893 году неприязнь к Малверн-хаусу еще больше усилилась от сознания, что Армин тем временем счастливо учится в Далвич-колледже: отец случайно заметил это древнее заведение из окна поезда по пути в Лондон и, поскольку он как раз подыскивал хорошую недорогую школу для своего одаренного отпрыска, тут же отдал туда Армина. Вудхауз навестил брата на каникулах и влюбился в безмятежный покой и порядок, которые царили в колледже. После кочевого одинокого детства его влекло к стабильности и порядку, в общество других детей. Когда Вудхауз принимал какое-то решение, он обычно добивался задуманного. Он стал просить отца перевести его в Далвич-колледж, и тот в конце концов согласился. Весной 1894 года Вудхауз отправился туда. Начинался новый этап его взросления.

Перевод Андрея Азова

"*Кем же станет наш мальчик?*" (1894—1900)

> Кто ты — Задира, Гордость школы, или сбившийся с пути Мальчик, который сопьется в шестнадцатой главе?
>
> П. Г. Вудхауз *Майк*

Вудхауз поступил в Далвич-колледж 2 мая 1894 года. Ему было двенадцать с половиной; родители все еще жили в Гонконге. В школьной книге записей в качестве "родителя либо опекуна" числится преподобный Э. Г. Суит-Эскотт, директор пансиона Айвихоума. Колледж с самого начала стал для Вудхауза домом, которого ему не хватало в детстве. В некотором смысле, он на всю жизнь останется школяром из Далвича. Во всех своих воспоминаниях он идеализировал эти "шесть лет бла-

женства", а своему лучшему школьному другу говорил: "Годы с 1896-го по 1900-й кажутся мне райским временем".

Далвич — это ближняя окраина Лондона, застроенная поздневикторианскими загородными домами, расположенная всего в пяти милях от Пиккадилли-серкус: оттуда даже был виден купол собора Св. Павла; с городом ее связывала железнодорожная ветка. Колледж — комплекс краснокирпичных зданий в ренессансном стиле, обсаженные каштанами строгие аллеи и около шестидесяти акров спортивных площадок — находился в лесистой части Западного Далвича, которую Вудхауз впоследствии выведет в своих книгах как пасторальный Вэлли-Филдз. В воображаемой стране Вудхауза Вэлли-Филдз, как и земной рай замка Бландинг, — это rus in urbe[1], "благоуханный оазис" среди шума, смрада и пугающего хаоса лондонской жизни. Любовь к предместьям никогда не оставляла Вудхауза: Вэлли-Филдз всегда стоял перед его глазами. В предисловии к изданию "Сэма Стремительного", одной из любимейших его книг, Вудхауз в 1972 году, то есть в самом конце жизни, выразил надежду на то, что за все те тридцать пять лет, что он там не бывал, "Вэлли-Филдз не изменился и так и остался очаровательной провинцией". Если, руководствуясь подобными замечаниями, начертить карту вудхаузовского мира, то место его альма-матер окажется в самом сердце романтизированного сельского Эдема.

Образ крепкого английского дуба (с которым можно сравнить социальный статус семьи Вудхауза) с кроной, позолоченной Южным Лондоном, поможет нам понять творчество и характер писателя. Южный Лондон — край робких печальных надежд, страна служанок и домохозяек. Он и принадлежит, и не принадлежит миру столицы. Южный Лондон Хем-хилла, Брикстона, Клэпема, Далвича и даже Уимблдона уступает Лондону Найтсбриджа и Мэйфэйра, как Стэнли Акридж в социальном отношении уступает Берти Вустеру. Вместе с тем благодаря Вэлли-Филдзу Вудхауз стал автором клерков, страховых агентов и мелких чиновников, а не только крупнопоместной Англии. В Вэлли-Филдзе деревенские дома превращаются в сдвоенные виллы — "сиамские близнецы, отделанные штукатуркой"; в палисадниках, вместо рододендронов, зеленеют лавры, луга сменяются "застенчивыми клумбами и вечнозелеными деревьями, а с традиционными английскими калитками в пять планок не могут сравниться даже ограды между Монрепо и Сан-Рафаэлем". До тех пор пока Вудхауз, сын империи, не обрел Далвич, он ощущал, что изгнан из английского рая, где его семья обитала столетиями. Здесь он обретает покой. Пусть другие морщат

1. Деревня в городе (*лат.*).

нос, попав в пригород, а Вудхаузу до самых последних дней было особенно уютно в местах, которые иным казались невзрачными, тусклыми и безнадежно провинциальными. Здесь можно было напитаться духом иного, легендарного прошлого Англии.

Далвич-колледж был основан в 1619 году, во времена короля Иакова, современником Шекспира, артистом и импресарио Эдвардом Аллейном. В 1857 году, в ходе викторианской реформы частных школ, его разделили на Верхнюю школу (Далвич-колледж) и Нижнюю школу (школу Аллейна), что весьма отличало это учебное заведение от множества заурядных в этом отношении лондонских школ. Вудхауз выразил гордость "аллейновских" школяров в своем первом романе "Охотники за призами": "Ужаснейшая ошибка, какую только может совершить смертный, — это назвать колледж школой (не говоря уж об обратном)". В Далвиче были как приходящие ученики, так и пансионеры; великолепное новое палаццо, построенное сэром Чарлзом Барри в 1866—1870 годы, придавало Далвичу ореол живости и респектабельности, к чему здесь все и стремились. Как и его соперники по спортивным состязаниям: Тонбридж, Чартерхаус и Шерборн, — Далвич-колледж не был ровней Итону или Винчестеру, подобно тому как лондонское предместье, где он находился, не могло тягаться с торговыми городами провинции; тем не менее, колледж давал детям имперских чиновников прекрасное образование. Когда Вудхауз заговаривал о Далвиче, у него всегда проявлялся классовый инстинкт, как и у всякого ученика английской частной школы. В старости он сказал однажды: "Это была, так сказать, школа для среднего класса. Мы были сыновьями довольно состоятельных, но уж точно не богатых родителей, и всем нам предстояло зарабатывать на жизнь самим. По сравнению с Итоном Далвич — это как в Америке университет штата по сравнению с Гарвардом или Принстоном. Родители Берти Вустера ни за что бы не отправили ребенка в Далвич, а вот Акридж вполне мог бы там оказаться". С виду мелкобуржуазный и провинциальный, Далвич, однако, среди своих выпускников числил и художников, и литераторов, причем их было больше, чем в других колледжах: это и популярный автор Деннис Уитли, который ненавидел колледж и так его и не окончил, Рэймонд Чандлер, учившийся вскоре после Вудхауза, С. С. Форестер, автор книг о мичмане Хорнблауэре, а много лет спустя — романисты Майкл Ондатжи и Грэм Свифт.

Сначала Вудхауз был приходящим учеником и первый свой летний триместр 1894 года жил в семье преподавателя в Восточном Далвиче. Мальчик рос близоруким и застенчивым, но не по годам крупным. Кроме того, идя по стопам Армина, он никак не мог избавиться от ощущения, будто старший брат наблюдает за

ним, "как полицейский". Пансионеры в Далвиче смотрели на приходящих учеников свысока, но с началом осеннего триместра 1894 года Вудхауза поселили в одном из четырех пансионов — в Айвихоуме. Теперь наконец он достиг желанного положения в школьной иерархии и впервые обрел уверенность в завтрашнем дне. Вудхауз вспоминал, что пансионеру было намного проще завести друзей. Жизнь в пансионе сформировала его творческий дар. Рассказы, которые он опубликовал, окончив колледж, полны любовно подмеченных деталей из повседневной жизни учеников, и, как говорил его современник и лучший друг Уильям Тауненд, рисуют достоверную картину школьных лет: "Нынешние старики, которые учились в Далвиче с 1895-го по 1901 год, узна́ют в мастерских этюдах Плама свою жизнь той далекой поры и оценят их по достоинству". Для одноклассников он, впрочем, был не Плам, а, как принято в школах, Вудхауз-младший. Со временем у него появилось еще одно прозвище — Подж, по созвучию с инициалами "Пи" и "Дж"[1], а также, возможно, из-за его полноты[2]. "Я был со всеми в хороших отношениях, — говорил он впоследствии, — но близких друзей у меня не было".

Вокруг Айвихоума, который являл собой нечто среднее между приемной семьей, лагерем для несовершеннолетних преступников и скопищем буйных подростков, строилась вся жизнь школьников: утренние занятия с перерывом без четверти одиннадцать, дневные классы с двух до четырех, затем игры и два часа на выполнение заданий. За дверью, отделявшей приватную часть дома от помещений учеников, жил директор школы с семейством и слугами. Для первогодка вроде Вудхауза территория учеников состояла из столовой, общих комнат старших и младших мальчиков, а также спален, где на узких железных кроватях под красными казенными одеялами спало от пяти до двадцати ребят. В этой обстановке и сложился характер Вудхауза. В рассказе "Ход слоном" важный епископ, знаменитый выпускник некоего колледжа, возвращается в свою альма-матер и снова ощущает себя школьником, а после рюмки восхитительного тонизирующего напитка мистера Муллинера под названием "Эй, смелей!" испытывает "веселость и обострившееся чувство юности. Епископ ощущал, что ему пятнадцать лет"[3]; ровно так же, пятнадцатилетками, ощущают себя и молодые люди в книгах Вудхауза.

Для старших мальчиков убежищем от царившего в пансионе шума и беспорядка были отдельные рабочие комнаты, где

1. Двойное имя Вудхауза — Pelham Grenville.
2. Подж в переводе с *англ.* — толстячок.
3. Перевод Н. Трауберг.

имелись камин, чтобы поджаривать хлебцы или кексы, чайник, где можно было кипятить воду для чая и какао и, быть может, засаленная сковородка, чтобы приготовить яичницу с беконом. Каждая такая комната отражала личность владельца. В своей комнате можно было еще и почитать на досуге журналы вроде "Особой мальчишеской газеты" или "Капитана", а из книг мальчики предпочитали приключенческие романы Джорджа Хенти, Генри Райдера Хаггарда и Артура Конан Дойла. Каждый месяц у Вудхауза был праздник: в книжную лавку на железнодорожной станции Вест-Далвич привозили свежий номер "Стрэнда" с новым рассказом о Шерлоке Холмсе.

Этот мир населяли мужчины. Девочек не было, если не считать юных служанок или дочерей директора, ежели они у него были. В ранних книгах Вудхауза девушки появляются редко, а если и встречаются, то от них одна морока. Без цивилизующего влияния женщин внеклассная жизнь учеников обычно либо связана была со спортплощадкой, где разрешалось бегать и бороться, либо превращалась в поиск запретных удовольствий — вроде побега из пансиона после десяти вечера, когда двери уже заперты: через окно и вниз по трубе. В "Белом пере" мальчики сбегают поиграть на бильярде и покурить турецкие сигареты, а в романе о Майке главный герой выражает свою нелюбовь к рутине тем, что в предутренние часы прокрадывается на первый этаж и слушает граммофон директора. Нарождающуюся анархию мальчишеского сообщества направляли в русло спортивных игр, а когда спорт не помогал, порядок наводили старосты пансионов, имевшие право сечь провинившихся тростью — это называлось "погладить".

Мальчики занимались разными видами спорта: от "пятерок" (разновидности гандбола) и кроссов до бокса и крикета. Вудхауз прекрасно играл в командные игры и гордился своим мастерством; в Далвиче он пробился в первую команду и по регби, и по крикету. Он также увлекался боксом, хотя на ринге оказывался уязвим из-за плохого и все время ухудшавшегося зрения. Страсть его к спорту, долго не угасавшая и после школы, приоткрывает окно во внутренний мир человека, всегда видевшего в эмоциях опасность. Спорт был для него способом ничем не ограниченного самовыражения. То был дозволенный и — без намека на сексуальность — телесный контакт. На площадке Вудхауз мог вступать в физические отношения с другими детьми, но эти отношения не имели ничего общего с сексом. Для ребенка, выросшего без любви, спорт стал заменой личной жизни. Спорт был одной его страстью, Далвич-колледж — второй; в душе Вудхауза они крепко связаны один с другим. Не считая писательства, единственным за-

метным интересом в его жизни были выступления команды Далвича по крикету. Первая публикация Вудхауза, появившаяся в 1894-м, называлась "Матчи за Юниорский кубок".

В зрелом возрасте Вудхауз продолжал посещать игры первой команды колледжа — неизменно в серых брюках-гольф, серой куртке и серой фетровой кепке. В 1938 году, в пятидесятилетнем возрасте, он устроил для победившей крикетной команды обед в Вест-Энде и сводил игроков в "Палладиум". Все 30-е годы он переписывался с игроком команды Далвича и сборной Англии Стюартом Гриффитом по прозвищу Билли, проявлял искренний интерес к его спортивной карьере, присылал ему деньги и свои книги, а однажды пообедал с ним в ресторане "Савой-грилл". В 1946 году, проведя семь страшных лет в оккупированной нацистами Европе, он писал одному из друзей: "Не странно ли — когда надо бы волноваться о положении дел в мире и о собственных бедах, я сейчас способен думать только о том, что Далвич может выиграть все матчи сезона и превзойти рекорд 1909-го". Вудхауз до конца дней будет всерьез считать себя своим в этом особом мирке. Оруэлл в своем знаменитом эссе о Вудхаузе[1] утверждал, что тот "долгие годы оставался мыслями в своем колледже". Вудхауз оспаривал этот вывод, но как-то раз откровенно признался, что он являет собой "запущенный случай человека, остановившегося в своем душевном развитии... С восемнадцати лет я, похоже, не продвинулся ни на шаг".

Как и самые умные и целеустремленные мальчики той поры, Вудхауз пошел "по классической стезе"; позднее он говорил: "Для меня как писателя ничего лучше быть не могло". Школьный путь Вудхауза представлял собой движение от одного титана античности до другого, от Эсхила — до Фукидида (которого мальчики окрестили Тьфукидидом). Однако попытки критиков провести параллель между его произведениями и античной классикой Вудхауз всю жизнь отметал с типичной для него беззаботностью. В 1969 году молодой оксфордский филолог-классик спросил его в письме, осознает ли он влияние Плавта или Теренция (так, есть совпадения между одним фрагментом в "Сам себя наказующем" Теренция и в романе "Везет же этим Бодкинам!"). На что Вудхауз ответил:

Безусловно, эти два фрагмента очень похожи, что может быть объяснено исключительно сходством мыслей Плавта и моих, поскольку хотя в Далвиче мы читали многих авторов, но ни Плавт, ни Теренций отчего-то мне не попадались. Почему? Быть может,

1. См. в настоящем номере: Дж. Оруэлл. В защиту П. Г. Вудхауза (с. 123).

потому что П. и Т. считались чересчур откровенными?.. Но Аристофана-то мы читали, а он ничуть не более сдержан.

Вудхауз всегда искренне стремился быть нормальным и самодостаточным человеком; он был из тех мальчиков, что не расстаются с книгами. По аллюзиям в его юношеских рассказах из школьной жизни видно, что его библиотека в годы взросления включала поэзию Теннисона и Браунинга, кое-что из Диккенса, Киплинга, Конан Дойла, Джерома К. Джерома, а также ныне позабытых поздневикторианских писателей, вроде Барри Пейна и Джеймса Пэйна. Пелем также был страстным поклонником Гилберта и Салливана; его ранние книги изобилуют цитатами из их опер. Вудхауз вспоминал, что, в первый раз попав в театр — на постановку оперы Гилберта и Салливана "Пейшенс" в Кристал-Пэласе, — был "совершенно опьянен радостью. Я думал, что лучше этого ничего на свете не бывает". По программе же он изучал английскую литературу от "Рассказа рыцаря" до "Королевы фей". Классные журналы свидетельствуют, что по большинству предметов будущий писатель тогда успевал средне.

На развитие Вудхауза-литератора особенно повлияли трое его учителей. Уильям Бич-Томас, классный руководитель Вудхауза в четвертом классе (1897 год), был одним из тех редких людей, кому удалось, оставив учительство, стать хорошим журналистом. В 1898 году Бич-Томас ушел из Далвича и устроился в "Глоуб", ведущую лондонскую вечернюю газету тех лет, впоследствии прославился как военный корреспондент и удостоился рыцарского титула. Вудхауз, видимо, произвел на него впечатление и как ученик, и как редактор "Аллейнианца"[1], поскольку в 1903 году Бич-Томас предложил бывшему подопечному первую журналистскую работу. В колледже на молодого Вудхауза повлиял и библиотекарь Филип Хоуп, везде появлявшийся с кипой книг под мышкой. Хоуп был блестящий педагог, а его занятия, как вспоминал позднее один из учеников, были "необычными и захватывающими... Едва ли кто-либо мог лучше него научить писать прозу и стихи; мы часто сидели будто зачарованные, пока он с поразительной скоростью и изяществом приводил все новые и новые варианты какой-нибудь фразы или строчки на греческом или латыни". Вудхауз научился писать на латыни и греческом так же бегло, как по-английски. Значение подобной подготовки трудно переоценить: во всех своих книгах Вудхауз проявляет любовь к сложной грамматике и с виртуозной легкостью

1. Школьный альманах Далвич-колледжа, который Вудхауз редактировал.

строит труднейшие предложения, например, в самом начале романа "Везет же этим Бодкинам!":

Молодой человек, сидевший на террасе каннского отеля "Манифик", смутился — верный знак, что англичанину сейчас придется объясняться по-французски[1].

Бич-Томас и Хоуп производили сильное впечатление, но в жизни Вудхауза-школьника была и еще более заметная и внушительная персона. В золотой век Далвича его возглавлял Артур Герман Гилкс, о котором Вудхауз говорил, что это "один из общепризнанных великих директоров". Гилкс стал директором в 1885 году и на 1890-е пришлась его лучшая пора. Крупный, белобородый — точь-в-точь викторианский образ Всевышнего — Гилкс как-то раз заявил одному старосте, что предпочитает увидеть его в гробу, чем услышать из его уст бранное слово. В книгах Вудхауза директора колледжей внушают благоговение, даже если над ними смеются: говоря словами мистера Муллинера, "директор — это что-то вроде смеси "Бытия" Эпстайна[2] и чего-нибудь такого из Откровения[3]". Гилкс умел заворожить аудиторию не хуже Филипа Хоупа и казался неким небожителем: мог объявить войну словечкам вроде "препод" и "трояк" и тут же, без паузы перейти к чтению "Sartor Resartus" Карлейля. "Это было умопомрачительно, — вспоминал Вудхауз, — но у меня при виде его душа все равно уходила в пятки".

Юный Вудхауз так же сильно боялся лишь еще одного человека — собственной матери. В 1895 году, на второй год в колледже, его счастливую новую жизнь омрачило возвращение родителей из Гонконга. Эрнест Вудхауз вернулся домой в сорокалетнем возрасте; они с Элеонорой поселились в Далвиче по адресу Крокстед-роуд, 62. Армин и Плам съехали из пансиона и поселились с родителями, которых не видели пятнадцать лет и едва знали. Близость не принесла радости. К своему ужасу, Вудхауз узнал, что отец страдает запорами; каждое утро начиналась гонка — требовалось "добраться до единственного мужского туалета в доме раньше отца, потому что он просиживал там по два часа кряду". Жизнь обоих мальчиков (Певерил остался пансионером в Элизабет-колледже) еще сильнее осложнилась с появлением четвертого сына, Ричарда Ланселота Дина (в семье его звали Дик). В произведениях Вудхауза редко

1. Перевод Н. Усовой, А. Соколинской.
2. Джейкоб Эпстайн (1880–1959) — американский скульптор, автор композиций на библейские сюжеты.
3. "Голос из прошлого". Перевод И. Гуровой.

фигурируют матери или отцы, но младенцам достается еще меньше внимания. Типичный пример тому — отношение к детям Фредди Виджена из сборника "Юноши в гетрах":

К младенцам он относился своеобразно. Как-то с ними мутorно. Взгляд холодный, слюну пускают изо рта... Посмотришь и задумаешься, впрямь ли человек — венец природы?[1]

Переезд на Крокстед-роуд, в запущенный и нездоровый лондонский район, ничего хорошего не принес, и эксперимент этот продолжался недолго. Эрнест проявлял трогательную заботу о детях, и Пелем любил его, а вот Элеонора держалась холодно и не поощряла мечтательность и непрактичность сына. Летом 1896-го, под конец учебного года, Вудхаузы, подобно многим другим семьям лондонского среднего класса, обремененным взрослеющими детьми, стали задумываться о переезде в деревню. В конце концов они остановились на "Старом доме" — доме XVII века из красноватого песчаника, построенном роялистами на окраине Стейблфорда — деревеньки, раскинувшейся вблизи Бриджнорта в Юго-Восточном Шропшире. Если Далвич казался "благоуханным оазисом", то Шропшир был и остается райским уголком сельской Англии, куда Вудхауз будет возвращаться в каждой своей книге, вызывая к жизни "видения тенистых садов, звуки и запахи природы и серебристый Северн, сверкающий вдали сквозь ветви деревьев". Стейблфорд окружало несколько усадеб; эти обширные, содержавшиеся в идеальном порядке владения станут прототипом замка Бландинг. В предисловии к первому роману о Бландингском замке он писал: "Счастливейшие дни моего детства протекли под Бриджнортом". По сельской Англии Вудхауз тосковал всю жизнь.

До той поры — а ему уже исполнилось четырнадцать — Вудхауз кочевал по тетушкам, бабушкам и дядюшкам-священникам. "Старый дом" в Стейблфорде стал его первым настоящим домом. И все же одинокое неприкаянное детство оставило свой след.

В школе, писал Вудхауз, "неприятности переживаешь в одиночестве", но и дома он так и не сблизился с родными. Далвич дал мальчику все, в чем он нуждался. "Роль личных отношений в колледже, — заметил он, — невелика, но ощутима". Он вспоминал: "Дома я был совершенно бессловесен и нелеп. Представьте себе эдакого большеногого монаха-трапписта, который то и дело опрокидывает столики с бесценным фарфором, и перед

1. "Noblesse oblige". Перевод Н. Трауберг.

вами — молодой Вудхауз". Понятно, почему именно в Стейблфорде он завел свою первую собаку — дворнягу по кличке Боб. Особая привязанность к собакам всех пород, особенно к пекинесам, поселилась в сердце Вудхауза навсегда.

Переезд в Стейблфорд означал, что Пелем вернется в пансион, и осенью 1896 года его перевели в Элм-лаун, красивый кирпичный дом XVIII века, выходивший фасадом на спортивные площадки колледжа. Руководил этим пансионом Т. Дж. Тредголд, строгий наставник с усами, как у моржа. Под его опекой Вудхауз стал успевать во всем, от спорта до учебы, как впоследствии и многочисленные герои его рассказов из школьной жизни. На сохранившихся фотографиях это высокий, крепкий и дородный юноша, часто стоящий наособицу и с отсутствующим видом, как бы выражая тем свое отношение к жизни. В учебе Вудхауз продвигался как никогда. Летом 1897-го он удостоился стипендии для старших учеников классического отделения (нелишние 10 фунтов в год), а в 1898 году пошел в шестой класс, которым руководил Филип Хоуп. В это же время у него появился кабинет на чердаке, общий с Уильямом (Биллом) Таунендом; так началась важная для него дружба, не угасавшая до самой смерти Тауненда в 1962 году, — единственное в своем роде "окно" в жизнь и творчество Вудхауза.

В 1899 году Таунend и Вудхауз не только делили кабинет, но и спали в одной комнатке на верхнем этаже Элм-лауна. Таунend восхищался Вудхаузом, "одним из самых выдающихся ребят в школе", который стал не только его ментором и консультантом, но и моральной поддержкой своего невезучего друга. Оба они родились в 1881 году, но, если не считать любви к книгам и чтению, их объединяло только ношение очков: оба были близоруки. Дружба Вудхауза и Тауненда, безыскусная и невинная, немало говорит о них. Многое запечатлено на бумаге — в обширнейшей переписке, которая интересна в первую очередь тем, о чем в ней умалчивается, а также портретом Вудхауза-литератора за работой.

<...>

Первое достоверное изображение Вудхауза, молодого, подающего надежды писателя, дает именно Таунend, заодно демонстрируя подлинную основу их дружбы. "Мы не переставая разговаривали о книгах и о писательстве, — вспоминал он. — Беседовать с Пламом было одно удовольствие. Лучшего собеседника я никогда не встречал. Уже в семнадцать лет он мог блистательно рассуждать об авторах, о которых я и не слыхивал... Он принял решение стать писателем еще до того, как мы познакомились. И никогда не сворачивал с этого пути". Таунend также приводит эпизод, красноречиво свидетельствую-

щий о первых шагах Вудхауза-юмориста; он вспоминает, как его друг написал "цикл безумно смешных пьес на манер греческих трагедий, где действовали школяры и учителя". Вудхауз никогда не острил в жизни, хотя Тауненд вспоминает, как во время съемки группового портрета (старосты сидят на стульях, младшие ученики со скрещенными ногами — на земле) все, не сдержавшись, рассмеялись негромкой шутке Вудхауза, сказанной именно в тот момент, когда фотограф, высунувшись из-за черного покрывала, попросил всех не шевелиться.

Как юморист Вудхауз был еще подмастерьем. В 1899 году он сменил брата Армина на посту одного из пяти редакторов "Аллейнианца". Многие его юношеские опыты публиковались там без подписи, но под двумя стихотворениями инициалы все же стоят. Первое, от февраля 1899-го, — ода на строительство нового поля для регби. Затем, в июньском номере 1899-го, выходит стихотворение "О чисто гипотетических лицах" — подражание У. С. Гилберту, литературному кумиру Вудхауза, написанное, чтобы поддержать вступительный взнос (5 шиллингов) в школьный клуб "Аллейн". Начинались оно так:

> Если кто-то считает, что шиллингов пять —
> Непомерно высокий запрос,
> И в печати пытается всем рассказать,
> Что не хочет платить этот взнос...

Кроме того, Вудхауз пел. Согласно сообщениям в "Аллейнианце", он трижды выступал соло на концертах в актовом зале; в частности, 31 июля 1899 года пел "Песню критянина Гибрия" Томаса Кэмпбелла. Став взрослым, Вудхауз терпеть не мог выступать на публике, и его приемная дочь говорила, будто у него нет ни слуха, ни голоса. Однако в архивах Далвича есть запись о том, что он пел не только соло, но и в хоре, когда ставили "Лягушек" Аристофана на древнегреческом. А в конце последнего семестра, в День основателей колледжа в июне 1900 года, Вудхауз исполнил Гильденстерна в "Розенкранце и Гильденстерне" Гилберта и в этой роли сымпровизировал несколько удивительно смешных трюков с револьвером.

Последний год в Далвиче подтверждает слова Тауненда о том, что Вудхауз был одним из самых одаренных учеников — "сказывается порода", как говорили тогда. Он опережал одноклассников в учебе, был старостой пансиона, "тяжелым форвардом" в команде регбистов и "быстрым боулером-правшой с хорошим броском" в крикетной. Следующим шагом должна была стать стипендия в Оксфорд или Кембридж. В сентябре 1899-го он сказал своему другу Эрику Джорджу ("Джимми"): "Поступление [в Ориэл-колледж] — дело решенное. Я гений. И всегда

это знал". Путь наверх уже проложил его старший брат Армин, поступивший в Оксфордский колледж Тела Христова, и Вудхауз вспоминал: "Планировалось, что, если я смогу получить стипендию, я тоже пойду в Оксфорд". Казалось, ничто не помешает неизбежному поступлению Вудхауза в Оксфорд или Кембридж (школьники называли их "универы"), а оттуда — в министерство иностранных дел или на гражданскую службу: пойти по стопам отца.

Однако вышло иначе. Эрнест Вудхауз почему-то заявил третьему сыну, что Оксфорд исключается, независимо от стипендии. Нужно было учить троих остальных мальчиков, и содержать Пелема-студента оказалось отцу не по карману. Вудхауз тотчас сообщил об этом Джимми Джорджу: "Дружище, у меня ужасные новости. У стариков на мою учебу в универе не хватает того, что в просторечии грубо именуется "бумажками"... О, деньги, деньги, имя вам — деньги! (что за блистательная мысль!)". Несмотря на всю беззаботность, это нанесло серьезный удар по его гордости и уверенности в себе, как и по оценке собственных способностей. Но Вудхауз был не того склада человек, чтобы долго мучиться из-за отлучения от университета. Он всегда умел собраться в критический момент. И все же лишь в старости он окончательно примирился с тем, что перед ним закрыли путь в лучшую жизнь; он сказал романисту Тому Шарпу, что если бы пошел в Оксфорд, то "определенно" не стал бы писателем. В каком-то смысле эта рана оказалась не менее глубока, чем безразличие матери. Строфа из стихотворения, опубликованного через год, красноречиво описывает отчаяние Вудхауза:

> Вот что отец ему сказал
> Без ласки и заботы:
> "Забудь, сынок, про универ,
> Иди, сынок, работай"

Но этим дело не кончилось. Свою боль Вудхауз должен был превратить в фарс. Да, верно, пенсии Эрнеста не хватало, чтобы послать в Оксфорд сразу двоих сыновей, но этой причины было недостаточно: следовало найти объяснение покруче и непременно комическое. И вот на сцене появляется рупия — валюта, в которой исчислялась пенсия Эрнеста. В поздневикторианской Англии колебания курса рупии стали едва ли не всеобщей забавой, чему отдал дань и Уайльд в "Как важно быть серьезным". Вудхауз же был слишком хороший писатель, чтобы, изживая свое разочарование, не воспользоваться комическим эффектом рупии: "Рупия... все время то подскакивала вверх, то ухала вниз, у нее случались настоящие припадки, так что расходы приходилось приводить в соответ-

ствие с ее настроением на текущий момент. 'Следи за рупией!' было девизом семьи Вудхаузов".

И все же загадка остается загадкой. Безусловно, Эрнест Вудхауз считал, что с деньгами у него туго. Он только что ушел со службы и, возможно, чувствовал себя неуютно, живя на непредсказуемую пенсию. Они с женой наверняка ссорились из-за денег. Когда Вудхауз женился сам, он, памятуя о тяжелых семейных сценах, препоручил ведение семейного бюджета жене. Однако, если подсчитать минимальные расходы на университетскую учебу, невозможно понять, отчего Эрнест, даже будучи ограничен в средствах, не позволил своему третьему сыну поступить в Оксфорд. С учетом колебаний курса рупии пенсия Эрнеста составляла около 900 фунтов в год, причем 80 фунтов на жизнь в городе он выдавал Пелему, не испытывая затруднений. Кроме того, далвичские выпускники, попавшие в Оксфорд или Кембридж, получали в год до 30 фунтов от гордого своими питомцами (и богатого) колледжа. Можно не сомневаться, что такой одаренный студент, как Вудхауз, получал бы максимальную сумму. Для сравнения, годовое жалованье младшего преподавателя в Далвиче было 150 фунтов. Армин уже жил на стипендию; его прочие траты, которые ежегодно оплачивал Эрнест, никогда не превышали 100 фунтов. Так ли трудно было бы содержать в "универе" двоих сыновей? Или на самом деле Эрнест хладнокровно решил положить конец какому-то скрытому от нас соперничеству Пелема с Арминым? И строгая Элеонора, возможно, поддержала решение мужа? Поддержала, чтобы недвусмысленно дать понять застенчивому, нерешительному и непрактичному сыну, каково это, по-настоящему зарабатывать себе на жизнь.

Конечно же, Вудхауз не разглашает семейную тайну. В автобиографии, лаконично описывая последний год учебы в Далвиче, он пишет: "В школьные дни мое будущее всегда было неопределенным. На вопрос 'Кем же станет наш мальчик?' каждый день звучал новый ответ". Обычно он находил утешение в работе и готовился к экзамену на стипендию с поразительной целеустремленностью. "Весь последний триместр в Далвиче, — вспоминал он, — я вскакивал с постели ровно в пять утра, съедал пару крекеров и принимался корпеть над Гомером и Фукидидом". Затем последовал удар. "Как раз когда приближалось время экзамена, — писал он, — рупия снова выкинула штуку, и мой отец посчитал, что два сына в Оксфорде — это одним сыном больше, чем сможет потянуть его кошелек. Итак, Ученье вытянуло несчастливый билет, и я достался Коммерции".

Отголосок потрясения, которое испытал Вудхауз, звучит в одной из сцен романа 1910 года "Псмит в Сити". Отец героя,

Майка Джексона, вызывает его в кабинет. Следует неловкий диалог, и вот отец Майка сообщает дурные вести:

Майк недоуменно уставился на отца. Смысл этих слов мог быть только один: он не поступит в университет. Но почему? Что произошло? <...>

— Разве я не поеду в Кембридж, отец? — еле выговорил Майк.

— Боюсь, что нет, Майк. <...> Не стану входить в подробности <...>, но со времени твоего отъезда я потерял огромную сумму денег. Такую огромную, что нам придется экономить во всем. <...> Вы же с Бобом, боюсь, должны будете сами зарабатывать себе на жизнь. Знаю, какое это страшное разочарование для тебя, старина...

— Да ничего, — сказал Майк хрипло. У него словно что-то застряло в горле, мешало говорить.

— Будь хоть какая-то возможность...

— Да нет, отец, все нормально. Нет, правда. Я ничуть не разочарован. Для тебя ведь жуткая неудача потерять столько...[1]

Используя свои гонконгские связи, Эрнест Вудхауз устроил сына в отделение Шанхайско-Гонконгского банка в Сити (на жаргоне служащих — "Шайки-Гонки"), на Ломбард-стрит. "Я не хотел там работать, — говорил Вудхауз позже, — но мне выкрутили руки". И больше ни одного упрека отцу или брату. Но в его книгах можно найти несомненные доказательства того, что он глубоко переживал конец "блаженства". В романе "Псмит в Сити" Майк Джексон рассматривает школьную спортплощадку недалеко от ужасной квартиры, которую снял на Акация-роуд в Далвиче:

Он сел на скамью возле второго столба с доской для ведения счета и посмотрел через поле на павильон. Впервые за этот день он испытал настоящую ностальгию. <...> Часы на башенке центрального корпуса снова и снова отбивали четверти, но Майк все сидел и думал. Было уже совсем поздно, когда он встал и поплелся к Акация-роуд. Он чувствовал, что окоченел, окостенел и очень несчастен[2].

В переписке с Джимми Джорджем Вудхауз не проявляет подобной жалости к себе, а прямо заявляет, что решил добиться успеха. "У меня 2 года на то, чтобы утвердиться [*нрзб*] на вершине литературной славы... Будем надеяться, что и денежки потекут".

На самом деле, денежки уже текли. Вудхауз всерьез решил стать писателем еще в Далвиче. В феврале 1900 года, выиграв

1. Перевод И. Гуровой.
2. Перевод И. Гуровой.

премию "Журнала частных школ" — полгинеи за эссе под названием "Некоторые аспекты капитанства в команде", — восемнадцатилетний Вудхауз завел что-то вроде дневника поступлений под заголовком "Деньги за литературный труд". Предварял этот скрупулезный список эпиграф из "Иоланты" У. С. Гилберта:

Я с детства роскоши не знал,
Но уверять готов вас непреклонно:
Я, право, интеллектуал
И мыслю совершенно нешаблонно.

Юный Плам Вудхауз во многом был обычный мальчик из английской частной школы (застенчив, помешан на спорте, неловок в обращении с девушками, перекормлен античностью), но, приняв решение преуспеть как художник, он нисколько не сомневался в своем будущем. Молчаливый, задумчивый, целеустремленный и сосредоточенный, он был подготовлен к писательской карьере. Его новое отношение к жизни, деятельное и лишенное иллюзий, точно передано в мемуарах: "Думаю, лучше всего пропустить детство и юность и сразу перейти к осени 1900-го".

Перевод Игоря Мокина

П. Г. Вудхауз
Два рассказа

Перевод Екатерины Доброхотовой-Майковой

Защитник

В новеньком котелке и лучшем костюме (с десятью шиллингами мелочью в правом кармане брюк) Томас Бошем Алджернон Ширн, напутствуемый родными, покидает тихую гавань и пускается в плавание по бурным водам школьной жизни. В церемонии приняло участие все семейство: вот младшая сестренка, от сознания торжественности момента даже переставшая обзываться, вот тетушка — смотрит строго и назидательно.

— Скоро уже поедешь, — сказал мистер Ширн. — В Эклтоне тебе наверняка понравится. Главное, отрабатывай подачу. Отбивать нынче умеют все, хороший же подающий в крикете — на вес золота. А в футболе играй в нападении. Полузащитником, конечно, играть веселее, зато у бомбардира больше шансов попасть в сборную.

— Ладно, папа.

— Да, и учись как следует, — напоследок вспомнил отец.

— Ладно, папа.

— И, Том, — добавила миссис Ширн, — в школе тебе точно будет хорошо, потому что я попросила миссис Дэви написать ее сестре, миссис Спенсер, у которой сын в Эклтоне, чтобы он за тобой присматривал. Мальчик учится в корпусе мистера Дэнкрофта, это рядом с корпусом мистера Блекберна[1], так что вы будете совсем близко.

— Ладно, мама.

— И вот еще, Том, — с жаром заговорил старший брат, выступая вперед. — Не забывай, чего я тебе говорил.

— Ладно.

— Все будет тип-топ, если не станешь задирать нос. Главное, помни: может, среди приготовишек ты и ходил в королях, в Эклтоне ты пока никто.

© by The Trustees of the Wodehouse Estate
© Екатерина Доброхотова-Майкова, 2012

1. В Англии школы-интернаты, как правило, делятся на так называемые "корпуса", обычно называемые по имени старшего воспитателя ("Дэнкрофт", "Блекберн" и так далее). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

— Ладно.

— Ты не грязнуля, уже дело. Вообще все бы ничего, если бы не твое нахальство... Его у тебя на десятерых. Держи его при себе.

— Ладно, сбавь обороты.

— Ну вот, — с мрачным торжеством произнес знаток школьных нравов. — Если скажешь такое в Эклтоне, тебе точно накостыляют.

— Это еще кто кому накостыляет!

У старшего, который так и не сумел внушить к себе должного уважения, несмотря на то что месяц назад поступил в Сандхерст[1], зачесались кулаки, но, поскольку их с братом разделяла вагонная дверь, он воздержался от активных действий.

— Ну ничего, скоро это из тебя выбьют. Слушай, если с кем-нибудь сцепишься, помни, чему я тебя учил. И на твоем месте я бы записался на бокс. Будешь тренироваться — из тебя выйдет вполне приличный боксер в весе пера.

— Ладно.

— Напиши, когда Эклтон будет играть с Хейлибери, я приеду поболеть. Хочу посмотреть этот матч.

— Ладно.

— До свиданья.

— До свиданья, Том!

— До свиданья, солнышко!

Хор тетушек и других взрослых: "До свидания, Том!"

Том (всем сразу): "До свидания!"

Поезд трогается.

Кеннеди, староста "Дэнкрофта", уведомил Спенсера, что вовсе не просил превращать комнату в духовку. То, что он, Кеннеди, любит погреться зимой, не означает, что надо включать газовую плиту посреди летнего семестра, когда градусник и так зашкаливает. Спенсер ответил, что думал приготовить к чаю оладьи. Кеннеди с жаром посоветовал ему не думать, раз уж Природа не снабдила его необходимым органом. Чтобы думать, объяснил Кеннеди, нужны мозги, а Спенсеру вместо них всучили дешевую подделку из глины и штукатурки.

После еще двух-трех столь же изысканных комплиментов Спенсер получил дозволение отбыть и, спустившись в комнату младших, сообщил своему другу Фипсу, что жизнь полна невзгод.

— Чего на этот раз? — спросил Фипс.

1. Королевское военное училище (ныне — академия) в Сандхерсте.

— Всё. Только первая неделя семестра, а меня уже оставили после уроков практически ни за что и задали переписать лишние сто строк, да тут ещё Кеннеди со своей печкой. Откуда я знал, что ее нельзя включать? Лучше бы я прислуживал[1] кому-нибудь другому.

— Ты вот тут болтаешь, а тебе, между прочим, письмо, — заметил Фипс. — На каминной полке лежит, на тебя смотрит.

— И правда. Ничего себе!

— Что такое? Ничего себе! Почтовый перевод! На сколько?

— Пять шиллингов. Слушай, кто такой Ширн?

— Новенький в "Блекберне". А что?

— Тьфу ты! Вспомнил! Мне велено за ним присматривать. Вот послушай: "Миссис Ширн передала эти деньги для тебя. Сын пишет ей, что прекрасно устроился в школе, и она считает, это благодаря тебе". А я даже не знаю, как он выглядит. Начисто про него забыл.

— Ну так пойди познакомься.

— Охота была возиться с новичком, — упорствовал Спенсер. — Небось тот еще свинтус.

— Все равно надо, — сказал Фипс, не лишенный начатков совести.

— Не хочу.

— Ну не ходи. Но тогда надо отправить деньги обратно.

— Слушай, Фипс, — взмолился Спенсер, — не будь дураком, а?

И дело Томаса Б. А. Ширна отправилось под сукно.

Томас и впрямь замечательно устроился в Эклтоне, о чем не преминул сообщить в письме к матери. Да, поначалу не обошлось без мелких неприятностей, но все они быстро разрешились. Упомянутые неприятности произошли на второй день. Как читатель уже, наверное, заключил по сцене на железнодорожной станции, Томас был не робкого десятка. Он вступил в "Блекберн", готовый к любым ударам судьбы. В первый день никаких ударов не последовало. Кто-то спросил, как его зовут, но вопрос, которого Томас ожидал по книгам о школьной жизни — "Кто твой отец?" — покуда не прозвучал, так что он не имел возможности ответить ("хладнокровно, глядя вопрошающему прямо в глаза"): "Джентльмен. А твой?" Это, конечно, было разочарование, но Томас с ним смирился и в целом первым днем в школе остался доволен.

На второй день имело место Происшествие.

1. До недавнего времени в закрытых английских школах существовала полуофициальная "дедовщина": младшие ученики поступали в услужение к старшим.

От матери Томасу досталась кроткая, миловидная внешность. У него были розовые щеки и до неприличия белокурые волосы — точь-в-точь как у мальчика из церковного хора.

Так вот, если вы чересчур похожи на пай-мальчика, то в закрытой школе за это придется заплатить. Когда Томас сидел у окна в комнате младших и увлеченно читал журнал, на него снизошла такая ангельская одухотворённость, что его силуэт на фоне стекла подействовал на юного П. Бёрджа как зов боевой трубы. П. Бёрджу потребовался всего миг, чтобы схватить "Упражнения по латинской прозе" Брэдли Арнольда и запустить ими через всю комнату. "Упражнения" попали Томасу в ухо. Он подскочил и стал еще чуточку розовее. Потом отложил журнал, подсунул Брэдли Арнольда под себя и вернулся к чтению.

Общий интерес соучеников, обрадованных возможностью стряхнуть скуку, понудил П. Бёрджа к дальнейшим действиям.

— Ты, морда! — грубо произнес он.

Томас поднял голову.

— Ты чего сидишь на моей книжке? Ну-ка отдавай ее обратно!

— Так она твоя? — удивился Томас. — Забирай, конечно.

Он взял книгу, сделал несколько шагов и с расстояния в два ярда запустил ею в Бёрджа. Она угодила тому в живот. Наступила пауза, пока Бёрдж силился раздышаться.

После этого, можно сказать, и началось самое интересное.

Да, ответил Бёрдж на вопрос, заданный пятью минутами позже, да, с него хватит.

— Вот и славно, — отозвался Томас. — Платок дать?

Вечером он написал матери письмо и вежливо поблагодарил за расспросы. Нет, его не травят. Нет, на одеяле не подбрасывали. Нет, пока ни один злобно ухмыляющийся старшеклассник не спускал его из окна на простыне и не отправлял в паб за джином. Насколько он понимает, все старшеклассники — полнейшие трезвенники. Да, он видел Спенсера несколько раз.

Томас не стал добавлять, что видел его издалека.

— Я так рада, что попросила племянника миссис Дэви присмотреть за Томом, — сказала миссис Ширн за завтраком, дочитав письмо. — Новичку всегда легче прижиться, если его кто-нибудь опекает.

— Плохо только, что так из Тома не выбьют его гонор, — мрачно заметил старший брат. — Ему надо регулярно давать по башке. А то совсем обнаглеет.

И он с величавой обреченностью потянулся за следующей порцией мармелада.

К исходу второй недели Томас Бошем Алджернон преодолел все мелкие препоны, встающие на пути новичка. Ему, как положено, устроили розыгрыш, но в те десять минут, что Томас сидел на голове у главного шутника, выслушивая сетования на боль и обещания страшной мести, смех зрителей был скорее благожелательным. Томас затеял возню на французском и был оставлен после уроков. Воспитатель всыпал ему за шум после отбоя. Другими словами, Томас зарекомендовал себя наилучшим образом и стал полноправным эклтонцем.

В его письмах домой сквозила такая жизнерадостность, что вскоре оскудевшие финансы Спенсера пополнил новый денежный перевод. И это обстоятельство, вкупе с упреками Фипса, заставило дэнкрофтца снизойти до новичка из "Блекберна".

— Послушай, Спенсер, — сказал Фипс, чью совесть разбередили очередные пять шиллингов, — так не годится. Или отошли перевод, или пойди познакомься с тем малым. Он, кстати, совсем не зануда. Мы вместе играли в крикет, он здоровски подает. Я думаю с ним подружиться. Уж если по-честному, эти переводы надо было слать мне.

— У него такой идиотский вид! — возмутился Спенсер.

— Чего тебе в нем не нравится? Вид как вид. По крайней мере, не такой дурацкий, как у тебя, — с прямотой юности возразил Фипс.

— Он белобрысый! — упорствовал Спенсер.

— И что с того?

— Он похож на маменькиного сынка!

— Ну, мне сказали, что он сцепился с одним малым и отмутузил того так, что будь здоров.

— Ладно, хорошо, — сдался Спенсер.

Историческая встреча произошла перед школьной кондитерской на перемене, в 10:15 следующего дня. Томас стоял, прислонившись к стене, и жевал булку. Спенсер подошел к нему, держа в руке недоеденный бутерброд с джемом. Наступила неловкая пауза.

— Привет, — сказал наконец Спенсер.

— Привет, — ответил Томас.

Спенсер доел бутерброд и стряхнул со штанов крошки. Томас продолжал есть булку с сосредоточенностью питона, завтракающего кроликом.

— Вроде наши родственники между собой знакомы, — заметил Спенсер.

— Да, у нас есть несколько знакомых болванов, — кивнул Томас.

Спенсер некоторое время переваривал услышанное.

— Ну ты и нахал, — сказал он наконец.

— Извини, если обидел, — ответил Томас без всякого раскаяния на лице.

Спенсер достал из кармана пакетик леденцов.

— Угощайся.

— С солью, что ли?

— Не хочешь — не надо.

Он сунул в рот леденец и спросил учтиво:

— Тебя кто-нибудь бил по башке?

Голубые глаза Томаса немного сузились.

— Нечасто, — вежливо ответил он. — А что?

— Да так. Просто интересно.

— И чего дальше?

— Слушай, — сказал Спенсер. — Мать мне велела за тобой приглядывать.

— Приглядывай на здоровье. А я пошел.

И Томас направился в сторону своего корпуса.

— Этому малому надо хорошенько надавать по башке, — произнес Спенсер в сердце своем.

За ленчем Фипс полюбопытствовал:

— Я видел тебя с Ширном на перемене. О чем говорили?

— Да так, ни о чем.

— И как он тебе?

— Сопливый придурок.

— На чай его пригласил?

— Нет.

— Так пригласи. Слушай, ты должен о нем заботиться. Его родные прислали тебе десять шиллингов.

Вечером в школьной кондитерской он застал Томаса с Фипсом. Они пили чай. Обычно Фипс пил чай со Спенсером.

— Давай к нам, — сказал предатель. — Мы тебя ждем.

— Тоскуем и скучаем, — без всякой надобности присовокупил Томас.

Спенсер сурово нахмурился.

— Давай, пригляди за мной, — настаивал Томас.

Спенсер молча сел. В следующие минуты тишину нарушал только хруст, с которым Томас разгрызал пряник.

— Не кисни, — немного смущенно подбодрил Фипс.

— Порадуй меня хоть одним добрым взглядом, — добавил Томас.

Спенсер оставил его просьбу без внимания. Тишина за столом стала еще более напряженной.

— Пойдешь на корт, Фипс? — спросил Спенсер.

— Мы в бассейн. Давай с нами?

— Ладно, — ответил Спенсер.

Врачи советуют приступать к купанию не раньше чем через час после приема пищи, однако в Эклтоне это правило соблюдалось не слишком строго. Вся троица отправилась в бассейн прямо из-за чайного стола.

Бассейн был почти пуст — большинство эклтонцев заявлялось туда ближе к закрытию. На мелкой стороне плескались двое малышей. На глубокой пухлый юнец нырял с трамплина, вылезал и нырял снова, с каждым разом все сильнее ушибаясь животом.

— И как водичка, Горрик? — спросил Фипс у пухлого юнца, когда тот, отдуваясь, как кит, вынырнул после очередного прыжка. Вопрос был не праздный: много лет назад в эклтонском бассейне взорвался котел, и его с тех пор так и не починили, поэтому температура воды бывала разная. Иногда — холоднее.

— Кипяток, — объявил дородный юноша, выбираюсь на бортик. — Ну как я нырнул, хорошо?

— Неплохо, — ответил Фипс.

— Только животом шмякнулся, — критически добавил Томас.

Горрик несколько раз сморгнул. Метрдотель в роскошном ресторане — сама сердечность по сравнению с мальчиком, который пробыл в школе год и вдруг слышит панибратскую фразу от новичка. Поразмыслив об этом небывалом нахальстве, Горрик нырнул снова.

— Еще хуже! — откомментировал честный Томас.

— Эй, ты! — сказал Горрик.

— Да ладно тебе! — воскликнул Фипс и торопливо увел Томаса прочь.

— Этому малому, — сказал Горрик Спенсеру, — надо хорошенько надавать по башке.

— Вот и я о том же! — подхватил Спенсер с жаром великого ума, который внезапно обрел единомышленника.

Спенсер первый из троицы приготовился залезть в воду. Движения его были осторожны и неторопливы. Менее всего Спенсер походил на профессионального ныряльщика. Для начала он встал на бортик и потер руки, неприязненно оглядывая зеленую воду. Затем сел и погрузил в нее три пальца левой ноги, но тут же с воплем "О-о!" их вытащил, подскочил и начал приплясывать, хлопая себя по груди. После этого Спенсер погрузил в воду правую ногу, опять произнес "О-о!" и вернулся в исходную позицию.

— А ты говорил, теплая, — сказал он Горрику.

— Ну да, теплая. Горячая даже. Давай прыгай.

И Спенсер прыгнул. Не потому, что хотел — он намеревался проделать еще дюжину движений, а затем осторожненько

войти с мелкой стороны, — а потому что холодная рука внезапно толкнула его в копчик. Он камнем пошел на дно в облаке пузырей. Довольно много воды попало ему в рот и в нос, но в бассейне осталось не меньше, и она была невероятно, немыслимо холодная.

Спенсер вынырнул — как ему показалось, минут через пятнадцать — и поплыл к бортику. Когда он вылезал, Фипс и Томас как раз входили в воду. Горрик, синий, но решительный, вновь стоял на трамлине.

— Эй! Ну как я на этот раз? — спросил Горрик.

— А я почем знаю? — взревел Спенсер, еще больше распаляясь от бессмысленности вопроса.

— Вот Спенсер отлично нырнул, — вставил Томас, выныривая и хватаясь за поручень.

— Эй! — крикнул Спенсер. — Так это ты меня столкнул?

— Я?! Столкнул?! — с изумлением и ужасом переспросил Томас. — Да ты сам нырнул. Да так здоровски! Прям дрессированный слон.

И он уплыл прочь.

— Этому малому, — сказал Горрик, провожая его взглядом, — нужно надавать по башке.

— Хорошенько, — добавил Спенсер. — Слушай, ты видел? Это он меня толкнул?

— Я нырял, не видел. Но наверняка он. Фипс в бассейне не задирается.

Спенсер засопел — выразительно засопел — и уже по лесенке снова спустился в воду. Он хотел десять раз проплыть туда-обратно. Спенсер не участвовал в заплывах через Ла-Манш, и десять бассейнов составляли для него приличную дистанцию. Сегодня ему представился редкий случай улучшить собственный рекорд: обычно в бассейне было не протолкнуться — какое уж там плыть! Спенсер рассчитывал выполнить поставленное перед собой задание. Он плыл уже пятую дорожку, когда ему помешали. Ровно на середине пути укоризненный голос произнес: "Ой, Перси, ты устанешь!" — и чья-то рука погрузила его голову в глубину.

Как выразился бы лорд Маколей[1], каждый школьник знает, каково это, когда тебя кунают под воду. Ощущение всегда неприятное, иногда в большей степени, иногда в меньшей. Данный случай принадлежал к первой категории. В Спенсе-

1. Томас Бабингтон Маколей (1800—1859) — английский историк и писатель. Его фраза "Каждый школьник знает, кто взял в плен Монтесуму и кто задушил Атагуальпу ("О лорде Клайве и Уоррене Гастингсе") вызывала смех уже современников.

ре оставалось места аккурат на полпинты воды — столько он и выглохтал. Вынырнув, он доплыл до бортика и вылез. Это была последняя капля. Такие оскорбления смывает только кровь.

Спенсер подождал на улице, а когда Фипс и Томас вышли, с решительным видом подошел и пнул Томаса.

Томас удивился, но не встревожился. Глаза его немного округлились, щёки стали еще розовее. Сейчас он походил на рассерженного мальчика из церковного хора.

— Эй! Спенсер! Ты чего? — удивился Фипс.

Спенсер молчал.

— Куда пойдем? — спросил Томас.

— Да бросьте вы! — вмешался Фипс-миротворец.

Спенсер и Томас настороженно смотрели друг на друга.

— Ребята, вы же не будете драться? — взмолился Фипс. Мысль эта почему-то очень его расстраивала.

— Не будем, если он позволит еще разок ему наподдать, — вкрадчиво проговорил Спенсер.

— Нет уж, спасибо, как-нибудь другой раз, — ответил Томас без всякой злости.

— Тогда ладно! — торопливо начал Фипс. — Я знаю одно здоровское местечко сразу за Лелби-роуд. Отсюда пять минут, и туда никто не заглядывает. Вы же не хотите, чтобы вам помешали? Поле, вокруг живая изгородь. Никто не увидит. И вот что: у меня есть часы, я буду засекать время. Раунд — две минуты, полминуты — перерыв, я — рефери. Если кто жухает, останавливаю поединок. Ясно? Пошли!

Подробности дальнейшего нам практически неизвестны. Фипс захлёбывается от восторга, но его изложение довольно туманно. Он восторженно сообщает, что во втором раунде Спенсер "вмазал" Томасу, а в четвертом Томас — "засветил" Спенсеру, но в остальном из его рассказа можно понять только, что оба "молодчаги". Насколько может заключить слушатель, после седьмого раунда Фипс в роли рефери объявил ничью, а затем в роли секунданта обеих сторон тайными путями под руки сопроводил их назад в школу.

Далее хронист желал бы привлечь внимание читателя к двум письмам.

Первое — от миссис Ширн — гласило:

Мой дорогой Спенсер!

Пишу Вам непосредственно, а не через Вашу тетушку, поскольку хочу поблагодарить Вас за доброту к моему сыну. Я знаю, как трудно новичку в школе, если о нем никто не заботится. Сегодня

утром я получила письмо от Тома, он отзывается о Вас с большой теплотой, пишет, что Вы "отличный малый" и "единственный, кто согласился выйти с ним потолковать". Я так рада, что Вы гуляете и беседуете! Очень надеюсь пригласить Вас к нам на каникулы. ("Если поймаете!" — подумал Спенсер.)

Искренне Ваша, *Изабель Ширн.*

P. S. Прилагаю еще кое-что с надеждой, что Вы купите себе что-нибудь приятное.

"Кое-что" было переводом еще пяти шиллингов. Как кто-то мудро заметил, женщины всегда пишут в постскриптумах самое важное.

— Ну нахал! — разбитыми губами прошептал Спенсер. — "Отличный малый"! Врет и не краснеет!

После чего он взялся за ответ, который по сочетанию достоинства и ясности может служить примером начинающим литераторам.

Эклтон, Колледж-граундс, 5

Мистер К. Ф. Спенсер приветствует миссис Ширн и возвращает почтовый перевод, поскольку не считает возможным его принять. Он прочел Ваше письмо от 13-го числа сего месяца, где Вы именуете его "отличным малым", но не понимает, чем обусловлены такие слова. Все мое общение с сыном миссис Ширн сводится к следующему: мы провели бой в семь раундов. У. Дж. Фипс реферировал. Закончилось ничьей. У меня фонарь под глазом и разбиты губы, но и я ему врезал как следует, особенно подвздошки. Я узнал этот удар из "Родни Стоуна" — из того места, где Боб Уиттекер укладывает итальянского лодочника[1]. С надеждой на понимание

остаюсь, искренне Ваш
К. Ф. Спенсер.

Одно вложение.

Он отправил письмо сразу, после того как закончил делать уроки, и вернулся с почты, исполненный духовной гордости.

1. "Родни Стоун" — роман Артура Конан Дойла. Спенсер имеет в виду следующий отрывок: "Так вот, стал Боб супротив этого итальянского верзилы. Я и говорю: 'Вдарь ему подвздошки, Боб', — потому как я враз увидал, какой он пухлый, ну, что твоя ватрушка. <...> Итальянец ка-ак размахнется, а Боб как отскочит да как даст ему в толстый живот чуть повыше пояса, и, видать, всю свою силушку вложил в этот удар". (Перевод Н. Галь, Р. Облонской.)

На следующее утро, зайдя на перемене в кондитерскую, он застал там Томаса, который покупал булку.

— Привет! — сказал Томас.

После честной и жаркой драки он всегда проникался к противнику братской любовью и самым искренним уважением.

— Привет! — ответил Спенсер после короткого молчания.

— Ну, в общем, — сказал Томас.

— Чего?

— Ну, в общем, мы ведь не пожали друг другу руки?

— Вроде нет.

Они обменялись рукопожатием. Спенсеру подумалось, что Томас не такой уж плохой малый.

— Ну, в общем, — продолжал Томас.

— Чего?

— Извини за бассейн. Не знал, что ты не любишь, когда тебя кунают.

— Да ладно, пустяки, — неловко отмахнулся Спенсер.

Пауза.

— Ну, в общем... — сказал Томас.

— А?

— Чего сегодня вечером делаешь?

— Ничего особенного. А что?

— Может чаю выпьем?

— Ладно. Спасибо.

— Я буду ждать у корпуса.

Вот тут-то Спенсер и пожалел, что отослал назад перевод. Целых пять шиллингов.

Просто взял и выкинул на помойку.

О жизнь, жизнь!

Однако в мире все же есть справедливость. На следующий день за завтраком Спенсер обнаружил на столе письмо следующего содержания:

Дж. К. Ширн (отец Т. Б. А. Ширна) и П. У. Ширн (брат вышеупомянутого) получили письмо мистера К. Ф. Спенсера от вчерашнего числа и уведомляют, что искренне восхищены его заботой о подвздошках мистера Т. Б. А. Ширна. По их мнению, он, при всех своих замечательных качествах, нуждается в регулярных напоминаниях подобного рода. Посему мы отсылаем денежный перевод обратно и прикладываем еще один на ту же сумму в надежде, что мистер Спенсер не откажется их принять.

Дж. К. Ширн.
П. У. Ширн.

Два вложения.

— Ну ясно, — пробормотал Спенсер, закончив читать письмо. — У них вся семейка чокнутая.

Тут его взгляд упал на денежные переводы.

— И все же... — сказал он.

В тот вечер за чаем он угостил Фипса и Т. Б. А. Ширна со всей мыслимой щедростью.

Охотники за автографами

ДАНСТЕЙБЛ очень хотел заполучить автограф мистера Монтегю Уотсона, но вовсе не потому, что восхищался книгами этого джентльмена.

Его не трогало, что критики считали Уотсона самой значительной фигурой в английской словесности со времен Вальтера Скотта. Скажи ему кто об этом, он бы в обычной своей грубоватой манере полюбопытствовал, сколько мистер Уотсон заплатил критикам. Для обозревателя "Еженедельного книголюба" последний труд великого литератора, "Душа Антони Каррингтона" (издательство "Попгуди и Грули", 6 шиллингов) "каждой строкой свидетельствовал о неувядающем гении". Данстейблу, который взял книгу в школьной библиотеке (куда ее поместили по просьбе учителя литературы) и прочел первые одиннадцать страниц, она показалась дрянью, о чем он и сообщил библиотекарю.

И все же он очень хотел заполучить автограф романиста. Дело в том, что главный воспитатель их корпуса, мистер Дэй, человек, в других пороках не замеченный, собирал автографы. А мистер Дэй за последнее время несколько раз поступал с Данстейблом исключительно по-людски, и Данстейбл, всегда готовый покарать учителей за дурное поведение, с тем же рвением стремился поощрить в них начатки хорошего.

Незадолго до описываемых событий стало известно, что мистер Уотсон купил большой белый дом под Честертоном, милях в двух от школы, и мистер Дэй заметил вслух, что мечтает присоединить его автограф к своей коллекции. Данстейбл, слышавший разговор, немедленно решил взять на себя роль благого Провидения. Он добудет автограф и презентует его воспитателю, словно говоря: "Добро всегда бывает вознаграждено". Приятно будет видеть невинную радость и детское торжество одариваемого, его изумление, что дарителю удалось раздобыть такое сокровище. Трогательная сцена — она вполне окупит затраченные труды.

А потрудиться предстояло всерьез. Мистер Уотсон славился своей нелюбовью к охотникам за автографами. Его корот-

кие, отпечатанные на машинке (и подписанные секретарем) ответы остудили пыл многих отважных мужчин и (более или менее) прекрасных дам. Подлинная подпись Монтегю Уотсона ценилась среди коллекционеров на вес золота.

Данстейбл был человеком действия. Когда вечером того же дня Марк, младший слуга в "Дэе", нес на почту груз писем, среди них лежал конверт, адресованный "Мистеру Уотсону, эсквайру, Белый дом, Честертон". Немногие, взглянув на него, узнали бы почерк Данстейбла, ибо этот хитроумец решил для пользы дела прикинуться умственно отсталым мальчиком лет двенадцати. Он рассудил, что нежный возраст корреспондента тронет сердце мистера Уотсона.

Письмо гласило:

Уважаемый сэр!

Я просто маленькай мальчик, но мне ужасно нравятся Ваши книшки. Ума не приложу, как Вы их все выдумали. Пожалусто, пришлите мне Ваш офтогров. Мне ужас как нравятся Ваши книшки. Я назвал своего кролика Монтегю в Вашу честь. Я вчера дал Джону в глаз за то, что ему не нравятся Ваши книшки. Я потратил на марку для этого письма последний пенни, хотя мог бы купить леденец. Когда я вырасту, я хочу быть похожим на Молтби из "Души Антони Каррингтона".

Ваш искренний читатель
П. А. Данстейбл.

Идеал для подражания он выбрал не совсем удачно: критики назвали образ Молтби "блистательным портретом циничного мерзавца". Однако других имен Данстейбл не запомнил.

— Сильно написано, — сказал он себе, заклеивая конверт.

— Несносный сопляк! — сказал себе мистер Уотсон, распечатывая его. Письмо пришло с утренней почтой, а до завтрака писатель всегда бывал в скверном расположении духа.

— Вот, Моррисон, — сказал он чуть позже. — Ответьте на это, пожалуйста. Все как обычно. Признателен, благодарю, ну, вы знаете.

На следующий день Данстейблу пришло письмо следующего содержания:

Мистер Монтегю Уотсон глубоко признателен за теплые слова в его адрес, изложенные в письме от 18-го числа сего месяца, и благодарит за них от всей души.

— Сорвалось! — воскликнул Данстейбл и отправился в "Сеймур" к своему другу Линтону.

— Писчая бумага есть? — спросил он, входя.

— Куча, — ответил Линтон. — Тебе дать?

— Достань один лист. Я продиктую письмо.

Линтон вытаращил глаза.

— А чего так? Рука болит?

Данстейбл объяснил:

— Понимаешь, Дэй собирает автографы. И просто жить не может без закорючки этого Уотсона. Не пьет, не ест, чахнет. Я вчера попытался добыть ему автограф и вот что получил.

Линтон внимательно прочитал документ.

— Так что, видишь, сам я снова написать не могу.

— Может, и не надо?

— Понимаешь, я хочу сделать Дею приятное. Он в этом семестре ведет себя, как человек.

— Ладно, валяй.

И Данстейбл начал:

Уважаемый сэр! Не могу умолчать о том, каким утешением в моей скорбной и одинокой доле служат Ваши романы...

— Слушай, — решительно прервал его Линтон, — если ты думаешь, что я подставлю под этой бредятиной свое имя...

— Нет, это не ты пишешь, а вдова, у которой два сына погибли в Южной Африке. Фамилию потом придумаем. Пишешь?

С тех пор как мои дорогие Гарри Герберт и Перси Лайонел пали жертвами этой ужасной войны, меня поддерживают лишь страницы "Души Антони Каррингтона" и...

— Он что, еще что-то написал?

— Да. "Марципан".

— Точно? Как-то глупо звучит.

— Точно. В наше время книжка должна называться странно, иначе не купят.

— Ладно. Валяй дальше.

..."Марципана". Мне очень неловко Вас беспокоить, но, если Вы пришлете мне Ваш автограф, я буду Вам бесконечно признательна.

Ваша восторженная почитательница...

— Как бы ее назвать? Дороти Мэйнард сойдет?

— Надо что-нибудь аристократическое. Может, Хильда Фульк-Посонбаи?

Данстейбл не возражал, Линтон поставил под письмом красивый росчерк с завитушками.

Миссис Фульк-Посонбаи поселили на Хай-стрит в магазине канцелярских принадлежностей. Не самый подходящий адрес для особы голубых кровей, но с хозяином магазина Данстейбла и Линтона связывала дружба, а другого человека, который согласится передать им корреспонденцию, они не придумали.

Письмо для миссис Фульк-Посонбаи пришло на следующий же день. Одного у мистера Монтегю Уотсона было не отнять: он всегда отвечал быстро.

Мистер Монтегю Уотсон выражал глубокую признательность за теплые слова в его адрес, изложенные в письме от 19-го числа сего месяца, однако выражал сомнение в том, что их заслужил. Миссис Фульк-Посонбаи вряд ли черпала утешение в "Душе Антони Каррингтона" так долго, как она утверждает, поскольку роман вышел из печати всего десять дней назад, что же касается "Марципана", о котором она отзывается в столь лестных выражениях, мистер Уотсон подозревает, что ее скорбный дух поддерживала книга какого-то другого автора, ибо он такой не писал. Впрочем, мистер Уотсон надеется, что его роман "Марс и Пан" в той же мере способен излить бальзам утешения на страждущую душу.

Секретарь Моррисон плохо спал ночью и вложил в письмо изрядную долю яда.

— Опять сорвалось! — сказал Данстейбл.

— Брось ты это дело. Ничего не получится, — сказал Линтон.

— Я попробую еще разок. А не выйдет — придумаю еще что-нибудь.

Двумя днями позже мистер Моррисон ответил мистеру Хаббершему-Морли, проживающему на Парк-лейн, дом 3а, что мистер Монтегю Уотсон глубоко признателен за теплые слова и проч. Парк-лейн, 3а был домашний адрес Данстейбла.

На этом этапе переписка между Уотсоном и Данстейблом прерывается, а их отношения переходят в личную фазу.

Вечером двадцать третьего мистер Уотсон, задумчиво прогуливаясь по собственному лесу, был возмущен зрелищем мальчика. Он не любил мальчиков даже издалека и за оградой, мальчик же в имении, пугающий его фазанов, возмутил литератора до глубины души.

Он крикнул.

Пришлец замер.

— Эй! Ты! Мальчик!

— Сэр? — Нарушитель обезоруживающе улыбнулся и с видом парижского франта приподнял кепи.

— Чем ты занимаешься у меня в лесу?

— Я не занимаюсь, я гуляю.

— Подойди сюда! — взвыл романист.

Незнакомец робко попятился.

Мистер Уотсон решительно двинулся в его сторону.

Гость юркнул за дерево.

В следующие пять минут великий ум был занят исключительно поимкой гуляки. Однако тот ускользал, словно последняя строка неоконченной эпиграммы, и на исходе пяти минут окончательно пропал из виду.

Мистер Уотсон поговорил с егерем в выражениях, которые сей достойный муж с завистью вспоминал всю следующую неделю.

— Абарзование, — говорил он другу за кружечкой в местном кабачке. — Где уж нам так. Тут абарзование надобно.

В следующие пять дней монотонность его жизни скрашивали регулярные визиты разорителя птичьих гнезд — по крайней мере, других объяснений упорству непрошенного гостя у егеря не нашлось. Только страстный коллекционер отважится на такой риск.

Егерь свято верил, что всякий мужской индивидуум в возрасте до двадцати лет занят одним — собиранием птичьих яиц. После двадцати он, разумеется, переходит к браконьерству. Мальчику было на вид лет семнадцать.

На пятый день егерь его поймал и доставил к мистеру Уотсону.

Мистер Уотсон был краток и деловит. Он узнал юнца, из-за которого два дня промучился ломотой в костях.

Егерь добавил еще несколько уличающих фактов.

— Кажный день здесь был, сэр, кажный день. Ну, сказал я себе, это уж чересчур. И, сказал я себе, я тебя поймаю. И поймал.

Егерь отличался лаконичностью слога, достойной Юлия Цезаря.

Мистер Уотсон покусал перо.

— Не понимаю, чего вам, мальчишкам, надо, — с досадой проговорил он. — Ты ведь из школы?

— Да, — отвечал пленник.

— Я пожалуюсь воспитателю. Как твоя фамилия?

— Данстейбл.

— Корпус?

— "Дэй".

— Хорошо. Свободен.

Данстейбл удалился.

Следующий раз мы видим его в кабинете мистера Дэя. Мистер Дэй велел ему зайти сразу, как закончит делать уроки. В руках воспитатель держал письмо.

— Входите, Данстейбл. Мне только что пришла на вас жалоба. Сообщают, что вы забрались в чужие владения.

— Да, сэр.

— Не понимаю. Вы разумный мальчик, и как вас угораздило сделать такую глупость? И, главное, зачем? Вы знаете, что школа стремится избежать любых трений с соседями, и все же сознательно залезаете в лес мистера Уотсона.

— Больше не буду, сэр.

— Он прислал мне возмущенное письмо — вот, прочтите. Вы не станете опровергать то, что здесь сказано?

Данстейбл пробежал глазами по прыгающим строчкам.

— Нет, сэр. Тут все правда.

— В таком случае я должен строго вас наказать. Перепишете греческие числительные десять раз и покажете мне во вторник.

— Хорошо, сэр.

— Можете идти.

В дверях Данстейбл остановился.

— Да? — спросил мистер Дэй.

— Э... я рад, сэр, что вы всё-таки заполучили его автограф.

И он закрыл дверь.

Вечером, отправляясь спать, Данстейбл встретил старшего воспитателя на лестнице.

— Данстейбл, — сказал мистер Дэй.

— Да, сэр?

— Я решил, что лучше вам переписать первую оду из первой книги Горация. Греческие числительные — это все-таки многовато.

П. Г. Вудхауз дома

Перевод Андрея Азова

ЧЕЛОВЕКУ с улицы несложно получить представление о личности своего любимого певца, актера или спортсмена, потому что ему есть где на них посмотреть, однако своего любимого писателя он чаще всего может увидеть лишь на размытом газетном снимке, который с одинаковым успехом мог бы изображать как чествование пловца, переплывшего Ла-Манш, так и съезд девушек-скаутов, на самом же деле показывает упомянутого писателя, который загорает возле открытого бассейна.

Читатели привыкли слышать о сложном характере или о странностях писателей, но их внешность, вкусы, привычки и развлечения обычно остаются в тени. Из-за этого писателей представляют совершенно особыми существами, живущими в каком-то возвышенном мире. Возможно, для кого-то из них это и верно, но я знаю, по крайней мере, одного, кто не откажется от добавки почечного пудинга.

Плам (его полное имя Пелем Гренвил Вудхауз, но это такое пышное, такое расфуфыренное имя, что оно не имеет ничего общего с моим беззаботным Пламми) приобщился к искусству в трехлетнем возрасте, но только лет в шесть взялся за перо всерьез. Два года он сочинял затейливые рассказы о джунглях, потом замолчал почти на двадцать лет, а потом стал писать рассказы о школе для “Капитана” и других журналов и так постепенно создал свой особый мир, населенный счастли-

© Edward Cazalet, 2012
© Андрей Азов. Перевод, 2012

выми, веселыми людьми: Дживсом, Арчи, мистером Муллинером и другими героями, о которых он сейчас пишет.

Он трудится, как мало кто другой, но все-таки порой мне кажется, что писательская жизнь в целом весьма приятна. К нам тут на несколько дней приехал Иан Хэй — так теперь из-за дверей библиотеки, где они с Пламом работают над вторым действием очередной пьесы, раздаются взрывы хохота. За обедом они говорят, как страшно вымотались за утро, решают, что на сегодня всё, и идут играть в гольф. И как это ни смешно, но за три утренних часа в библиотеке им действительно удается сделать то, что иным не под силу и за день.

Когда Плам работает над рассказом или романом, распорядок дня у него почти тот же: утром он пишет, а после обеда предается размышлениям, от которых его ни в коем случае нельзя отрывать. Считается, что в это время он думает глубокие мысли и сочиняет великие романы, но, когда дымовая завеса рассеивается, выясняется, что он либо спал, либо грыз яблоко, либо читал Эдгара Уоллеса. После чая, когда мы в Лондоне, он обычно гуляет, а когда за городом — идет играть в гольф.

У него очень простые вкусы. Книги, трубки, футбольные матчи — все это он обожает. Он не способен получать удовольствие ни от чего, что причиняет кому-нибудь боль, поэтому не любит ни охоту, ни рыбалку. Морозное ноябрьское утро, чай с горячими булочками перед пылающим камином, старая одежда — вот что ему больше всего по нраву. Мы его мало-помалу принаряжаем, так что теперь его иногда можно увидеть на Бонд-стрит в полном смятении оттого, что ему обновляют гардероб, то есть что матушка с продавцом подбирают ему вещи и заказывают их целыми охапками, не обращая внимания на жалобные протесты бедняжки Пламми.

Можно, пожалуй, сказать, что он играет в бридж: если идет игра, он непременно подпорхнет к столу, будет давать советы, рассказывать забавные истории и рваться в бой, но, если для партии не хватает четвертого игрока, Плама нигде не сыщешь. "Пламми, душка, — часто говорю я ему, — отчего же ты раньше не пошел с пикового туза?" — на что он невозмутимо отвечает: "Как только нашел, так сразу и пошел". Он полагает, что прелесть бриджа состоит в том, чтобы находить у себя в картах дам и королей, когда ситуация начинает уже казаться безвыходной. На днях разгневанный партнер спросил его ледяным тоном: "Скажите, дорогой напарник, зачем вам было сбрасывать бубны?" — "Так, счастливая случайность", — ответил Пламми, довольный, что кто-то высказался о его игре.

Он совершенно ничего не понимает в деньгах: чек на тысячу долларов для него — лишь награда за хорошее поведение; но,

если в доме пропадет полкроны, все мы знаем, кто будет бледнеть и заикаться, когда поднимется шум. Он охотно продаст кому угодно чек на пятьдесят фунтов за семь с половиной фунтов наличными — именно поэтому, собственно говоря, я и остаюсь на плаву. У него совершенно нет деловой хватки — так что дела у нас ведет матушка, которая тщательно отстаивает его интересы. Самому Пламу лишь время от времени нужны фунт на табак, да деньги на книжки. Он терпеть не может строить планы, поэтому предоставляет нам принимать решения за него и одинаково счастлив, что бы мы ни придумали.

Порой он хранит удивительную привязанность к вещам и местам. Какой-нибудь старый свинарник — если Плам знал свинью, которая там жила, — навсегда останется для него раем. А с другой стороны, одна и та же вещь или один и тот же человек довольно быстро ему приедается. Вот и поди пойми его.

Неодолимый ужас перед скукой сочетается у Плама с безумным страхом кого-нибудь обидеть. Если нас с вами пригласит на обед какой-нибудь неприятный нам человек, мы, наверное, скажем, что мы бы с радостью, но — увы! — на следующей неделе отплываем в Канаду. Плам пойдет еще дальше: сказав так, он *действительно* поплывет в Канаду, причем немедленно, на этой же неделе. Я помню, как однажды в Америке он отправился в Джорджию, потому что одна дама-репортер пригласила его выпить чаю. Рассыпавшись в извинениях, он забормотал, что опаздывает на поезд, и, вырвавшись, честно уехал на юг. К несчастью, после его возвращения они снова встретились, и тут уже бедняжке Пламу, вымотанному поездом, не оставалось ничего другого как согласиться. На другой день, собравшись с духом, он положил в карман четыре зубные щетки и сел на корабль, отправляющийся в Англию. А тут на днях он исчез, оставив нам записку, что "заскочит в Дройтвич поразмышлять". Мы не поверили, что это был истинный мотив — и появление вечером занудного гостя оправдало наши подозрения.

В двух своих привязанностях, однако, он удивительно и умилительно постоянен: это его древняя пишущая машинка и пекинесы.

Пишущую машинку он приобрел еще в двадцать лет и с тех пор ее обожает. Компании, которая ее изготовила, давно уже нет на свете, а в самой машинке не осталось ни одной родной детали — столько раз ее чинили. Мне кажется, она не рассыпается на кусочки, только чтобы не огорчать Пламми. Если на ней слишком долго печатать, она ломается, а если слишком долго *не* печатать, то западают клавиши. Плам никому не разрешает к ней прикасаться и повсюду ее с собой возит. Если нужно, ей достается место в салоне первого класса. Носильщикам он ее не до-

веряет: говорит, они ее не понимают. Обычно мы посылаем телеграмму механику, чтобы он встречал нас у поезда, потому что от путешествий у нее внутри всегда что-нибудь разбалтывается. У Плама есть еще пять машинок, купленных от отчаяния в пяти разных странах, когда казалось, что его любимица умерла; эти новые машинки либо достаются мне, либо отправляются на свалку.

А еще у него есть Сусанна.

Сусанна — это наш пекинес, и Плам от нее без ума. Стоит нам размечтаться о круизе на Дальний Восток или о блаженном летнем отдыхе на Сицилии, мы вспоминаем, что для этого пришлось бы оставить Сусанну одну, и остаемся дома ее развлекать или ездим смотреть мир по очереди. Она очень хорошенькая, маленькая, с коричневой шерсткой и ходит такой приплясывающей походкой, какой ходят пекинесы. Стоит Сусанне улыбнуться Пламу — и он готов прервать разговор с кем угодно, лишь бы выслужиться перед ней. Каким бы безнравственным, нищим или неинтересным ни был человек — если о нем говорят, что он "знает толк в пекинесах", Плам простит ему безнравственность, одолжит денег и придумает, чем он интересен.

Сусанна родила трех щенят, которых мы собирались раздать, но они такие славненькие и в каждом столько от Сусанны, что мы собираемся оставить их себе. Видимо, для этого нам придется перебраться в другой дом, побольше. Через два года каждый из них, наверное, тоже родит трех щенят, до того похожих на свою бабушку, что мы ни с одним не сможем расстаться. А еще через два года...

Но я обещала рассказать, как Плам работает. Работает он не переставая; выходной для него — это когда он пишет пьесу вместо романа или рассказ вместо мюзикла. Возможно, его произведения легко читаются именно потому, что ему так нравится их писать. Когда-то я читала о юмористе, который говорил, что темные пятнышки, то и дело попадающиеся на странице, — "это не запятые, а капли крови". Плам совершенно другой. Уяснив себе сюжет, хотя бы в общих чертах, он пишет быстро и легко. Конечно, у него может получиться сцена, которую я умоляю порвать, прежде чем хоть одна живая душа ее увидит, или пять страниц, которые в итоге ужмутся в один абзац, но пока он пишет, это не составляет для него труда.

Он тратит страшно много сил на разработку плана. Ни один его персонаж никогда ничего не сделает без сколь-нибудь правдоподобной — пусть даже и смехотворной — на то причины. Например, чтобы в "Билле Завоевателе" герой встретился с героиней, она получает поддельное жалобное письмо от предприимчивого, но временно стесненного в средствах друга героя, который вме-

сте с ним живет. Она идет ответить автору письма лично, звонит в дверь, Билл открывает — и так завязывается их роман.

Я так горжусь Пламом за то, что он всегда держит высокую планку. Какой-то рассказ может нравиться больше, какой-то меньше, какие-то герои могут совсем не нравиться — но состав всегда один и тот же: основной сюжет, побочный сюжет, однадве хорошие сцены, иногда какие-нибудь сюрпризы и изрядное количество любви и труда. На прошлой неделе он полностью переписал один рассказ — теперь рассказчик не Берти, а мистер Муллинер, действие происходит во дворце, а не в пивной, и, как передал мне Плам в телеграмме: "Дал отставку несчастному полковнику матушка теперь незамужняя тетушка".

Меня всегда поражала способность Плама писать стихи на музыку, которую он до этого слышал всего три-четыре раза. Он совершенно не интересуется музыкой и не может правильно взять ни единой ноты. "Прощание" Тости и "Знойная красавица", если он напевает их себе под нос, звучат совершенно одинаково и не похожи ни на "Прощание" Тости, ни на "Знойную красавицу". И несмотря на все это, мелодия живет где-то в глубине его сознания; нисколько не разбираясь в музыке, он слышит ритм, слабые и сильные доли. Помню, как однажды в Америке он сочинял мюзикл на пару с композитором, находившимся где-то в сотне миль от него: композитор звонил ему, клал телефонную трубку на пианино и три-четыре раза играл мелодию — и в тот же вечер Плам посылал законченные стихи, которые идеально на нее ложились.

Я не могу представить Плама никем иным, кроме как писателем-юмористом: ведь смех для него — это всё. Он смеется даже тогда, когда хочется плакать. Он и сюжеты свои, мне кажется, так выдумывает. Пробегает, например, глазами заметку о расходах на миссионеров на Дальнем Востоке и переворачивает страницу, чтобы приступить к спортивному обозрению, а в голове у него тем временем раздается голосок: "А что, если какая-нибудь тетушка загонит Берти Вустера в угол и начнет ему подробно это пересказывать? Подумать над этим!"

Очень сложно рассказывать другим про того, кого ты хорошо знаешь, — наверное, так же сложно, как писать историю, пока сам в ней живешь. Не хватает отстраненности. Но вот что я скажу определенно: и лучшие друзья Плама, и его случайные знакомые находят его совершенно очаровательным. Есть у него такое редкое качество — наверное, это называется обаянием, — из-за которого его невозможно не любить. Он и вида не подал, а вам уже кажется, что вы ему симпатичны; он и доброго слова не произнес, но первое и последнее впечатление, которое у вас остается, — это его доброта.

Роберт Маккрам

Жизнь Вудхауза
(*Военные годы*)

Фрагменты книги

Перевод Игоря Мокина

"*Закуска на пиру судьбы*" (1940)

> Юноши, начинающие строить жизнь, нередко спрашивают меня, как бы им попасть в концентрационный лагерь? Для этого, говорю я, существуют разные приемы. Я лично воспользовался таким: покупаешь виллу в Ле-Туке на побережье Франции — и жди, пока придут немцы. По-моему, этот способ самый верный и самый необременительный. Ты покупаешь виллу, а все остальное делают они[1].
>
> П. Г. Вудхауз. Первая передача на немецком радио, 28 июня 1941 года

Зима 1940-го выдалась на редкость суровой; это оказалась одна из самых холодных зим за весь XX век. Вудхаузы впали в спячку в Лоу-Вуде[2] и мечтали уехать в Америку. "По-моему, чтобы выехать из Франции, нужно разрешение, — писал Вудхауз Болтону. — Пожалуй, можно было бы полететь "клипером"[3], но у меня на этот счет имеются опасения". Вудхауз так ни разу в жизни и не сядет в самолет, а Европу покинет только в 1947-м.

Во время "странной войны" (или, как говорили французы, drôle de guerre) Ле-Туке в "мертвый сезон" уже не казался тем "необитаемым островом", который так полюбил Вудхауз. В городе стояли французские части, и Вудхауз писал Тауненду, что его вклад в дело войны сводился к устройству "ночлежки для французских офицеров" — в свободной комнате виллы были расквартированы два военных врача. Английские газеты приходили с опозданием на день, в остальном жизнь в Ле-Туке изменилась ма-

© Robert McCrum, 2004
© Игорь Мокин. Перевод, 2012

1. Перевод И. Бернштейн. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Дом во французском приморском городке Ле-Туке, который чета Вудхаузов купила в середине 1930-х. 30-е гг. Вудхаузы провели в основном во Франции.
3. "Боинг-314-клипер" — дальнемагистральный авиалайнер (точнее, летающая лодка), совершавший в те годы трансатлантические рейсы.

ло. Этель[1] разъезжала повсюду на своей синей "лянче"; в марте она врезалась в автобус на обледенелом шоссе по пути в Монтрей, но не пострадала. Вместе со своей хорошенькой секретаршей Жаклин, дочерью жившего в тех местах гольфиста-профессионала Артура Гранта, она ездила в предместье Пари-Пляж и приглашала симпатичных британских офицеров на ужин; она воображала, что этим поднимет боевой дух армии. Этель любила быть в центре внимания и вовсе не стеснялась ни с того ни с сего приглашать к себе совершенно незнакомых людей.

Однажды зимним вечером молодой капитан Рекс Кинг-Кларк из 2-го батальона Манчестерского стрелкового полка, стоявшего на франко-бельгийской границе, сидел и отогревался в кафе "Белая звезда" после артиллерийских учений в дюнах; Этель, назвавшись миссис Вудхауз, завела с ним беседу и уговорила поехать с ней в Лоу-Вуд. Вскоре Кинг-Кларк обнаружил, что у нее есть и другие новые друзья. Молодые пилоты "харрикейнов" из 85-й эскадрильи Королевских ВВС, стоявшей в Ле-Туке, регулярно заходили к Вудхаузам на чай, коктейль и импровизированные танцы, а возможно, и ради мимолетной встречи с юной мисс Грант, которая была не прочь, по ее выражению, "попрактиковаться в кокетстве". Кинг-Кларк рассказывал: "Я провел несколько чудесных вечеров в компании летчиков и друзей семьи Вудхаузов" — то есть других британцев, которые оказались вдали от родины и теперь собирались, чтобы запросто пообщаться в Лоу-Вуде, где верховодила Этель, обожавшая праздники. Жаклин Грант вспоминает: "Из решетчатых окон в уютной гостиной видны были сад и дальние дюны, граммофон играл 'Моим сердцем завладел папаша', а с пола уже убрали ковер, чтобы потанцевать".

Вудхауз, лысый, с очками на носу, высовывался из дверей и спрашивал с улыбкой: "Весело вам?" — "Да, сэр, — отвечали молодые люди хором. — Не хотите к нам присоединиться?" Но он всегда вежливо отказывался и возвращался через холл в свой маленький кабинет. Вудхауз трудился над новыми рассказами: "измучившись войной", он находил успокоение за письменным столом. "Я работаю по утрам, перед завтраком гуляю с собаками, еще немного работаю после завтрака, а потом до обеда читаю, — рассказывал он Тауненду. — Удивительно, как быстро проходит время".

Хотя Вудхауз все силы отдавал писательству, с молодыми солдатами, гостившими в Лоу-Вуде, он был ласков. Рекс Кинг-Кларк вспоминал: "Однажды я пил чай с Вудхаузом в их чудесной гостиной; он привел собаку. Вудхауз больше молчал и казал-

1. Этель Вудхауз — жена П. Г. Вудхауза.

ся задумчивым, и было трудно поверить, что передо мной создатель милых чудаков Псмита, Дживса и Берти Вустера. Помню, мы говорили о войне... и я ушел с ощущением, что он не так уж верит в победу союзников". Вудхауз говорил Тауненду, что речи Черчилля его успокаивают, но во многом его взгляд на европейский кризис определяло, по выражению Оруэлла, "мировоззрение 'Алмаза' и 'Магнита'" — журналов для мальчиков, которые Вудхауз читал в школьные годы:

> В кабинете уютно потрескивает камин, а за окнами свищет ветер. Старые седые камни заросли густым плющом. Король сидит на троне, а за фунт дают фунт, ни больше ни меньше. Там, на континенте, потешные иностранцы тарахтят без умолку, размахивая руками, но в Проливе стоят под парами мрачные серые линкоры британского флота... [а] у нас впереди чаепитие, и на столе горы сосисок, сардин, оладьев, жаркого, пончиков и джема... Все спокойно, незыблемо и непреложно. Ничто не изменится — во веки веков.

Если Вудхауз и представлял себе общеевропейскую войну, то разве что Первую мировую, которая на мирный ход тыловой жизни французов почти не влияла.

Весной 1940-го в пятистах километрах от Ле-Туке, на бельгийской границе, сосредоточивались панцербригады вермахта, и Роммель заканчивал подготовку своего молниеносного наступления. Однако удивительным образом об опасности вторжения не задумывались ни летчики британских ВВС, ни французские военные, ни британское консульство в Булони. Вудхауз, как и его друзья и соседи, только слегка удивлялся происходящему. "Не представляю, что будет дальше, — пишет он из Лоу-Вуда Тауненду. — Думаешь, все начнется весной? Не вижу смысла, ведь тогда нас точно будет не одолеть". Такова была линия британского правительства, Вудхауз придерживался официальной точки зрения. В марте 1940 года Чемберлен назвал "главным оружием" против Гитлера морскую блокаду со стороны Британии. Вудхауз шутливо заметил: "Боюсь только, Германия на нынешних своих запасах протянет еще много лет. Мне кажется, немец в состоянии питаться крапивой и щепками бесконечно".

Вудхаузу было не до жалоб: нужно было возиться с собаками и заниматься писательскими делами. "Переплет" предложили поставить в виде мюзикла и спрашивали согласия автора. Герберт Дженкинс планировал 26 апреля выпустить сборник рассказов о клубе "Трутни" и его членах под названием "Яйца, бобы и сдоба": надо было узнать, как идут продажи в условиях войны. В "Сатердей ивнинг пост" печатали по главам один из его любимых романов "Раз — и готово", а журнал "Лайф" хотел заказать ему статью о том, как он относится к войне на континенте. Тре-

бовали внимания животные: Вудхауз присматривал за соседским попугаем и семью собаками, а в гараже поселилась бездомная кошка, которая принесла котят, и он боялся, что его пекинес их покусает. И все это время Вудхауз трудился над новым романом. Так появилась "Радость поутру"; немногочисленные ярые поклонники этой книги считают ее вершиной творчества писателя. Хотя его мысли были в первую очередь поглощены рукописью, Вудхауз, все еще надеявшийся уехать в Америку, стал строить гипотетические планы: они будто бы сядут на пароход в Генуе, где еще открыт порт (его закроют 10 июня, когда Италия объявит войну Франции). "Уезжать — это целое дело, — жаловался он Рейнолдсу, — так что я сижу себе тихонько и пишу новый роман о Дживсе[1]; уже закончил первые четыре главы". За сорок лет его подход мало изменился. В письме Рейнолдсу он объяснял, что все так же сочиняет комичные сцены про запас:

Я написал рассказ, потом его продолжение[2], и получилось смешно. Только собрался послать его тебе, как меня осенило: развязка подойдет, чтобы вытащить из какой-нибудь передряги Берти Вустера, а поскольку такие финалы сочинять тяжело, я решил выбросить рассказ и придумать сюжет про Дживса, который закончится на этой сцене.

Вудхауз готов был обсуждать с Рейнолдсом предстоящий совместный ланч, но сомневался, что сможет отправиться в Америку до конца лета; в беседе он заметил: "Думаю, [роман] выйдет удачный, но какая же мука была выбрасывать рассказ". Европу почти накрыло катастрофой, а он все строил планы и донимал Таунленда вопросами о сюжете "Радости". Он спрашивал: "Может ли обедневший молодой лорд стать деревенским полисменом? Лондонским — пожалуй, но мне нужна именно деревня... (И нужен полицейский, потому что Берти стащит у него форму, чтобы пойти на костюмированную вечеринку.)" Так шли недели, война все приближалась, но Вудхаузы не двигались с места. 9 апреля, воспользовавшись метелью, немецкие войска смели оборону побережья Норвегии. Ответный ход Британии обернулся разгромом и завершился 2 мая бесславным отступлением всех британских частей, а затем отставкой Невилла Чемберлена. 9 мая премьер-министром стал Черчилль, вернувшийся во власть из оппозиции. В своей речи перед Палатой общин он заявил: "Я могу предложить вам лишь кровь, труд, слезы и пот... Вы спрашиваете: какова наша цель? Отвечу одним словом:

1. Имеется в виду "Радость поутру". (*Прим. автора.*)
2. Имеется в виду рассказ "Амброз выходит из игры". (*Прим. автора.*)

победа. Победа любой ценой; победа назло всем ужасам войны; победа, каким бы долгим и тяжким ни оказался наш путь". Новый, резкий и бескомпромиссный тон британской политической риторики был совершенно оправдан во время смертельной схватки с нацистской Германией, но как же далек от всего этого мир клуба "Трутни" из книги "Яйца, бобы и сдоба", в котором всегда есть время обменяться шуточками перед завтраком, а молодые люди в безупречных костюмах убивают время за игрой в бильярд и в "персидского шаха"[1]!

Черчилль получил свой пост, когда медлить было уже нельзя. Рано утром 10 мая Германия без объявления войны с невиданной доселе скоростью и ударной мощью вторглась в Голландию и Бельгию. Не прошло и недели, как голландская армия сложила оружие. Немцы прорвали слабую оборону Арденн, преодолели линию Мажино, и к 15 мая панцербригады Роммеля наступали так стремительно, что даже обгоняли на своем пути отходившие французские части. В Париже чиновники на набережной Орсэ принялись жечь архивы. Теперь наконец заволновался и Вудхауз. Жаклин Грант рассказывала, что они с Этель устроили на террасе Лоу-Вуда костер из его "антигерманских" статей и записок. Если не считать первые строки "Потаенного сокровища", едва ли не единственная откровенная сатира на Гитлера у Вудхауза — это "Большой прорыв", слабенький рассказ для "Панча", в котором рассказчик повествует о совещании на Вильгельмштрассе:

В приемной было тесно — как в любом помещении, куда заходит фельдмаршал Геринг... Через несколько минут ворвался фюрер.

— Ну что, все в сборе, — сказал он. — Итак, насчет объявления войны. У кого какие идеи?

— Я тут думал... — начал Риббентроп.

— Чем? — перебил его Геринг, большой мастер неожиданных вопросов.

— Ну же, мальчики, мальчики... — произнес фюрер ласково. — Мне тут по дороге пришла в голову одна мыслишка. Давайте уничтожим Британию.

Возможно, обеспокоенная ходом событий Этель решила не оставлять ничего компрометирующего, даже такой мелочи, на случай, если мужа захватят в плен, и потому сожгла рукописи. "Сонное оцепенение", овладевшее ими в те весенние деньки, грозило вскорости обернуться кошмаром.

1. Выдуманная Вудхаузом карточная игра, в которую играют персонажи цикла о замке Бландинг.

В восьмидесяти километрах к северу от Ле-Туке командир британских экспедиционных сил генерал Горт отступал к побережью у Дюнкерка, отчаянно пытаясь уйти из немецкого окружения. В понедельник 20 мая, когда отовсюду приходили лишь дурные вести, Вудхаузы предприняли первую запоздалую попытку убежать на юг. До сих пор они верили обещаниям властей, будто немецкое наступление захлебнется, и даже попросили британского вице-консула в Булони заранее их предупреждать об угрозе приближения немцев. Но на деле никого из живших в Ле-Туке англичан консульство так и не предупредило — в первую очередь потому, что никто не знал о происходящем, даже Би-би-си. Впоследствии Этель рассказывала Денису Макейлу, что Би-би-си для них "была в ту пору все равно что Библия", но радио тревогу не поднимало. Всякий раз, когда Леонора писала из Англии, она уговаривала родителей уехать, пока это еще возможно, их умоляла спасаться и подруга по Ле-Туке леди Дадли. Однако Вудхаузы упрямствовали, наивно полагая, будто подлинная английская доблесть — не двигаться с места, верить в британскую армию, защищать свою собственность и не поддаваться панике. Не в последний раз во всей этой истории Вудхауз совершенно не вовремя встанет в позу героя. Впрочем, помимо героизма имелись две более объективные причины не уезжать в Британию, даже перед лицом опасности: собаки и новый роман. Если ехать на родину, то любимую собаку нужно отдать в карантин, чего Вудхауз перенести не мог. К тому же он вынужден был бы прервать работу над "Радостью поутру"; об этом тоже не могло быть и речи. Для Вудхауза-писателя творчество было превыше всего. Впоследствии нежелание поступаться этим принципом приведет Вудхауза к катастрофе.

Дурные вести сменялись слухами. Говорили, будто целые орды французской колониальной пехоты уже отбили немецкое наступление, якобы одержав ряд решительных побед вдали от побережья, и будто бы прорванный фронт восстановлен. Позже Вудхауз вспоминал: "Все полагали, что их [немцев] остановят еще до Амьена", — однако, когда Амьен пал, стало ясно, что дело плохо, и Вудхаузы наконец стали планировать эвакуацию. 20 мая никто еще точно не знал, куда движется немецкая армия, но судя по изредка падавшим бомбам и по отзвукам зенитного огня, долетавшим со стороны Арраса, положение все ухудшалось. Этель Вудхауз поехала в английский военный госпиталь в Этапле, здание которого, потихоньку разрушаясь, стояло с Первой мировой, и спросила коменданта о последних разведданных. Более вредный совет дать было трудно: военный уверенно заявил, что немцы еще далеко и можно не беспокоиться. Поэтому Вудхаузы и их соседи после жарких споров

решили отложить отъезд до завтра — до 21 мая. Ночью супруги погрузили все самое необходимое в свою "лянчу", закопали несколько канистр бензина в саду и отдали вторую машину поменьше щвейцарке-домоправительнице, их соседке леди Фернесс. Они спали "на чемоданах"; утром предстояло прорываться на свободу, то есть на юг: у Вудхаузов возник скороспелый план ехать в Португалию, а оттуда плыть в Америку.

Побег не задался с самого начала. После мартовской аварии "лянчу" плохо починили: включались только вторая и третья передачи. Небольшой караван Вудхаузов двинулся через сосновые леса Ле-Туке, но на дороге в Берк, проехав всего километра три, машина сломалась окончательно. Вудхауз чинить авто не умел и поэтому решил оставить "лянчу" и вернуться на второй машине в Лоу-Вуд. Дома они с Этель встретили Артура Гранта, его жену Рут и дочь Жаклин, которые тоже собирались бежать вместе с еще одним пожилым британцем, мистером Лори. У Грантов были две машины — маленькая "симка" и старый фургон "форд" Красного Креста, который они взяли еще у одного соседа, мистера Кемпа. После длительного прощания с соседями, согласившимися приютить многочисленных собак, второй караван тронулся в путь: впереди Вудхаузы, за ними Жаклин Грант в фургоне, а следом ее отец на "симке". Вторая попытка побега, уже в виду неумолимо наступавших немцев, была так же бесплодна, как и первая.

Из Ле-Туке шли дороги только местного значения. Когда Вудхаузы добрались наконец до шедшего вдоль берега шоссе, их встретил хаос: машины с матрасами, привязанными к крышам, повозки, заваленные мебелью телеги, велосипеды, тачки — и множество людей, уходивших от врага пешком. Это невероятное переселение, которое позже прозвали Исходом, станет в XX веке привычной картиной, но современники были поражены. Антуан де Сент-Экзюпери писал, что с воздуха казалось, будто великан растоптал муравейник. Исход случился не только на побережье: в дни, когда пала Франция, от нацистов спасались бегством от шести до десяти миллионов человек. Многие запомнили на всю жизнь, как быстро рушился привычный уклад. Посреди людского моря, не зная куда идти и боясь обстрелов с воздуха (фордовский фургон сразу сломался), Гранты потеряли Вудхаузов из виду. Только к вечеру Жаклин смогла привести механика — одного из знакомых летчиков с местного аэродрома. Вудхаузы напрасно прождали Грантов, а затем вернулись и рассказали, что дорогу на юг — к Берку, к Аббевилю, к спасению — запрудили беженцы и по ней ведут огонь немцы. Вудхауз предложил вернуться в Лоу-Вуд, а Этель стала умолять всех переночевать у них. Когда кто-то напомнил, что дом могут бомбить, она сказала, что тогда

можно будет спуститься в гостиную и накрыть головы подушками. Неудивительно, что Гранты решили ночевать у себя.

На самом деле город никто не бомбил. Ле-Туке не представлял стратегического интереса. Победоносная германская армия просто двинулась дальше, на Булонь. "Палящее солнце сменили сумерки, затем наступила темнота, а мы все ждали, но ничего не происходило, — писал Вудхауз позже. — Вместе с криками кукушек до нас доносился далекий гром битвы возле Булони. Долгий, нескончаемый рев, а потом тишина". С 22 мая Вудхаузы находились за линией фронта, и бежать стало невозможно. На другом берегу Ла-Манша Ивлин Во записал в дневнике: "Читал П. Г. Вудхауза (который потерян вместе с портами в Проливе)... и позабыл о войне". Сам Вудхауз наверняка был бы рад позабыть о войне, однако действительность вторгалась в его жизнь самым бесцеремонным образом.

"Моя первая встреча с захватчиками произошла при довольно неудачных обстоятельствах, — писал Вудхауз в неопубликованной "Апологии", пытаясь объяснить свое поведение в годы войны. — Все вышло как-то... неловко. Я не попал под пулю, но едва не сгорел от стыда". Так он характеризует страшную встречу с немецким патрулем, описанную на первых страницах "Апологии". Прошло всего несколько дней, и улицы Пари-Пляжа оказались наводнены солдатами в сером. Немцы установили комендантский час (с девяти вечера), расставили часовых и реквизировали виллы. В Лоу-Вуде объявились немецкий сержант и трое пехотинцев в тяжелых сапогах, забрали все запасы Вудхаузов, а потом пришли за машинами и велосипедом. Вудхауз попытался было протестовать, когда забирали велосипед, но не добился ровным счетом ничего, так как по-немецки мог сказать разве что "Es ist schönes Wetter"[1]. Положение было далеко от идеала, и Этель пребывала в бешенстве (что неудивительно); тем не менее Вудхауз все еще мог работать над книгой, и постепенно в доме воцарился странный порядок. "Интересно, как человек реагирует, вдруг оказавшись в оккупации у иностранной державы", — пишет Вудхауз.

Когда впервые видишь в собственном саду немецкого солдата, первая реакция — подпрыгнуть на три метра; что ты и делаешь. Однако чувство неловкости скоро проходит. Через неделю обнаруживаешь, что подпрыгиваешь уже только на полтора метра. И в конце концов привыкаешь так, что уже не дрожишь, когда люди в стальных касках утюжат мотоциклом твой газон или пара-тройка ребят забредает к тебе в ванную помыться.

1. "Какая прекрасная погода!" (*нем.*)

Всю свою жизнь Вудхауз умел стойко переносить удары судьбы. Даже теперь он, казалось, не мог стряхнуть с себя какую-то беспечную отрешенность. На людях он "носил маску", как его герой Берти Вустер, и утверждал, что "ощущает себя униженным". Однако в кругу друзей он не сдерживал гнева. Много лет спустя он втолковывал Тауненду, что вовсе не "*зазывал* этих чертовых немцев мыться в своей ванне", как думали некоторые. На самом деле, спустя две недели после вторжения, в соседнем доме поселилась толпа рабочих из Имперской службы труда, которые повадились ходить к Вудхаузам мыться. "Я возмутился, — писал он, — да только не очень-то мне это помогло: назавтра они пришли снова и привели с собой друзей". Вудхауз рассказывал: когда немцы вошли в город, он боялся, что его отправят в лагерь; однако "неделя шла за неделей, ничего не происходило, и снова исподволь стал проклевываться оптимизм". И все же он ощущал, что обречен, хотя и не подавал виду: "Как бы я ни храбрился, рядом со мной всегда стояла Тень и нашептывала: 'Будет еще хуже'". Скверные предчувствия Вудхауза только обострились, когда в Пари-Пляж назначили военного коменданта — немца со стеклянным глазом, к которому все британцы мужского пола должны были каждое утро являться для проверки. Он поселился в самом центре Пари-Пляжа, в мэрии — кирпичном здании в неоренессансном стиле, похожем на крепость. Оставшись без велосипеда, Вудхауз решил, что воспользуется случаем и будет поддерживать форму, для чего стал ходить в комендатуру пешком — по три с лишним километра в день через пустоши (что составляло лишь часть его моциона). Позже, оглядываясь назад, он понял, что устрашающие манеры коменданта — это лишь предвестие или, как он сам выразился, "закуска на пиру судьбы": тогда комендант просто пугал его.

После того как дюнкеркское отступление вселило в англичан новые надежды, а падение Франции стало свершившимся фактом, близкие Вудхауза приняли сложившиеся обстоятельства хладнокровно. 28 мая на взволнованную телеграмму Рейнолдса Леонора ответила: "Сожалею новостей нет. Полагаю опасность невелика". Воспрянув духом после ее ответа и почуяв, как и полагается хорошему литературному агенту, запах прибыли, Рейнолдс написал в Лоу-Вуд. Он выразил надежду на то, что "нынешние обстоятельства не чересчур тяжелы", и спросил, не напишет ли Вудхауз журнальную статью о своих приключениях. Две недели спустя Рейнолдс извещает Этель: "Здесь составляют петицию на имя германского посла, просят его употребить все его влияние и добиться освобождения Вудхауза". За этой просьбой освободить писателя в первые годы войны последуют и другие, что в конечном счете заставит немецкие власти задуматься о ценно-

сти пленника для пропаганды. Пока никаких более срочных дел не было, Рейнолдс попросил Леонору дать согласие на постановку "Переплета" в виде мюзикла. И тут судьба нанесла удар.

Воскресным утром 21 июля, в особенно ясный, погожий денек, Вудхауз совершил обычную прогулку по длинному прямому шоссе в комендатуру, но придя обнаружил, что его наихудшие опасения сбылись: "Мой старый желудок заплясал бешеную чечетку, — писал он позже тоном бродвейского комика, — а сердце зашлось барабанной дробью". Прямо перед ним стоял живший в городе англичанин по имени Гарольд — *с вещами.* Всех англичан в возрасте до шестидесяти лет должны были немедленно интернировать. Позже Вудхауз описывал случившееся тоном Берти Вустера: "Я задрожал от головы до ног, как желе во время землетрясения", — но на самом деле это была ужасная минута. Он признавался: "Меня больше всего пугала абсолютная безвыходность положения". Ловушка захлопнулась. Вудхауз, по обыкновению, умел найти нечто смешное и в такие отчаянные минуты; он заметил, что в подобной ловушке оказывался лишь трижды: когда, закончив Далвич, пошел работать в банк, когда приехал в Голливуд в 1930-м и когда, готовясь получить степень доктора, облачился перед церемонией в университетскую шапочку и мантию.

Вудхауза под конвоем отвели обратно в Лоу-Вуд и дали ему десять минут на сборы. Этель гуляла с собаками в саду, не подозревая о происходящем и не зная, в каком ужасе ее муж. Он тем временем собрался с духом и принял решение не брать с собой рукопись "Радости поутру" (почти законченную — оставалось написать только четыре главы), а с собой взять полное собрание сочинений Шекспира, табак, карандаши, три блокнота, четыре трубки, пару ботинок, бритву, мыло, рубашки, носки, нижнее белье, полфунта чаю — и томик Теннисона. В суматохе он забыл дома паспорт, из-за чего немало натерпелся в дальнейшем. В последний момент появилась Этель и положила ему холодные бараньи ребрышки и плитку шоколада. Позднее, перефразируя "Троих в лодке" Джерома, он говорил, что жена предлагала ему еще и фунт масла, но оказалась недостаточно настойчива. Затем Вудхауза отконвоировали обратно в комендатуру Пари-Пляж.

Спустя некоторое время его и еще с десяток интернированных из Ле-Туке, в том числе некоторых его товарищей по гольфу и Артура Гранта, увезли оттуда на автобусе — неизвестно куда и неизвестно чему навстречу. Все были напуганы, но Элджи, бывший клоун, который держал популярный в Ле-Туке бар "У Элджи", не давал им пасть духом. В Этапле и Монтрее автобус останавливался и брал все новых пленных; Вудхаузу и

остальным разрешили там купить вина и сигарет, после чего автобус прибыл в пункт назначения — город Лилль, километрах в ста оттуда. Путь занял восемь часов, и после девяти вечера они въехали в ворота мрачной тюрьмы в Лоосе, предместье Лилля, известном тем, что в Первую мировую там произошло несколько крупных сражений. Чиновник, "внешне напоминавший кого-то из фильма о Чертовом острове[1]", записал в списке фамилию Вудхауз как "Видхорз" ("состав преступления: англичанин"). Вудхауза поместили в камеру номер 44 вместе с Элджи и неким мистером Картмеллом, пожилым настройщиком пианино. Так начался первый этап плена.

Вудхаузу довелось испытать то же, что и большинству "граждан враждебного государства" во Вторую мировую. Женевская конвенция 1929 года об обращении с военнопленными не распространялась на гражданских лиц, и Международный комитет Красного Креста заключил соглашение со странами Оси, что под Конвенцию подпадают гражданские лица и команды торговых судов. Поэтому лагеря для интернированных граждан были устроены по образцу лагерей для военнопленных. Они разительно отличались от нацистских концлагерей, но по-своему тоже были серьезным испытанием для заключенных, многие из которых были уже не молоды. Например, лишь через несколько недель пришло окончательное решение отпустить всех интернированных старше шестидесяти лет (Вудхаузу скоро исполнится 59); а между тем среди заключенных стали ходить самые невероятные слухи. Не вполне понимая статус подобных пленников, немецкие власти не могли решить, что с ними делать. Должны они соблюдать военный режим или гражданский? Положение осложнялось еще и тем, что продрогшие, одетые как попало англичане по пути из лагеря в лагерь обзаводились списанной военной формой, так что на вид могли сойти за истрепанный в боях полк.

Между тем у Этель были свои приключения. Что она делала в конце войны, не вполне ясно, но в эти первые месяцы ее действия легко отследить. Она говорила, что "едва не лишилась рассудка", когда Вудхауза забрали. На вилле, реквизированной немцами, оставаться было невозможно, и через пару дней ей удалось достать ордер на комнату — у некоей мадам Бернар в местном рыбохозяйстве, километров за пятьдесят от побережья. В "довольно мрачный дом посредине запущенного поля" ее с несколькими чемоданами, попугаем Коко и пекинесом Зо-

1. Чертов остров — остров у побережья Гвианы, где находилась знаменитая французская тюрьма; в ней, в частности, содержался Альфред Дрейфус. Об этой тюрьме был снят фильм 1939 года "Чертов остров" с Борисом Карловым в главной роли.

лотце подвез немецкий солдат. Там ей выделили маленькую спальню, окнами на задний двор, где она "просидела около часа, пытаясь понять, как не пасть духом окончательно, и безумно волновалась за Пламми". Несмотря на то что Францию захватили нацисты, жизнь в стране шла на удивление спокойно. Этель просто каждый день выводила собаку на прогулку и ждала, когда придет почтальон. Дней десять спустя, как она рассказывала Дэнису Маккейлу, пришла открытка: "Пламми писал, чтобы я не волновалась, у него все хорошо, он в Лилле". Весь год вынужденной разлуки Вудхауз с женой слали друг другу письма и открытки, на наш взгляд — удивительно часто.

В молодости, желая поупражняться в писательском ремесле, Вудхауз бродил по лондонским улицам в поисках впечатлений и записывал все в блокнот. Теперь новые впечатления грозили захлестнуть его, и уже пожилым человеком он вспоминает старую привычку и заводит дневник, известный теперь под названием "лагерного". Дневник послужил основой для утерянной впоследствии рукописи о военных похождениях Вудхауза, которую автор сам иногда называл "Вудхауз в Стране чудес". Эти карандашные заметки — практически единственный источник сведений о его жизни с июля 1940-го по июнь 1941 года. Из-за внезапного потрясения обострились его инстинкты журналиста. "Хотя для респектабельного джентльмена на склоне лет встряска оказалась нешуточная, — говорил он позже, — но все происходящее было весьма интересно, и я с нетерпением ждал завтрашнего дня".

Оказавшись в тюрьме Лооса, Вудхауз по-рыцарски уступил единственную кровать в 44-й камере Картмеллу, старшему из них, и провел первую ночь в плену на тонком соломенном матрасе прямо на полу, укрываясь грубым одеялом и не снимая одежды. Заснуть не удалось. Трое взрослых мужчин едва умещались в камере; в блокноте Вудхауз описал эти суровые условия:

Камера четыре метра на три, беленые стены, в углу под окном кровать. Окно большое, полтора метра на метр, воздух довольно свежий. Пол гранитный. Стол и стул привинчены к полу, туалет в углу у двери. Дверь деревянная, внизу на ней новые панели — в них во время бомбежки стучали ногами заключенные. Одно из стекол в окне разбито шрапнелью, на стенах выбоины от шрапнели... Возле туалета в стене маленький умывальник с краном, вода совсем чистая. Наверху две скобы... В углу у двери дубовая полка, наполовину разломанная заключенными, чтобы бить в дверь. Один деревянный крючок.

Узников поднимали в семь утра и кормили завтраком: миска водянистой похлебки и буханка черствого хлеба. В

полдевятого их вели на задний двор на получасовую зарядку. Остаток дня они проводили в камере, только в одиннадцать был обед ("овощная похлебка"), а в пять ужин ("овощная похлебка, но чуть погуще"). Для Вудхауза плен — это одновременно неуверенность в завтрашнем дне и тупое однообразие быта. Из канализации шла жуткая вонь — как везде во Франции, говорили немцы. Со свойственным ему оптимизмом и оглядкой на школьные годы в Далвиче, Вудхауз записывал: "В тюрьме все проявляют себя с наилучшей стороны". Три дня спустя интернированные подали прошение коменданту; узнав, как французские тюремщики обращаются с английскими узниками, он устроил разнос и значительно смягчил режим: даже разрешил заключенным свободно передвигаться по тюрьме.

Вскоре, 27 июля, интернированных из Ле-Туке перевезли поездом в бывшие бельгийские казармы в Льеже. Хотя Вудхауза и записали "Видхорзом", но в последний день в этой тюрьме к нему подошел немецкий солдат, пожал руку и сказал: "Спасибо вам за Дживса!" Вспоминая первую неделю в плену, Вудхауз вновь обретает свой привычный тон:

> Если подытожить мой тюремный опыт, то я бы сказал так: тюрьма еще ничего, если заглянуть туда на денек, но поселиться там надолго — увольте! Я не проливал горючих слез у решетки, когда покидал Лоос. Я был рад уехать. Последнее, что я увидел в старушке альма-матер, был охранник, который захлопнул дверь фургона и, сделав шаг назад, крикнул по-французски: "Трогай!" Мне он сказал "До свидания" — по-моему, несколько бестактно с его стороны.

На вокзале Лилля немцы затолкали восемьсот с лишним интернированных англичан в глухие телячьи вагоны вместимостью Quarante Hommes, Huit Chevaux[1]; есть и пить не давали, вся надежда была на купленное в городе. После обычного простоя их отправили в Льеж, за сто семьдесят километров; прибыли туда в полпервого дня, потратив на все одни "довольно-таки ужасные" сутки. Описывая прибытие, Вудхауз не изменяет своему всегдашнему оптимизму:

> Я сошел с поезда первым. Обходительный старый немецкий генерал спросил, сколько мне лет, приподнял мой чемодан, заявил, что он слишком тяжелый, и подозвал грузовик, а потом спросил, успел ли я поесть. Очень трогательно и предупредительно. Мы

1. Сорок человек, восемь лошадей (*франц.*).

прошли через Льеж, насвистывая "Типперэри" и "Бочку"[1], а потом поднялись на высокий крутой холм — кое-кому из наших пришлось весьма тяжело. Затем смотр. Затем горячий суп. Был солнечный денек, поэтому прибытие прошло бодро.

Впоследствии Вудхауз описывал казармы, куда его поместили, гораздо менее радужно. "В Льеже мы провели неделю, — писал он. — Вспоминая тюрьму, я едва верю, что нас там продержали всего семь дней. Возможно, оттого что делать там было практически нечего, кроме как стоять навытяжку [на смотре]". Смотры с перекличкой придавали повседневной жизни пленников оттенок фарса, отчего яснее становилась ненормальность их положения: гражданские заключенные на положении военнопленных. Вудхауз добавлял, что эти отвратительные казармы, заляпанные кровью и грязью, походили на настоящий лагерь для пленных не больше, чем первоначальный набросок — на готовый роман. Условия были примитивные, и далеко не гигиеничные. Настоящих мисок для супа не было, и Вудхаузу пришлось соорудить миску из брошенной кем-то канистры из-под машинного масла; он шутил, что от этого неизменная похлебка приобрела толику пикантности. И добавлял: вот будет хорошо, если он на своем веку больше никогда не увидит ничего бельгийского.

Тем временем внешний мир почти не подозревал об участи Вудхауза — возможно, из-за того что Этель не могла связаться с дочерью. Леонора даже писала Уатту, что "последние новости таковы: он все еще в своем доме в Ле-Туке, условия сносные". На самом деле, на следующий день после этого письма, 3 августа, Вудхауза и остальных льежских интернированных снова перевели в новую тюрьму — "Цитадель" в Юи[2], сонном торговом городке в двадцати пяти километрах от Льежа, в излучине Мааса.

Позже Вудхауз писал шутливо: "'Цитадель' — это одно из тех исторических строений, где в мирное время берут за вход по два франка с человека....Словом, цитадель, раз туда попал, то уж попал. Толщина ее стен — четырнадцать футов. Коридоры освещаются узкими бойницами в нишах"[3]. В "Цитадель" вела изнурительно длинная и крутая каменная лестница, а внутри имелся дворик, куда заключенных выводили на прогулку; Вуд-

1. "Долгий путь до Типперэри" (1912) — популярная со времен Первой мировой песня-марш английского композитора и певца Джека Джаджа. "Выкатывай бочку" (1927; оригинальное название — "Напрасная любовь") — песня чешского композитора Ярослава Вейводы в ритме польки. Получила широкую известность в 1939 г.; как и многие другие шлягеры 30-х, песню пели по обе стороны фронта, на разных языках и на разные темы.
2. У Вудхауза — И.
3. Перевод И. Бернштейн.

хауз назвал его "довольно вместительной плевательницей". Комнаты были голые, по ним гуляли сквозняки; заключенным приходилось сгребать грязную солому и спать на полу. Несмотря на средневековый вид, мрачная крепость-тюрьма была построена в эпоху наполеоновских войн, чтобы защищать стратегически важную точку на Маасе. До сих пор она мрачно нависает над городком Юи, хотя в мирное время там устроили музей. Гражданским, оказавшимся в нацистском плену, не забыть проведенное там время, а некоторые так и не восстановят здоровье. В "Цирковой блохе", многогранном "автопортрете в письмах", Вудхауз решил описать не Лоос или Льеж, а пять недель в Юи — пять недель невиданных лишений и тягот, которые оставили глубокий, неизгладимый отпечаток.

В Юи его, все еще одного из многих пленных, записали как "Уайтхауза"; когда это имя выкрикивали вечером, заключенные иногда путали его с приказом гасить свет, но Вудхауз не поправлял ошибку. Он считал, что быть заносчивым плохо, и не поддавался соблазну воспользоваться своей известностью. Однако 21 августа он выдал себя, написав от имени всех 700 интернированных прошение в штаб Красного Креста в Брюссель, чтобы им разрешили "связаться с семьями", но командовавший Цитаделью офицер гестапо разорвал письмо, глядя в глаза Вудхаузу. В остальном, помимо этого единственного проявления лидерства, Вудхауз старался оставаться обычным заключенным. Тем не менее для остальных узников, по преимуществу англичан, подлинная личность "Уайтхауза" явно не была тайной. В типично английском духе они не хотели донимать вопросами знаменитого товарища по несчастью и хвастаться знанием его книг. В конце августа какой-то "оборванный и потрепанный" заключенный тихонько подошел к нему в одном из едва освещенных мрачных коридоров Цитадели, спросил: "Как бы Акриджу понравилась такая жизнь?" — и поведал, что он тоже выпускник частного колледжа — школы Гильдии портных[1]. "Еще один оборванный заключенный, — записал Вудхауз, — окончил Винчестер-колледж, а потом Оксфорд".

То, что его характер сложился в Далвиче, помогло Вудхаузу стоически сохранять душевное равновесие в эти тяжкие недели. 13 августа он записал, что "уже десять ночей проспал без одеяла, а прошлой ночью стоял невыносимый холод", и с благодарностью отметил, что его друг Элджи где-то раздобыл термос.

1. Основанная в 1327 г. Гильдия портных уже с XVII века не функционирует как гильдия, а занимается в первую очередь благотворительностью. Лондонская школа, которую содержит Гильдия портных, — одна из самых престижных в стране.

"Отолью немного кофе с вечера и выпью ранним утром", — доверился Вудхауз своей записной книжке. Если не говорить о холоде, то, несмотря на внезапную потерю собственной частной жизни в плену Вудхауз справлялся с бытом без труда, и свою "ежедневную дюжину упражнений" делал, не стесняясь. Когда он стал выполнять упражнения в первый раз, то, по его словам, "собралось множество зевак. У нас все обросли бородой, носят шапки и протертые до блеска пальто и брюки — очень похоже на футбольных болельщиков с севера".

Колледж научил его ценить редкие мгновения нежданной радости. Четырнадцатого августа, читаем мы в его записках, был

> ...чудесный день! ...Внезапно, ни с того ни с сего, я ощутил какую-то приподнятость — беспримесную радость, как если бы из-за туч вышло солнце... Ко мне пришел один человек и вернул пять франков, которые он занял несколько дней назад, потому что у него не было бельгийских денег. Это очень тронуло меня... и я почувствовал, какие все на самом деле хорошие.

В подлинно товарищеском духе он сам вызывался трудиться на уборке, чистить картошку и носить суп из кухни. Случались и другие события, живо напоминавшие ему школу. "Удивительно, — писал он, — как человек может быть всей душой одержим мыслью о пище... Сегодня Шеррер сходил в город (в столовую) и принес мне полкило конфет. Восторг!"

Пайки в Юи были скудными, и все ходили голодные. Провиант поступал с перебоями: ожидалось, что в Юи будет не настоящий лагерь для интернированных, а только перевалочный пункт. Когда невеликие запасы хлеба заканчивались — что случалось нередко, — заключенным давали галеты, размером с собачьи, комочек масла, с виду похожий на "что-то вроде бледной колесной мази", и, если повезет — варенье и крошечные кусочки сыра. В некоторых общих камерах заключенные смешивали свой рацион: хлеб, варенье, молоко и сахар, и получался какой-то полусъедобный пирог. Каждый день ели картошку, и никогда не заканчивалась водянистая капустная похлебка. Когда не осталось табака, стали курить чайные листья и лежалую солому. Как и в интернате, люди учились извлекать максимум выгоды из недостатков системы. Те, кого отпускали в город к зубному или глазному врачу, пользовались возможностью и проносили в тюрьму предметы роскоши. Один заключенный вернулся, "приторочив к груди торт с вареньем", а изобретательный Элджи "возвращался, спотыкаясь под грузом еды".

Это были светлые мгновения. Наедине с собой, в записках, Вудхауз обнаруживает тревогу. В дневнике он пишет об "ужасе... притаившемся за углом", о постоянном "тревожном ожидании"

и об "огромном страхе" того, что заключенные, обозленные голодом, поднимут бунт и всех расстреляют из пулеметов. У одного пленного развилась тяжелая кожная болезнь, и к нему тут же приклеилось прозвище Лишай. "На краю сознания, — писал Вудхауз, — все время вертится мысль: а вдруг начнется эпидемия?" Его чувства, обычно надежно скрываемые, не всегда можно было утаить в тюрьме. Он непрестанно беспокоился о "своей милой Киске" и, по крайней мере пока до него не стали доходить письма, писал, что у него в сердце "острый нож", поскольку он не знает, в безопасности ли она. С тяжелыми мыслями ему помогала справиться детская привычка: "Нужно приучить себя тут же переключать внимание на другое". Кроме того, победить страх помогал поиск литературных аналогий. Один из самых младших пленников, юноша-бельгиец, сбежал, протиснувшись в узкую бойницу, и немцы на некоторе время ужесточили режим. "Ощущение, как в Дотбойс-холле[1], после того как сбежал Смайк", — спокойно замечал Вудхауз.

Тяжелее всего для пленников Цитадели была соблазнительная близость обычной жизни. Город под холмом был отчетливо виден из тюрьмы. К подножию ее массивных каменных стен приходили безутешные жены заключенных и кричали что-то своим мужьям. В воспоминаниях Вудхауз смеялся над этим ("Видеть же друг друга они не могут. Получается нечто вроде мизансцены из оперы 'Трубадур'"[2]), но на самом деле сцены эти были ужасны. Впервые за много лет Вудхаузу пришлось столкнуться с выплеском болезненных эмоций. Однажды он сидел в тюремной столовой, и тут вбежали двое. "Их жены стоят внизу, — писал Вудхауз, — в нескольких десятках метров отсюда. Мужчины лежат на широком подоконнике, смотрят вниз и кричат, а снизу долетают женские голоса". И дальше: "Наконец мы втягиваем их внутрь, боясь, что они потеряют голову и спрыгнут, и Элджи удивительно заботливо усаживает их на скамью... Они сидят, склонив головы, и плачут, а Элджи успокаивает их, как мать, и говорит: теперь-то они знают, что у жен все хорошо, а скоро нас всех выпустят и так далее". Это краткое "и так далее" продиктовано глубокими невысказанными эмоциями и красноречиво говорит о боли, на которую он едва решается посмотреть открыто.

То и дело возникали слухи, будто война вот-вот кончится и всех освободят, но вообще-то поводов для оптимизма было мало, и, когда наконец настали перемены, они были внезапные, драматичные и обескураживающие. 8 сентября Вудхауза

1. Имеется в виду школа в романе Диккенса "Николас Никльби".
2. Перевод И. Бернштейн.

и всех остальных (700 человек) отправили поездом в бывший приют для душевнобольных в Тосте — городке в Верхней Силезии, на сельскохозяйственном юго-востоке Великой Германии. "Subita Germanorum sunt concilia"[1], — заметил знаток античности Вудхауз. Он как раз постирал одежду, и для нового неожиданного переезда пришлось упаковать ее еще мокрой. "Пир судьбы" продолжался.

"В *лагере было чертовски весело*" (1940—1941)

> Тост ничем не примечателен. Он лежит в сердце свекольного края... Здешний ландшафт столь однообразно-гладок, что многие гости задаются вопросом: "Если это Верхняя Силезия, то какова же Нижняя?
>
> П. Г. Вудхауз *Цирковая блоха*

Трехдневный путь до Internierungslager[2] (сокращенно "И-лаг") в Тосте, через самый центр оккупированной нацистами Европы, Вудхауз проделал в переполненном купе пассажирского поезда. В день полагались лишь миска супа, буханка хлеба и полсосиски; в пути его одновременно мучили голод, нехватка сна и неизвестность, так что по приезде он "походил на ветошку, принесенную вороной с помойки"[3]. Хотя он редко называл творившееся в нацистской Германии своим именем, в дневнике он все же написал: "Самое страшное в таких переездах — что ты не представляешь себе, сколько еще осталось ехать". Как правило, он ретушировал свои воспоминания, чтобы предстать добродушным стоиком, который переносит мучения иронически-отстраненно. Но другие не скрывали своего ужаса. Боб Уитби, которого перевозили вместе с Вудхаузом, вспоминает, что на каждой станции поезд окружали охранники, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками. "Иногда кто похрабрее [спрашивал] немецких солдат: 'Куда вы нас везете?' Ответ был всегда один: 'Соляные шахты. На соляные шахты'. Я смертельно боялся [попасть] на соляные шахты". И все же, хотя других терзали муки неизвестности, Вудхауз нашел время записать услышанную в тюрьме шутку: "На поверке какой-то шут-

1. "Решения германцев бывают внезапны" (*лат.*).
2. Лагерь для интернированных гражданских лиц (*нем.*).
3. Перевод И. Бернштейн.

ник сказал: 'Когда война кончится, куплю себе немца, если у меня будут деньги, поставлю в саду и буду ему устраивать поверки!'". Бесконечный путь в Тост начался 8 сентября. За день до того по всей Британии зазвенели церковные колокола: это ополченцы готовились отражать "предстоящее нашествие" (как потом выяснилось, тревога была ложной).

В те десять месяцев, что Вудхаузу оставалось провести в плену, с сентября 1940-го по июнь 1941 года, война достигла кульминации. За бомбардировками Англии осенью 1940-го последовала Битва за Атлантику, длившаяся с марта по июль 1941-го. Все это вместе: воздушные налеты, потери на море и целый ряд неудач на средиземноморском фронте — заставили Британию перейти к оборонительной войне. Америка же в войну еще не вступила. В кризисных условиях, оказавшись в осаде, британцы испытали прилив патриотических чувств и с презрением оглядывались на постыдные годы выжидательной тактики. Вудхауз, запертый в Тосте, об этом и не подозревал.

Его приемная дочь Леонора Казалет, жившая в Кенте, видела своими глазами Битву за Британию. "Над нами весь день — воздушные бои", — писала она Рейнолдсу: от имени Вудхауза ей приходилось отвечать на деловые вопросы. Она также сообщила Рейнолдсу, что Этель нашлась в доме мадам Бернар, в рыбохозяйстве в департаменте Па-де-Кале. И просила перевести матери тысячу долларов в Париж, в американское посольство. "Новостей о Пламми нет, — продолжала Леонора, — кроме того, что их разлучили, и мы пытаемся разузнать, где он". Рейнолдс в Нью-Йорке также предпринимал все возможное, чтобы помочь своему клиенту. В сентябре, зная только, что Вудхауза интернировали, он попросил вмешаться Красный Крест, но его не стали и слушать. К середине сентября он узнал, что Вудхауза "предположительно поместили в концентрационный лагерь и связаться с ним невозможно". 10 октября он выяснил у американского консула в Париже, что "мистер Вудхауз, как утверждают, содержится в крепости города Юи в Бельгии, недалеко от Льежа". Эти сведения, как позже понял Рейнолдс, устарели на месяц: в конце октября он получил почтовую открытку из тонкого картона от "Gefangennummer 796"[1], написанную простым карандашом и печатными буквами. Вудхауз прервал свое пугающее молчание:

Одному богу известно, когда вы получите это письмо. Будьте любезны, вышлите посылку весом до пяти фунтов: один фунт табака "Принц Альберт", остальное — шоколад с орехами. Отправляйте

1. "Заключенный номер 796" (*нем.*).

такие посылки каждый месяц. У меня тут все отлично, есть идея нового романа. Надеюсь, смогу его написать. Когда меня интернировали, заканчивал роман про Дживса — оставалось четыре главы, и еще два рассказа.

"У меня тут все отлично, есть идея нового романа"; в этом — весь Вудхауз и весь смысл его жизни. Легко упустить из виду, что, хотя Вудхауз писал популярную юмористическую литературу, в нем была та редкая бескомпромиссность, которая отличает подлинного художника, и проявлял он ее без аффектации, очень по-английски. Его шутливый голос не затихал даже в трудную минуту. "Деньги в банке", конечно, не "Дон Кихот" и не "Путь паломника" (обе эти книги тоже были написаны в тюрьме), но это безусловно часть вудхаузовского мира. Как рассказывал Вудхауз Тауненду, роман писался "в помещении, где пятьдесят человек в это время играли в дартс и пинг-понг", а немцы-охранники заглядывали писавшему через плечо. Однако роман — важное свидетельство того, как держался Вудхауз в военные годы. Хотя книга сочинена в наихудших мыслимых обстоятельствах, в ней очень мало упоминаний о тяготах, которые пришлось пережить ее автору, — как будто война просто прошла мимо. Более осязаемым для него был мир его воображения.

Действие "Денег в банке" происходит отчасти в вудхаузовском Лондоне, отчасти в той английской Аркадии, где принято переодеваться к ужину, а слуги отделены от хозяев дверью, обитой зеленым сукном. <...> Роман описывает ту Англию, которая к 1941 году уже исчезла, однако, как и в остальных книгах Вудхауза, опыт автора превращается в фарсовое подобие действительности. "Ферма здоровья" миссис Корк, посетители которой тоскуют по плотному обеду: стейку и пирогу с почками, — это образ лагеря в Тосте. Роману не вполне свойственна привычная вудхаузовская легкость. Возможно, нетипичные для Вудхауза выражения вроде "фига с два" или "осточертел" появились из-за докучной атмосферы лагеря, но во всем остальном этот роман — пусть и не лучшая его книга, но в ней, как ни странно, нет и следа военного времени; книга оглядывается на прошлое, а не заглядывает в будущее.

Вудхауз изобразил плен лишь косвенно — и это тем более удивительно, что для большинства интернированных пребывание в И-лаге VIII стало критическим испытанием. Во время трехдневного пути через Германию он жаловался на "чувство брошенности", напомнившее ему о детстве: сержант, возглавлявший конвой, казался "взволнованной матерью, или даже скорее тетушкой", но Вудхауз быстро к этому привык. Хотя новое пристанище — бывший приют для душевнобольных, входивший в це-

лую систему лагерей в Силезии — и выглядело официально, изнутри оно так напоминало пансион Далвича, что Вудхауз очень скоро притерпелся к мужскому обществу, столь мучительному для многих. "Меня особенно привлекало в Тосте то, что его явно содержали в порядке, — писал он позже. — Впервые мы оказались в настоящем, а не во временном лагере". Вудхауза зарегистрировали, обыскали, проверили на вшивость, сделали ему прививку и направили в камеру; тогда-то он обратил внимание на деталь, которую можно было с легкостью превратить в шутку: "Они [нацисты] ко мне присмотрелись и, кажется, всё поняли: по крайней мере, отправили нас в местный сумасшедший дом". А если без шуток — Силезия хранила самую страшную тайну Третьего рейха: менее чем в пятидесяти километрах от Тоста находился Освенцим, а до Бельзен-Биркенау ехать было меньше суток.

Бывшая психбольница в Тосте — мрачное здание из красного кирпича — больше походила на школу или тюрьму. Ее окружал небольшой парк, который с одной стороны ограждала высокая стена, а от соседних ферм отделяла колючая проволока. Сквозь зарешеченные окна была видна дорога, по которой туда-сюда сновали машины — шла обыденная жизнь. В трехстах метрах от главного здания, в парке, стояла вторая постройка, столовая, и третья, которую называли Белым домом; в ней устроили лазарет и помещения для отдыха; там Вудхаузу вместе с одним саксофонистом выделили рабочий кабинет — бывший изолятор с войлочными стенами. Интернированные спали в общих комнатах в главном здании, вмещавшем примерно тысячу триста человек. В одной комнате с Вудхаузом, 309-й, разместили шестьдесят четыре человека; он с гордостью отмечал: "Мы думаем, здесь собраны сливки нашего лагеря". Сценка из лагерной жизни, которую он набросал в записной книжке, больше всего напоминает пансион английской частной школы:

На крышах белый иней. Позавтракав, я лежу на кровати и с интересом гляжу, чем занимаются мои соседи. Артур [Грант] подметает под кроватью, Джордж Пиккард штопает носок, Шарни зашивает жилетку, Маккандлесс делает записи в дневнике, Рекс Рейнер бреет затылок Смиту, Том Сарджинсон сидит за столом и учит немецкий, Энке с Маккензи играют в шахматы, Бримбл чинит ботинки, в середине комнаты еще кто-то подметает. Со второго этажа спускается Том Макгроув, он принес сегодняшние слухи.

Дневная жизнь в лагере, вращавшаяся, по словам Вудхауза, вокруг "слухов и картошки", начиналась с побудки в 6 утра, затем с 7 до 8:30 продолжался завтрак, а после него устраивали поверку. Остаток утра, вплоть до обеда, который происходил

в три смены, начиная с 12:30, заключенные занимались повседневными делами. До того как в феврале 1940-го стали регулярно поступать продукты от Красного Креста, провизии не хватало и все ходили голодными. На обед давали "овощное месиво" из брюквы, репы и моркови или тушеную рыбу с вареной картошкой. В изобилии водился чай и эрзац-кофе. На присланные посылки с едой начальство смотрело с подозрением: немцы считали, что деликатесы из Британии — своего рода пропаганда, и неохотно их выдавали.

Жизнь в Тосте была серая, но лучше, чем в Юи и Льеже. Например, тем, кому было за 50, не приходилось "гнуть спину". Позже, в одной из своих радиопередач, Вудхауз заметил:

> В Льеже и в И возрастного ценза не существовало, там наваливались все разом, от почтенных старцев до беззаботных юнцов, одной рукой, так сказать, чистя сортиры, а другой — картофель. В Тосте же старичье вроде меня жило, не ведая забот. Для нас тяготы трудовой жизни сводились к застиланию своих кроватей, выметанию сора из-под них и вокруг, а также к стирке собственного белья. А когда требовалась мужская работа, например, таскать уголь или разгребать снег, за дело бралось молодое поколение, а мы только поглядывали да обменивались воспоминаниями из Викторианской эры[1].

Его частные признания о жизни в лагере были не менее оптимистичны. "В лагере было чертовски весело, — говорил он Тауненду. — Я и правда считаю, что ничто на свете не сравнится с англичанином в теплой шапке и толстом шарфе. В Тосте у меня появились друзья самых разных жизненных призваний, начиная с портовых рабочих из Кале и далее, и всех до единого я полюбил". В дневнике он отмечал: "Без женщин... мы скатываемся в мальчишество: все эмоции у нас мальчишеские".

После обеда снова было свободное время. "Главное преимущество [Тоста] — арестант предоставлен самому себе", — отмечал Вудхауз с одобрением. Ужин в три смены начинался в половине пятого. Затем — снова свободное время до 8 вечера, когда проводилась поверка на улице. Свет гасили в 9:15 вечера. Описывая быт в лагере, Вудхауз естественным образом находил параллели с Далвичем. Комендант, капитаны и обер-лейтенанты не вмешивались в повседневную жизнь заключенных, как и директор и преподаватели в колледже, и Вудхауз видел коменданта всего один раз. "Для нас было важно внутреннее устройство лагеря"[2], — объяснял он позже, повторяя описание школьного

1. Перевод И. Бернштейн.
2. Перевод И. Бернштейн.

пансиона в одном из своих ранних произведений. Когда там находился Вудхауз, И-лагом в Тосте "заведовали лагерфюрер и четыре капрала", очень похожие на заведующего пансиона и префектов. Лагерфюрера, которого Вудхауз аттестовал как "хорошего парня", звали Бюхельт, и в Первую мировую он был интернирован в Англии. Прямо как в школе, капралы получили прозвища: "Плуто", "Микки-Маус", "Гуфи" и "Дональд Дак"[1].

Лагерфюрер Бюхельт, которому вскоре предстояло сыграть решающую роль в падении Вудхауза, ставшую темой для бесконечных дискуссий, был "подарком небес для заключенных", управлял лагерем либерально и "все время трудился нам во благо". Вудхаузу Бюхельт понравился тем, что организовал в лагере библиотеку и выпуск газеты, а также предоставил самому Вудхаузу пишущую машинку и место для работы над новым романом — бывший изолятор в Белом доме. С высоты нынешнего дня понятно, что сближаться с лагерфюрером было смертельно опасно, однако таков был характер Вудхауза. Он еще в Голливуде сдружился со многими немцами, и война ничего не изменила. В Тосте он также привязался к двум немцам-переводчикам, один раньше работал в Америке и щеголял словечками вроде "Смекаете, пацаны?" В лагерном дневнике Вудхауз признавался: его взаимоотношения с этими переводчиками, чьи имена нам не известны, "подтверждают то, что я всегда говорил: немцы — превосходные ребята, и единственная преграда между нами — языковой барьер. Все англоговорящие немцы, которых я встречал, нравились мне с первой минуты". Помимо этого безапелляционного заявления, в дневнике нет ни похвалы, ни осуждения нацистских властей Верхней Силезии.

В И-лаге VIII сидели англичане и голландцы, чей патриотический дух был очень высок. Интернированные обязаны были отдавать честь немецким офицерам, но, если не считать этой псевдовоенной формальности, большинство проявляло дерзость, граничившую с неподчинением. Хотя литературная слава выделяла Вудхауза из окружения, — а это были в основном моряки торговых судов или работники военных кладбищ, вроде его друга Берта Хаскинса, — Плам был всей душой, неколебимо предан товарищам. "Ребята из Тоста были бодры духом, — говорил он позже. — Никогда не встречал более веселых людей. Я полюбил их как братьев". А они уважали его и подходили посмотреть, когда он работает за пишущей машинкой на улице, но старались не мешать. Его роль в Тосте — всеобщий любимец, старший в классе: он ведет переговоры с начальством, разреша-

1. Имена героев диснеевских мультфильмов.

ет мелкие споры, остужает пыл ссорящихся — за что все пленные уважают его. Когда Вудхауз неожиданно их покинул, они почувствовали себя обманутыми и, по рассказам, протестовали. Для некоторых юных узников он исполнял роль отца. Боб Уитби, тогда выглядевший младше своих восемнадцати, а ныне престарелый джентльмен восьмидесяти с лишним лет, вспоминает, что Вудхауз, которого он немного знал, всегда заботливо спрашивал, как у него идут дела, и, чтобы подбодрить мальчика, повторял заклинание всех пленных: "К Рождеству будем дома".

Конечно, домой к Рождеству они не попали, и, когда в октябре пошел первый снег, силезская погода превратилась из едва терпимой в невыносимую. Восточный ветер пронизывал до костей, еды не хватало, а лагерный быт стал беспощаден к людям. Несколько человек умерли, еще у нескольких случился нервный срыв, иные покончили с собой. Уитби вспоминает, как заключенные, словно одержимые, подолгу говорили о еде и сексе, обычно не стесняясь в выражениях. Затем, когда приблизилось второе Рождество военных лет, внешний мир стал вторгаться в вынужденное, хотя и безропотное, одиночество Вудхауза.

Леонора и Рейнолдс всю осень добивались в Британии и Америке освобождения Вудхауза, но его злоключения мало интересовали прессу — в первую очередь потому, что репортеров к нему отправить было нельзя. Однако Америка пока не вступила в войну с Германией, и в Берлине еще находилось несколько американских журналистов, в том числе корреспондент "Ассошиэйтед Пресс" Энгус Термер. Работая над специальным репортажем о лагерях для военнопленных и интернированных, Термер наткнулся на сообщение о том, что романист П. Г. Вудхауз, он же официально "интернированный гражданский британский подданный № 796", содержится в И-лаге VIII возле Глейвица. Заинтересовавшись, Термер запросил разрешения на интервью и получил возможность поговорить с Вудхаузом под наблюдением охраны.

В присутствии лагерфюрера и гестаповского надзирателя Вудхауз беседовал с Термером так же, как всегда разговаривал с прессой: вежливо, открыто и не задумываясь о последствиях; он воображал, будто любое публичное заявление просто заверит его многочисленных читателей в том, что он жив, здоров и в хорошем настроении, невзирая на войну. Заодно он воспользовался случаем привести в порядок литературные дела и назначил Термера посредником в переговорах с "Сатердей ивнинг пост", которая хотела заказать ему оптимистичную статью о его похождениях под рабочим названием "Чего ждать от Вудхауза?" Эта статья, опубликованная под заглавием "Моя война с Германией", впоследствии принесет Вудхаузу одни огорчения. Верный

себе, он еще и завел с Термером разговор о том, как назвать новый роман. Термер предположил, что американские читатели на Среднем Западе не поймут названия "Деньги с неба".

Термер телеграфировал свой репортаж в "Ассошиэйтед Пресс", и он вышел в "Нью-Йорк таймс" 27 декабря 1940 года. Последствия его были ужасны и быстро переросли в кризис, ставший поворотной точкой в жизни Вудхауза. Непосредственных последствий приезда Термера было три. Во-первых, статья Термера нечаянно создала, так сказать, "миф" о Вудхаузе и войне. Хотя статья была целиком основана на фактах и вышла без каких-либо редакционных комментариев, ее основной темой был удивительный, по мнению Термера, факт: Вудхауз явно не пользовался особыми привилегиями и даже отказался от отдельной комнаты, которую начальство предложило ему из уважения к его возрасту и репутации. Однако заголовки к статье были подобраны так, что у читателей непременно должны были появиться вопросы касательно поведения Вудхауза: один из подзаголовков, например, гласил "Он [Вудхауз] отвергает привилегии". Парадоксальным образом, именно то, что Вудхауз отказывался от привилегий и не раздумывая преуменьшал тяготы плена, заставило читателей обвинить его в легкомысленном отношении к войне.

Во-вторых, статью Термера иллюстрировала фотография Вудхауза в шарфе и халате, на которой он выглядел таким старым, грустным и исхудавшим, что его американские друзья, особенно Гай и Вирджиния Болтон, чрезвычайно встревожились. После выхода статьи в "Нью-Йорк таймс" Болтоны стали готовить прошение об освобождении Вудхауза, заручившись поддержкой Уоррена Барбура, сенатора-республиканца от Нью-Джерси. На сообщения прессы об этом прошении, в свою очередь, откликнулись письмами протеста многие влиятельные американцы, например, Дороти Бесс — жена Демари Бесса, европейского корреспондента "Сатердей ивнинг пост" и друга Этель, который сам ратовал за освобождение Вудхауза, начиная с июня 1940 года. Однако прошения — это одно, а газетные репортажи — другое. Как только о "похождениях" Вудхауза написали в "Нью-Йорк таймс", немецкие власти впервые задумались о том, что может значить заключенный номер 796 для международной пропаганды. А в третьих, дело было еще и в статье "Чего ждать от Вудхауза?", которую он тогда писал. В ней было немало добродушных шуток о бородатости пленных и правилах этикета при поедании картошки, и, без сомнения, эта статья сформировала у Вудхауза привычку писать с юмором о том, над чем смеяться не следовало — о лагерном быте и вообще о его пребывании в нацистском рейхе.

В те дни, однако, освобождение Вудхауза едва ли казалось возможным, и его семье приходилось с этим мириться. Вскоре после публикации в "Нью-Йорк таймс" Леонора писала Рейнолдсу: "Плам в Германии, в лагере для интернированных... Там с ним побеседовал журналист, а еще я видела репортаж об условиях в лагере — в общем, неплохие. Тепло. Одежды хватает. Кормят пристойно и т. п." Леонора узнала об этом от британских властей, которые стали следить за происходящим задолго до освобождения Вудхауза в июне 1941-го. Такой надзор не был привилегией, а входил в план международной операции, которой из Лондона руководило Министерство иностранных дел. Всю войну И-лаги, Оф-лаги и Шта-лаги[1] находились под наблюдением представителей швейцарского посольства и Красного Креста, которые передавали сведения в Лондон.

Кроме того, интернированные постоянно получали известия извне и, как и положено патриотам, с живым интересом следили за ходом войны и увлеченно занимались самообразованием. Несколько молодых пленных успешно сдали заочно экзамены в университет, кое-кто даже в Кембридж и Оксфорд. У пленных была своя газета, "Тост таймс", для которой Вудхауз написал сокращенную версию рассказа "У Бинго все в порядке", а немецкие власти издавали свою — "Лагерь", с которой Вудхауз связан не был, и тем не менее в ней вышла пародия на Дживса и Вустера — в которой Берти пошел в солдаты, — подписанная "П. Г. Родхауз". Среди интернированных были и голландские университетские профессора, и элегантные молодые преподаватели, профессиональные музыканты и владельцы языковых школ; они также устраивали разнообразные лекции и концерты, а из книг, присланных доброжелателями из Америки, собрали отличную библиотеку. Конечно, И-лаг VIII был суровым испытанием на твердость характера, но некоторые из пленников, не отличавшиеся серьезностью, несмотря ни на что, ставили пьесы, играли музыку, а на Рождество 1940-го устроили в Белом доме пантомиму, которую контролировал переводчик: чтобы не проскочила какая-нибудь антигитлеровская шутка.

До интервью Термера Вудхауз в какой-то степени сохранял свою анонимность и не привлекал внимания, затерявшись в хаосе охваченной войной Европы. Однако после шумихи, поднятой в прессе в декабре 1940-го и январе 1941-го, все переменилось, и начались настоящие неприятности. В наступившем

1. Оф-лаг (Offizierslager) — лагерь для военнопленных-офицеров; Шта-лаг (Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager) — лагерь для военнопленных рядового состава.

1941 году, вследствие интереса заграницы к положению Вудхауза, немцы стали осознавать важность "Gefangennummer 796", и эти два обстоятельства породили гремучую смесь: Вудхауз стал предметом повышенного внимания и общественности, и нацистской пропаганды, и патриотического возмущения. Многие поклонники, особенно американские, высказывались в поддержку Вудхауза, упирая на его необычное положение как квази-американца. Рейнолдс неосознанно помог раздуть бум, разрешив печатать открытки с лагерным фото Вудхауза и попросив "Тайм" напоминать читателям о страданиях писателя. Теперь Рейнолдс регулярно связывался со своим клиентом и отправлял ему, как тот просил, банки с табаком "Принц Альберт". Кроме того, он стал пересылать Вудхаузу деньги, которые тот часто раздавал товарищам по плену.

Тем временем Вудхауз, не оставлявший работу и в лагере, заканчивал "Деньги в банке" и начал делать наброски к юмористическому рассказу о лагерной жизни, которые весной 1941 года прочитал своим товарищам на одном из ставших регулярными развлекательных вечеров. По его воспоминаниям, они "не только смеялись, но хлопали и раз за разом кричали 'ура'". Как и раньше, когда он пытался справиться с работой в банке, Вудхауз употреблял свою немалую силу воли на то, чтобы преодолеть возникающие препятствия. Увиденное, как всегда, само собой превращалось в пародийную копию реальности. Он не задумывался о последствиях того, что делал, и, похоже, никто в Тосте не подвергал сомнению его мотивы. Вудхауз не скрывал, что пишет статью в журнал. В лагере, где все всех знали, многим было интересно, что может сказать о плене всемирно известный писатель.

Теперь, когда его местонахождение стало известно, о Вудхаузе по всей Европе стали распространяться неправдоподобные слухи: и в англоязычной, и в зарубежной печати следили за его судьбой намного пристальнее, чем прежде. В начале марта будапештский корреспондент "Сатердей ивнинг пост" наткнулся на сообщение о том, что Вудхауз переправил свой новый роман из Германии за границу, а живший в Женеве репортер "Дейли экспресс" стал отправлять писателю посылки с едой, надеясь на вознаграждение в виде интервью не хуже термеровского. Многие рассказы о похождениях Вудхауза были абсолютно ложными. Например, даже обычно надежный Рейнолдс говорил Леоноре, будто "есть вероятность, что [Этель] тоже интернировали".

На самом деле Этель с попугаем уехала из рыбохозяйства и получила разрешение переселиться в Лилль, но какое-то время у нее совсем не было денег, и зиму она провела в съем-

ной государственной квартире. Поначалу о том, где она находится, не знало даже британское посольство, но затем Леонора — как ни невероятно, с помощью китайских дипломатов — выяснила, что Этель жива, здорова и живет в Лилле по адресу рю Насьональ, 241. Затем ее переселили в "чудесный дом с огромным парком" в Эдене, о чем 14 мая британское посольство сообщило Рейнолдсу: миссис Вудхауз в настоящее время проживает у некоей мадам де Рокиньи, в департаменте Па-де-Кале. Там она останется до воссоединения с мужем в июле. В эти месяцы попугай Коко выучился петь "Боже, храни короля" и позже стал любимцем немецких солдат, расквартированных в поместье. Леонора порой знала не больше других о том, где сейчас находятся родители, но не волновалась сверх меры. Она говорила Рейнолдсу: "Матушка и Плам явно получают друг от друга весточки. Поэтому он не спрашивает о ней, когда пишет Вам".

Тем временем, в И-лаге VIII лагерфюрер Бюхельт вследствие появившегося в "Нью-Йорк таймс" интервью, неожиданно предпринял атаку на знаменитого заключенного, вооружившись немецкой обходительностью. Бюхельт уже взял для него напрокат пишущую машинку, а теперь стал проявлять живой интерес к тому, как продвигается работа. Вудхауз, всегда любивший делать людям приятное, в ответ показал ему черновик журнальной статьи. Когда же Бюхельт обнаружил, что помимо статьи Вудхауз на самом деле завершил и новый роман ("Деньги в банке"), он — или его начальство — предложил вывезти рукопись в Америку, и Вудхауз с благодарностью принял предложение. Рукопись переправили по нужным каналам, в лучшем немецком стиле. Окруженный таким вниманием, Вудхауз, само собой разумеется, воспрял духом. Леонора говорила Рейнолдсу, что ее приемный отец, "кажется, прямо разрывается от любви к окружающим [и] говорит, что только что закончил лучший роман своей жизни!!"

Однако, как Вудхауз иногда замечал в книгах о Берти Вустере, Судьба все время прячется за углом. Еще в 1917 году он писал в рассказе "Дживс и незваный гость":

> Я не совсем уверен, но, по-моему, это Шекспир — или, по крайней мере, не менее толковый парень — сказал, что именно в тот момент, когда ты начинаешь чувствовать все прелести жизни, Судьба подкрадывается к тебе сзади с куском свинцовой трубы. Вы поняли, куда я клоню? Кто бы это ни сказал, он был абсолютно прав[1].

1. Перевод М. И. Гилинского.

В мае 1941-го этим куском трубы стала беседа Вудхауза с лагерфюрером Бюхельтом. Именно эта беседа приведет его в конце концов к позору.

Как Вудхауз позже сообщил британским властям, эта беседа с Бюхельтом была совершенно непринужденной, однако немец явно рассчитал все заранее и действовал по указке сверху. Он вызвал Вудхауза к себе в кабинет якобы для того, чтобы поговорить о лагерной пишущей машинке. Бюхельт признался, что его собираются перевести на другую должность, и намекнул, что пора бы вернуть машинку. На столе лежал номер "Сатердей ивнинг пост", в котором по главам печатался последний роман Вудхауза "Раз — и готово!" Бюхельт начал издалека — сказал, что ему очень понравилась статья "Куда же подевался Вудхауз?", и продолжил: "Почему бы вам не выступить пару раз в таком же духе на радио, для ваших американских читателей?"

Ответ Вудхауза на этот вопрос был чистосердечным, но непозволительно опрометчивым: "Я ответил 'С удовольствием', или 'Нет ничего лучше', или еще что-то подобное. Сказал что-то подходящее к случаю и совсем не придал этому значения", — рассказывал он позже. Оглядываясь назад, Вудхауз утверждал: "Вывод, который я делаю из этого эпизода — что он либо а) получил инструкцию установить, согласен ли я выступить, либо б) надеялся услышать, что я хотел бы выступить, а потом доложить в Берлин".

Вудхауз не мог и вообразить, в каком сложном положении окажется. На самом деле всю беседу спланировало немецкое Министерство иностранных дел, которое, узнав о том, как много Вудхауз значит для американцев, решило использовать его как часть большой пропагандистской кампании с целью убедить Соединенные Штаты не вступать в войну. В мае—июне 1941-го эта внешнеполитическая задача стала тем важнее, что Гитлер и его военачальники как раз завершали подготовку к операции "Барбаросса" — вторжению в Советский Союз. Если бы Вудхауз отдавал себе отчет в происходящем, он бы по некоторым признакам заметил, что в Польше уже несколько недель скапливаются огромные военные силы. Другие узники Тоста, например, рассказывали, что видели колонны германской бронетехники, ехавшие мимо лагеря в направлении границы.

Тем временем в Берлине Пауль Шмидт, профессиональный дипломат, глава администрации германского Министра иностранных дел Риббентропа, еще с мая 1940-го получавший многочисленные прошения по поводу Вудхауза, пришел к выводу, что освобождение гражданского интернированного лица номер 796 будет полезно по целому ряду причин. Главная из них:

американская общественность успокоится и увидит, что Германия серьезно относится к нейтралитету Америки. Это проявление гуманности, возможно, поможет их МИДу удержать Америку от вступления в войну до нападения на Советский Союз. "Освобождение Вудхауза, событие само по себе незначительное, — писал позднее в своем знаменитом эссе "В защиту Вудхауза" Джордж Оруэлл, — было неплохим способом задобрить американских изоляционистов". Более того, оно могло обернуться пропагандистским триумфом на внутреннем фронте, продемонстрировав превосходство Министерства иностранных дел над Министерством пропаганды по ту сторону Вильгельмштрассе. Риббентроп и Геббельс ненавидели друг друга, и их ведомства вели между собой жестокую борьбу. Дипломаты, как и везде, считали себя высшей кастой среди чиновников, образованными профессионалами, в то время как пропагандисты в их глазах были неотесанной фанатичной буржуазной мелюзгой. Падению Вудхауза, безусловно, поспособствовала эта яростная межведомственная вражда между скороспелыми министерствами нацистского режима и гордыми своей преемственностью министерствами прусской империи. Как писал в книге "Вудхауз и война" Иан Спраут, ценность Вудхауза для професиональных дипломатов "заключалась именно в том, что он *не* симпатизировал нацистам и *не* сотрудничал с ними... [для плана Министерства иностранных дел] было жизненно важно, чтобы Вудхауза освободили как бы под давлением Америки". Но тщательно продуманная комбинация встретила противодействие: освобождение Вудхауза не одобряло гестапо.

Тут сюжетная линия усложняется прямо-таки по-вудхаузовски. Руководителем отдела германского МИДа по связям с американской прессой был личный переводчик Гитлера, по странному совпадению тоже Пауль Шмидт — коренастый, краснощекий чиновник лет тридцати с небольшим. Так вышло, что Шмидт был поклонником Вудхауза, а в его отделе служил ответственный по связям с Министерством пропаганды, который не только разделял его любовь к писателю, но и "повращался" в кругу семьи Вудхаузов, когда те жили в Калифорнии. Человека этого звали Вернер Плак. Вудхаузы знали его как торговца вином и неудавшегося киноактера. Ломаный английский, мягкое обращение, коричневое пальто, длинные волосы и опухшее лицо боксера — Плак выглядел подозрительно, но таким и должен был быть подобный персонаж. Американские данные свидетельствуют о том, что уже в Калифорнии Плак был германским агентом и работал в консульстве Лос-Анджелеса; он покинул Соединенные Штаты именно из-за подозрения в шпионаже. Он умел приспособиться к обстоятельствам, лю-

бил роскошную жизнь и доступных женщин, а по возвращении в Германию создал себе все условия на Вильгельмштрассе, заявившись туда как своего рода посредник, владеющий английским, для контактов с иностранцами, которых нацисты хотели использовать в пропагандистских целях.

Плаку поручил дело Вудхауза переводчик и местный англофил Пауль Шмидт. Хотя Плак был темная личность, Вудхауза он любил и восхищался им, а позже утверждал, будто сделал все возможное, чтобы защитить того в беспощадном, пронизанном конкуренцией, мире немецкой пропаганды. Кроме того, в нем была рисковая, пижонская жилка, которая нравилась Этель Вудхауз, очень к нему привязавшейся, когда она наконец воссоединилась с мужем. Как сообщает Иан Спраут, Плак однажды прошелся с Вудхаузами по улицам Берлина, нарядившись в британскую военную форму — трофей из-под Тобрука — и британскую каску, на которой прежний владелец нацарапал "Гитлер капут". Его близость к Этель подчеркивает то обстоятельство, что она стала крестной матерью его сына в 1948-м. На одной из очень немногих фотографий этого периода жизни Вудхауза, Этель и Плак смеются какой-то шутке, сидя на террасе берлинского кафе, а Пелем наблюдает за ними со стороны. Неуловимое выражение стыда, отвращения и ненависти на лице Вудхауза говорит о многом.

В появлении Вудхауза на радиоволнах Плак сыграл важную, но не ясную до конца роль. Например, считалось, что Плак посещал Вудхауза в Тосте, чтобы обсудить последствия беседы того с лагерфюрером Бюхельтом и скрепить сделку. Где находился Вудхауз в мае—июне, неизвестно. Таинственность происходящего не рассеивает и строчка в дневнике Вудхауза, гласящая: "С 28 мая по 20 июня записей нет". Но все участники дела сходятся в одном: Плак в Тост не приезжал, хотя протелефонировать Бюхельту мог.

Если заговор и существовал, то Вудхауз о нем ничего не знал. В самой идее радиопередачи подводных камней не было — по крайней мере, они не просматривались. Что касалось самого Вудхауза, то о награде речь не шла; это он подчеркивал всякий раз, как описывал впоследствии свои злоключения. И тем не менее, хотя сам он об этом и не подозревал, Вудхауз очень кстати согласился поддержать идею лагерфюрера Бюхельта о передаче для Америки — по крайней мере, с точки зрения германского МИДа. Как только Бюхельт доложил, что Вудхауз готов сесть у микрофона, гестапо сняло запрет на его освобождение. Вудхауз-автор сюжетов мог гордиться сложностью своего положения; Вудхауз-невежда в политике уже сделал шаг на пути в бездну.

Сейчас трудно представить себе, какую важную роль играло в 1930–1940-е политическое радио. В 1933-м Геббельс, одним из первых оценивший его пропагандистский потенциал, передал управление германским радио своему вновь созданному Министерству народного просвещения и пропаганды — в быту его называли "Проми". Радио Великой Германии никогда не ограничивалось пределами рейха. Например, Лорд Хо-Хо был всего лишь самым известным из целой когорты нацистов на радио. В 1941 году Геббельс стал привлекать больше иностранных дикторов из числа коллаборационистов. Один из них, американец Фридрих-Вильгельм Кальтенбах, получил прозвище Лорд Иа. Согласившись выступить на нацистском радио, даже с самой невинной, как он думал, речью, Вудхауз — патриот в душе — нечаянно попал в дурное общество.

Хуже того, пропагандистский климат, в котором осуществлялись маневры, приведшие к освобождению Вудхауза, был неспокойным и сложным. 10 мая Рудольф Гесс совершил свой странный полет в Шотландию, к вящему стыду нацистов. Известие о том, что столь высокопоставленный член нацистской партии самовольно полетел обсуждать мир с Британией, нельзя было ни закамуфлировать, ни удовлетворительно объяснить. Гитлер был в ярости, Геббельс в отчаянии. Хотя союзники и терпели военные неудачи (вермахт только что оккупировал Югославию и Грецию), Британия, казалось, выигрывала войну информационную. В популярном анекдоте той поры Гесса вызывает к себе Черчилль. "Так это вы тот самый безумец?" — спрашивает премьер-министр. — "Нет, — отвечает Гесс. — Я его заместитель". Обе стороны старались выжать из прессы и радио все, что можно, до последней капли. Развлекательные эфиры автора популярных юмористических романов могут показаться маловажными в глобальной перспективе, но в контексте эпохи их значение было огромным.

Объект всех этих манипуляций тем временем был надежно укрыт в И-лаге VIII, однако его все сильнее занимала мысль написать о недавних приключениях весело. Он пребывал в хорошем настроении и позднее утверждал, что чувствовал себя великолепно и выглядел, как Фред Астер. Приглашение выйти в эфир пришло, когда общественность уже несколько месяцев со все возрастающим интересом ждала, что́ он скажет. Беседы с товарищами по плену прошли хорошо. Лагерфюреру Бюхельту понравилась его статья, и он отправил рукопись Рейнолдсу в Нью-Йорк, куда она прибыла в конце июня — по-видимому, без купюр. Не уверенный в реакции читателей, "Лайф" статью печатать отказался, однако верный "Сатердей ивнинг пост" выкупил ее с условием, что озаглавит

текст "Моя война с Германией", и под этим названием статья увидела свет в июле 1941-го. Шутливое предложение Вудхауза вести переговоры о мире с Германией могло показаться забавным узникам Тоста, но, прозвучав на весь мир, оно выглядело абсолютно нелепым, что еще ухудшило и без того кошмарное положение Вудхауза:

Достичь соглашения, которое удовлетворит обе стороны, не так трудно. Единственная уступка, которой я намерен добиться от Германии, — это чтобы она выдала мне буханку хлеба, велела господам с ружьями, что дежурят у ворот, отвернуться и доверила остальное мне. В ответ я готов отдать Индию и комплект моих книг с автографом.

На протяжении всей своей карьеры, с двадцати одного года, Вудхауз был чуток и отзывчив к желаниям публики и редакторов. Он редко отклонял заказы и всегда был рад угодить читателям, в которых видел источник своего благосостояния. Как верно подметил майор Кассен, ведший допрос Вудхауза в МИ-5, теперь он впервые за много лет оказался в положении, когда рядом не было привычных советчиков: Рейнолдса, Этель, Леоноры — и он должен был решать все сам. К тому же он скучал по жене и страстно желал вновь увидеть свою собачку. После года вынужденного молчания Плам был совсем не готов к подобной ответственности, но хотел вновь наладить связь с внешним миром, развлечь свою публику, взяться за новую работу и воссоединиться с Этель и любимым пекинесом. Пусть вокруг грохотала война, но писателю, который превыше всего был предан своему ремеслу, радиоэфир показался отличной возможностью сделать то, что он делал всегда. Оруэлл понимал это, когда писал: "Вудхауз прежде всего хотел подать весточку своим читателям, ну и кроме того — как любой юморист, — посмеяться". Однако Вудхауз не понимал и так и не понял, что рынок сбыта его шуток полностью переменился. Он стал трагическим героем собственной сказки: шут, чьи ужимки перестали смешить.

Перевод Игоря Мокина

П. Г. Вудхауз

“Ты только не волнуйся, но тут к нам немецкая армия”

Отрывок из рукописи с условным названием “Апология”, хранящейся в Нью-йоркской публичной библиотеке

Перевод Андрея Азова

ПЕРВЫМ немцем, вступившим в Ле-Туке, был одинокий врач, посланный осмотреть больницу при гольф-отеле, где лежало несколько раненых немецких солдат. Сам я его не видел, но капитану Камбье, французскому военному врачу, жившему вместе с нами, приказали его сопровождать, и, вернувшись, капитан сказал, что немец “тре корректъ” — весьма учтив. Я тогда впервые услышал это выражение, но с тех пор слышал его так часто, что быстро к нему привык.

На какое-то время наступило затишье. А потом Жаклин Грант, дочка профессионального гольфиста Артура Гранта, принесла леденящие душу известия. За воротами их дома, в конце Авеню-дю-Гольф, выстроился целый взвод немецких солдат. Она увидела их утром, едва проснувшись, и чуть не подпрыгнула от неожиданности.

Успокаивало то, что и они вели себя “тре корректъ”. Единственная их бестактность состояла в том, что двое из отряда, с винтовками наперевес и револьверами наготове, вошли в дом, арестовали Артура и приказали следовать за ними. Обманутые его детским румянцем, солдаты решили, что он призывного возраста. Только когда он объяснил, что ему пятьдесят четыре года и то, что они приняли за юношескую свежесть, на самом деле старческая бодрость, его отпустили.

Моя первая встреча с захватчиками произошла при довольно неудачных обстоятельствах. Если б я мог прожить жизнь сначала, я бы всеми силами постарался избежать того, что случилось. Все вышло как-то... неловко. Да-да, вот то самое слово — именно что неловко. Я не попал под пулю, но едва не сгорел от стыда.

Военное время во Франции отличается от мирного, в частности, тем, что вам перестают доставлять домой предметы

© Edward Cazalet, 2012
© Андрей Азов. Перевод, 2012

первой необходимости. Если они вам нужны, то извольте добывать их сами. Тем утром нам нужны были овощи; мы попросили у мистера Кемпа грузовичок, который к тому времени уже починили, и отправились в Кюк. В Пари-Пляже тоже можно было еще достать овощи, но не в том количестве, которое требовалось Раймонду. Наш Раймонд был одним из тех поваров, которым для самовыражения нужно много материала.

Здесь, однако, я должен прерваться и, прежде чем продолжу рассказ, дать перечень действующих лиц.

В кузове:

Моя жена
Луиза, наша американская подруга
Коко, попугай (на плече у жены)
Собака Луизы (на коленях у Луизы)

В кабине:

Я
Золотце, пекинес (на сиденье)
Лопоух, боксер (на полу)

Сразу скажу, что ничего необычного в нашем экипаже не было: в Ле-Туке всегда когда едут куда-нибудь на машине, то берут с собой весь свой домашний зверинец — проветрить их и показать им окрестности. Если бы у меня спросили совета, я бы порекомендовал оставить попугая дома, но меня не спрашивали.

От нашего дома в Кюк можно ехать двумя разными дорогами: одна ведет на Этапль и на нее выезжаешь через Авеню-дю-Гольф, повернув затем направо, а другая ведет на Берк, и, чтобы выехать на нее, надо проехать мимо старого поля для гольфа и повернуть налево. Мы выбрали первый путь, в Кюке купили у фермеров овощей, свалили их на Золотце, которая лежала на сидении рядом со мной, и поехали назад по дороге, идущей мимо поля для гольфа. И только мы подъехали к зданию гольф-клуба, как наткнулись на отряд немецких мотоциклистов под командованием лейтенанта.

Мы остановились и уставились на них. Они тоже остановились и уставились на нас. В воздухе чувствовалось напряжение. То были дни, когда немцы с непривычки еще нервничали и опасались ловушек и засад. Когда они увидели машину, то заподозрили, что в ней как минимум скрываются беглые солдаты, а то и чего похуже. Слух об этом пробежал по рядам, достиг лейтенанта, и он подошел к нам устраивать проверку, начав, по немецкому обычаю, с того, что нагнулся и вперил грозный взгляд в мою жену.

Я бы сказал, что он сам напрашивался. Коко тоже так решил.

Коко — один из тех попугаев, которые наивно полагают, что всякая часть человеческого тела, попавшая в пределы их поля зрения, предназначена для того, чтобы ее клюнули. До немецкого вторжения у нас дома часто собирались офицеры восемьдесят пятой авиационной эскадрильи королевских военно-воздушных сил, и ни один из них не избежал клюва Коко. Вытянуть гибкую шею и клюнуть немецкого лейтенанта в левое ухо было для него секундным делом. В то же самое мгновенье собака Луизы цапнула лейтенанта за палец. Это был идеально слаженный обводной маневр, известный в военной науке под названием "клещи".

К этому времени лейтенант уже начал понимать, что попал в переплет, и, мне кажется, он охотно бы отступил, но долг службы обязывал его осмотреть еще и кабину, поэтому он обошел наш грузовичок и открыл дверь.

Поскольку Золотце спала под овощами, то первое, что бросилось лейтенанту в глаза, был свернувшийся клубком Лопоух. Медленно разворачиваясь, он вежливо поднялся позлороваться. Непривычному взору, наверное, показалось бы, что тут несколько ярдов палевой собаки.

Боксеры — говорю тем, кто незнаком с этой породой, — добрейшие собаки на свете, но, увы, наделены мордой, которая намекает на самый злодейский характер. У боксеров огромная пасть, горящий пронзительный взгляд, сурово нахмуренный лоб, а из уголка рта постоянно выглядывает острый белый клык. Во время знакомства боксер издает низкий рокочущий звук. На самом-то деле он мурлычет, но очень кажется, что рычит.

Стоит ли удивляться, что лейтенант несколько опешил? Он покачнулся, оперся об овощи и нечаянно ткнул Золотце рукой в живот.

Такого пекинесы не прощают. Собственно говоря, пекинесы вообще ничего не прощают. У одного офицера, служившего индийскому махарадже, была молоденькая собачка-пекинес, и вот однажды, то ли по случаю дня рождения, то ли просто из прихоти, махараджа велел вывести на парад на дворцовую площадь тысячу своих слонов. Слонов собрали, выстроили плотными рядами перед дворцом — и пока они ждали появления махараджи, из парадных дверей дворца ленивой трусцой вышла пекинеска. Завидев слонов, она тотчас решила, что это заговор лично против нее. С пронзительным лаем кинулась она в атаку, и тысяча слонов дрогнули, как один слон, и помчались в джунгли. Прошел не один месяц, прежде чем последнего из них поймали и водворили обратно.

Вот и теперь произошло почти то же самое. Раздался громкий возмущенный тявк, овощи всколыхнулись и раздвину-

лись, вопль раненого воина пронесся над дюнами — и лейтенант отшатнулся, посасывая руку. Наступила пауза.

Никто не знает, чем бы все обернулось, займись лейтенант нами всерьез. Судя по его виду, он готов был обрушить на нас всю мощь немецких мотострелков. Но тут сверху послышался гул, и отважные немецкие мотострелки нырнули в кусты по обе стороны дороги, словно угорь в илистое дно. Над нами кружили английские самолеты.

Положение было не из легких. Казалось, из кустов вот-вот ударят пулеметы, сверху ответят истребители, и мы окажемся в самом центре огня. Но делать было нечего: оставалось только ждать и надеяться, что временные обитатели кустов сочтут, что их не заметили, и будут хранить гордое молчание. Так они, к счастью, и поступили. Самолеты отправились дальше, а солдаты вернулись на дорогу, отряхиваясь и делая вид, будто заглянули в кусты, только чтобы проверить, нет ли там грибов.

Золотце, как я видел, была готова продолжить спор с прерванного места: глаза ее светились воинственным огнем, и она что-то ворчала себе под нос по-китайски. Но самолеты, видимо, отвлекли лейтенанта, и он приказал солдатам двигаться дальше. Не желая дышать им в затылок, мы дали задний ход и развернулись. Мы решили, что лучше поедем назад в Кюк, вернемся по той же дороге, по которой приехали, и покончим с этим неприятным эпизодом.

Так мы и сделали, но только доехали до Авеню-дю-Гольф, как к своему изумлению опять встретили все тот же взвод с тем же лейтенантом. Повисла неловкая пауза. Мы снова остановились и уставились на них, а они остановились и уставились на нас. Напряжение в воздухе сгустилось до невозможности. Легко себе представить, о чем думал лейтенант. Его взвод преследует какая-то загадочная машина. Не исключено, что именно наши тайные сигналы привлекли те самолеты. И уж наверняка в нашей машине скрываются солдаты.

Однако лейтенант не потерял голову. На сей раз, сам оставаясь на безопасном расстоянии, он приказал сержанту обыскать машину. Сержант был человек рассудительный и поэтому лишь заглянул в окно, слегка побледнев, когда навстречу ему кинулась разгневанная Золотце. Он махнул, и нам позволили вернуться домой.

Такая вот вышла неприятность. Мы чувствовали, что произвели не слишком хорошее первое впечатление.

П. Г. Вудхауз
Моя война с Германией

Перевод Екатерины Доброхотовой-Майковой

СЕГОДНЯ повсюду, от Берлина до Владивостока, от Пеблса в Шотландии до Маттахамквехасета в Новой Англии, звучит один и тот же вопрос: "И что потом?" Повсюду мыслящие люди глядят в будущее и спрашивают, что оно сулит. Все более или менее сходятся в одном: с окончанием военных действий жизнь не станет такой, какой была до сентября 39-го. Прислушайтесь к любому разговору, и вы услышите что-нибудь вроде: "Попомните мои слова, после войны все будет иначе", или "Попомните мои слова, после войны все переменится", или "Попомните мои слова, после войны ничто не будет по-старому".

Вполне возможно, что все эти люди обсуждают будущее Европы, но не исключено, что они говорят обо мне. С 21 июля 1940 года немецкое правительство принимает меня в своей заслуженно популярной сети заведений для интернированных (напомните как-нибудь рассказать про тюрьму в пригороде Лилля, где я провел неделю — вот было времечко!), и сейчас все цивилизованное человечество задается вопросом: "Каким Вудхауз выйдет из каталажки? Будет ли это тот же забавный старикан, — спрашивает себя человечество, — что болтался тут последние лет шестьдесят, или нечто новое и неожиданное? Скажем, увеличится его лысина или останется тех же размеров? Станет он краше — если такое возможно — или подурнеет? Улучшится его фигура на казенных харчах или картофельная диета добавит ему лишний подбородок, губительный для классического профиля? Одним словом: чего ждать от Вудхауза?"

От такого вопроса не отделаешься пожатием плеч и равнодушным "Понятия не имею". Публика вправе требовать, чтобы от нее не утаивали столь важную информацию. Последнее время я немало размышлял по этому поводу. Иногда я думаю одно, иногда — другое. Изложу мои основные выводы.

© by The Trustees of the Wodehouse Estate
© Екатерина Доброхотова-Майкова. Перевод, 2012
Впервые эссе опубликовано в журнале "Сатердей ивнинг пост" 19 июля 1941 года.

Для начала расчленим Вудхауза на составляющие, как, вероятно, говорили себе в мае прошлого года пилоты немецких бомбардировщиков, сбрасывая бомбы вокруг моей виллы в Ле-Туке. Итак:

1. Вудхауз, человек.
2. Вудхауз, англичанин.
3. Вудхауз, кумир общества.

Вудхауз, человек

Здесь некоторые перемены определенно наличествуют, и я не знаю, насколько они понравятся обществу. Все зависит от того, сколько сладости и света оно может вынести.

В первые недели я так упрямо старался не поддаваться обстоятельствам, что явно переусердствовал с жизнерадостностью. Я сам это вижу. У меня развилась привычка с видом Полианны улыбаться каждому встречному и восклицать "Доброе утро! Доброе утро! Какое чудесное утречко!" тем неунывающим тоном, который за пределами лагеря мало кто сможет выдержать. Если эта привычка сохранится и после войны, она будет очень сильно раздражать окружающих. Надеюсь лишь, что в переменившихся условиях все выправится само собой, и я вновь превращусь в старого ворчуна, чье утреннее приветствие больше походит на глухой рык загнанного леопарда.

Вопрос о моей внешности не представляется мне существенным. Верно, что, укладываясь каждый вечер в девять часов, я чрезвычайно похорошел от здорового сна. Лагерфюрер, проходя мимо меня на поверке, вынужден прикрывать глаза ладонью, а охранники, заглядывая через колючую проволоку, в панике перешептываются: "Ну вот, сегодня Вудхауз еще красивее! Сколько ж можно?! Это не опасно?"

Тревогу охранников можно понять. Эти честные малые боятся (и правильно боятся), что моя лучезарность поставит под угрозу безопасность водителей и пешеходов. Однако они забывают, что я в любой момент могу ее приглушить, если отращу бороду.

Многие из моих собратьев по плену заросли до бровей. Больно смотреть, как милое лицо давнего знакомца день за днем скрывается под натиском дремучего леса. Некоторые выглядят гаже остальных, но все — гаже некуда, и невольно жалеешь капрала, вынужденного будить их по утрам. Ничего себе начало дня!

Тем не менее им нельзя отказать в уме. Борода прибавляет человеку от двадцати до сорока лет; рано или поздно здешнее начальство телеграфирует в Берлин, что лагерь переполнен

дряхлыми старцами, которых стоит выпустить, пока они еще способны выйти за ворота своими ногами. Борода полезна также, если решишь совершить побег. Полезно иметь при себе собственные джунгли, куда можно юркнуть от погони. Взвод немецких солдат, высланный на поиски интернированного Смита или интернированного Монагана в дебри их бороды, заплутает через первые же пять ярдов. "Темен девственный лес"[1], – скажут они себе и повернут обратно, пока не закончились вода и провиант. А ежели они и найдут беглеца, то примут его за доктора Ливингстона.

Так что готовьтесь увидеть бородатого Вудхауза.

В*удхауз, англичанин*

Здесь перемены будут не внешними, а внутренними, и перемены эти очень значительны. До войны я скромно гордился принадлежностью к английской нации и считал, что, родившись в Гилфорде, графство Суррей, проявил удивительное в столь нежном возрасте благоразумие. Теперь, прожив несколько месяцев в здешней кладовке для англичан, я несколько порастерял былую уверенность. Семя сомнений было брошено в мой мозг, и оно проросло. Я по-прежнему глубоко уважаю и люблю человека в старой матерчатой кепке, составляющего костяк нашего лагеря, да и про себя не могу сказать ничего дурного. Однако британцы, не знающие ни слова по-английски, меня немного смущают. Всякий раз, как я выпячиваю грудь, чтобы воскликнуть "Счастливейшего племени отчизна!"[2], я слышу, как мои собратья по плену разговаривают на фламандском. Как я уже заметил, это смущает.

На двери столовой висит плакат следующего содержания:

Please shut the door.
Fermez la port S.V.P.
Deur sluiten A.U.B.
Zamknąc c drzwi prosze[3].

И всякий раз, как я *проше замкнончъ джви,* меня обуревают сомнения: а стоило ли делаться англичанином? Уж очень английское общество разношерстное.

1. Генри Уодсворт Лонгфелло. Эванджелина. Перевод Г. Кружкова. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. У. Шекспир. Ричард II. Акт II, сцена 1. Перевод М. Донского.
3. Пожалуйста, закрывайте дверь (*англ., франц., нидерланд., польск.*)

Дело в том, что, если пройтись частым бреднем по Франции, Польше, Норвегии, Бельгии и Голландии и выловить всех людей с британским паспортом, улов будет своеобразный. Здесь в лагере англичанин может быть охотником за головами с Борнео или сыном болгарина индокитайского происхождения от негритянки из Сенегамбии. Я совершенно убежден, что между нами затесались бабуины, и считаю, что это чересчур. Властям следовало бы выпустить, по крайней мере, хвостатых. Специалисты из гестапо вполне в состоянии дать заключение в сомнительных случаях. Всем, кто еще не научился ходить на двух ногах, надо немедленно предоставить свободу.

Сомневаюсь, впрочем, что у Вудхауза, когда он вернется на родину, сохранится много национальной гордости. Например, я больше не смогу цитировать из Киплинга про "не знающих закона дикарей"[1] — побоюсь, что кто-нибудь встанет и спросит, не об англичанах ли я. И даже если ответить на это беспечным "Замкнончь джви проше", все равно будет неловко.

Вудхауз, кумир общества

Данный раздел особенно важен. Многие знают, что до войны я был более всего известен как гость на званых обедах и в загородных домах. Я играл в свете примерно ту же роль, что некогда Красавчик Бруммель[2]. Герцоги не начинали есть, пока не увидят, какую вилку я взял, графини шептали своим сыновьям и наследникам: "Повторяй за Вудхаузом и точно не ошибешься". На банкетах мне бывало неловко чувствовать на себе взгляды всех собравшихся.

Теперь я должен буду учиться застольным манерам с нуля. Если в будущем соседка за обедом наклонится ко мне, я решу, что она покушается на мой хлебный паек. Если мимо пройдет дворецкий, я не удержусь от вопроса, нет ли сегодня надежды на лишний черпак баланды. Если молодой франт услышит разгневанный вопль: "Эй! Тому малому положили три картофелины, а мне только две!" — и увидит красное от возмущения лицо, то и лицо, и голос будут мои. В лагере привыкаешь отстаивать свои интересы.

Сегодня я знаю лишь один способ обедать: по свистку схватить миску, ложку, старую коробку из-под сигар и выстроиться в очередь к баку. Если после войны ваш лакей подаст мне кар-

1. Р. Киплинг. Последнее песнопение.
2. Джордж Бруммель (Браммел) (1778—1840) — лондонский денди, законодатель мод в эпоху Регентства.

тошку, я растеряюсь. Здесь я привык получать картошку так: протискиваешься мимо того, кто стоит перед тобой в очереди, и протягиваешь коробку из-под сигар. Старый Джордж Марш запускает обе руки в ящик, загребает картошку и перегружает в коробку. Если это и впрямь добрейший Джордж Марш, а не кто-нибудь из его бессердечных коллег, он ловит мой умоляющий взгляд и добавляет еще чуточку. Так же обстоит дело с рыбной похлебкой, ячменной кашей и кислой капустой, только их накладывают черпаком, что усиливает драматизм.

До чего же отрадно видеть, как наши учтивые и всеми любимые раздатчики оделяют нас вышеупомянутыми деликатесами! Очень скоро понимаешь, что перед тобою не зеленые новички, а настоящие профессионалы! Есть один человек, чьего имени я пока не запомнил, но в раздаче рыбной похлебки он то же, что Бобби Джонс[1] — в гольфе. В тот миг, когда он начинает замах, сразу видишь руку мастера. Он усвоил главное правило: не дергайся, не верти головой, не своди глаз с миски.

Многие молодые и неопытные раздатчики вкладывают в удар чересчур много силы, забывая, что все решает последнее движение запястья. Тот человек никогда не допускает такой ошибки. Он знает, что главное — правильно рассчитать движение. Легкий, почти небрежный замах, черпак никогда не поднимается выше плеча, и, когда ты, расставив ноги, собираешься, чтобы принять удар, — *вззз!* — похлебка гранатой взмывает в воздух и плещет в самую середину миски. Хороший раздатчик почти гарантированно попадет в цель с расстояния в три фута и обрызгивает тебя лишь самую малость.

Это что касается званых обедов. Что до загородных визитов, я буду крайне непритязательным гостем. Если после войны вы решите пригласить меня в свою сельскую резиденцию, не тревожьтесь, что не можете предоставить мне отдельную ванную. Теперь я предпочитаю совершать утренний туалет в обществе пятнадцати-двадцати себе подобных.

И вам не придется ждать меня к завтраку. Я тут привык вставать рано. Ровно в шесть звучит побудка, и тут же в спальню с топотом вступает крупное подразделение немецкой армии. Впереди шагает капрал, который орет: "Auf!"[2], рядом с ним горнист дует во всю мочь. И все встают. Как-то не приходит в голову поступить иначе. Герберт Уэллс написал роман

1. Роберт Тайер (Бобби) Джонс-младший (1902–1971) — легендарный американский гольфист. Выиграл пять чемпионатов США среди любителей, четыре US Open, три British Open и один British Amateur.
2. "Подъем!" (*нем.*)

про человека, который проспал тысячу лет. Будь у того в спальне немецкий капрал, он бы проснулся куда раньше.

Я вижу, что не ответил на вопрос о своей фигуре. Что ж, придется сказать горькую правду. Боюсь, что послевоенному миру стоит приготовиться к расширенному изданию Вудхауза. Немецкая картошка — очень питательный овощ, однако приходится выбирать между нею и стройностью. Или одно, или другое. И я до сих пор не нашел в себе сил отказаться от немецкой картошки. Мы получаем ее на первое и на второе, и трудно сказать, в каком блюде она соблазнительней.

А еще есть немецкое пиво. Достойный напиток — и, если вам есть чем платить, вы получаете его без ограничения. Увы, оно тоже не способствует похуданию. Да, друзья, которые все эти месяцы молятся о моем возвращении, еще будут ворчать, что получили вдвое больше, чем просили.

Итак, вот ответы на вопрос: "Чего ждать от Вудхауза?" Теперь остается лишь один, самый животрепещущий: как старый маэстро выпутается из этой передряги?

Будь я холостяк и без собаки, я бы не особенно торопился покинуть лагерь. Мы хорошо питаемся, много спим, что до тяжелой работы, все, кто старше пятидесяти, от нее освобождены. А молодежи физический труд только на пользу, как думаю я частенько, покуривая трубочку и глядя, как мои младшие товарищи уходят грузить уголь или расчищать снег.

Более того, воздух в Верхней Силезии прекрасный, охранники — образцы мужественной красоты, радующей глаз; довольно скоро привыкаешь висеть на колючей проволоке, как шляпа на вешалке.

Однако я — женатый человек с пекинесом и боксером и потому желал бы при первой возможности изменить место проживания. Я вижу только один выход: нам с Германией надо сесть за круглый стол и заключить сепаратный мир. Нетрудно будет прийти к условиям, устраивающим обе стороны. Единственная уступка, которой я намерен добиться от Германии, — это чтобы она выдала мне буханку хлеба, велела господам с ружьями у ворот отвернуться и доверила остальное.

В ответ я готов отдать ей Индию, комплект моих книг с автографом и тайный рецепт приготовления картофельных ломтиков на обогревателе, ведомый только двоим: интернированному Артуру Гранту и мне. Предложение действительно до следующей среды.

Газетная война

Отклики на берлинские радиопередачи П. Г. Вудхауза

Перевод и вступление Андрея Азова

За день до нападения Германии на Советский Союз немцы выпустили Вудхауза из лагеря в Тосте и перевезли в Берлин. Его тотчас окружили журналисты, и во время беседы с ними он проговорился, что собирается выступать на немецком радио с рассказами о своих военных злоключениях. Опубликованные в "Нью-Йорк таймс" 26 июня, эти его слова вызвали шквал негодования у англичан. 28 июня, в один день с выходом первой берлинской радиопередачи Вудхауза, раздался первый печатный отклик — статья журналиста Уильяма Коннора (больше известного под псевдонимом Кассандра) "Цена предательства". В течение нескольких следующих недель на редакции крупнейших английских газет — "Таймс" и "Дейли телеграф" — сыпались возмущенные письма читателей. Спор вокруг Вудхауза достиг наивысшего накала, когда 15 июля все тот же Уильям Коннор выступил на Би-би-си с яростной диатрибой против Вудхауза, открыто обвинив его в измене родине.

Ниже публикуются наиболее яркие из выступлений как против Вудхауза, так и в его защиту, появившиеся в этот короткий период. Источниками текста послужили книги Иана Спраута "Вудхауз и война" (I. Sproat. Wodehouse at War. — London: Milner & Co., 1981) и леди Фрэнсес Дональдсон "П. Г. Вудхауз. Биография" (F. Donaldson. P. G. Wodehouse. A Biography. — London: Prion, 1982).

Обвинители Вудхауза

Цена предательства

П. Г. Вудхауз, говоря словами его героев, "кормится и поится" у нацистов в "Адлоне" — самом большом и роскошном отеле Берлина. Создатель и единоличный владелец Берти Вустера удобно устроился в номере на третьем этаже — "очень уютном", как он сам признается, — и будет выступать по радио с еженедельными программами для американских слушателей. "Беседы на общие темы, ни слова о политике, — поясняет Король Смеха и продолжает: — Я совершенно не способен ни на какие воинственные чувства. Только я готов разозлиться на какую-нибудь страну, как я встречаю порядочного человека оттуда. Мы с ним выпиваем, и всякие мысли о войне улетучиваются".

© Андрей Азов. Перевод, вступление, 2012

Вудхаузу повезло.

Он не видел, как нынешние его хозяева, эти новые гунны, сравняли с землей целые районы Лондона, Ковентри, Ливерпуля и других городов. Он не слышал грохота пулеметов, под который белокурые бестии из Люфтваффе поливали пулями английских моряков, барахтающихся в воде.

Наверняка Геббельс поздравляет себя с тем, как ловко сможет воспользоваться Вудхаузом на немецких радиоволнах. Объективный голос. Рассудительный голос. "С одной стороны так, с другой стороны эдак..." Но пусть Вудхауз говорит хоть на языке ангелов, нам-то хорошо видны его дьявольские копыта. Пускай Дживс шепчет нам с немецких радиомачт. Пускай этот джентльменнейший джентльмен воркует и мурлычет, как никогда прежде.

Но ребят из клуба "Трутни" ему никогда не увлечь. Никогда, никогда, никогда.

Уильям Коннор.
"Дейли миррор", 28 июня 1941 г.

Сэр!

Многочисленные друзья и поклонники П. Г. Вудхауза с радостью встретили новость о том, что его наконец-то выпустили из силезского лагеря для интернированных и что ему предоставили полную свободу передвижения в пределах Берлина. Вудхаузу уже почти 60 лет, и переносить заключение ему было непросто.

Куда меньше мы были рады новости о том, что он собирается вести в Берлине еженедельные радиопередачи на Америку. Сказать по правде, мы в полном ужасе.

Берлинские выступления всемирно известного англичанина, в каком бы "нейтральном" тоне они ни велись, не могут быть ничем иным, как рекламой для Гитлера, свидетельством нацистской терпимости, ярчайшим примером корректного и гуманного обращения нацистов с военнопленными — иными словами, сильной дозой мягчительного сиропа, чтобы отвлечь внимание американцев от чудовищных злодеяний, совершаемых в немецких лагерях над тысячами военнопленных, которым повезло меньше, чем Вудхаузу.

Нет никаких сомнений, что Вудхауза освободили специально для этой цели. Расчет был блистательный — и, увы, мой старый друг полностью его оправдал. Я берусь утверждать, что он решительно не осознает того, что делает. Он добрый, покладистый человек, отрезанный от родины и лишенный доброго совета, — по-видимому, он согласился выступать по-

тому, что не видел в этом никакого вреда, и еще потому, что это давало ему возможность после долгого плена напомнить о себе своим друзьям в англоязычном мире.

Как бы то ни было, сейчас ни одно его слово не может помочь нам, а помогает только нашему врагу. Необходимо прекратить эти передачи — как ради блага нашей страны, так и ради самого Вудхауза, ведь если он и дальше будет продолжать в том же духе, то лишится всех своих друзей до единого, а имя им сейчас — легион.

Я считаю, что нужно немедленно предпринять соответствующие шаги, для того чтобы наши друзья в Берлине, намекнули нашему любимому, но заблудшему Пламу, что пора дать задний ход.

Ваш покорный слуга
Иан Хэй.
(*Письмо опубликовано 2 июля 1941 г.*)

Сэр!

Весть о том, что П. Г. Вудхауза освободили из концентрационного лагеря, обрадовала его друзей; весть о том, что он поселился со всеми удобствами в отеле "Адлон", взволновала их, а весть о том, что он собирается выступать с еженедельными радиопередачами (правда, не о политике, потому что он "всегда был далек от политики"), уже не позволяет сомневаться, что́ именно с ним случилось. Он опять удрал от реальности.

Помню, он сказал однажды, что хотел бы иметь сына, и тут же добавил — вполне искренне и совершенно в своем духе: "Но только чтобы он сразу родился пятнадцатилетним, когда набирают в школьную сборную по крикету"[1]. Удобная позиция, что и говорить. Воспитание сына требует от отца боль-

1. Многими годами позже английский журналист Ричард Асборн написал Вудхаузу, что встретил его слова о сыне, которые цитирует Милн, в "Псмите в Сити". "Вы раскрыли мне загадку, которую сам я все эти годы так и не мог разгадать, — ответил Вудхауз. — Те мои слова, которые он упоминал, казались знакомыми, но я был уверен, что ни в одной беседе ничего подобного не говорил. Вероятно, он вычитал их в 'Псмите'... Странный он человек, Милн. Есть в нем особая завистливая жилка, которая не проявляется в его произведениях. Мне нравится, как он пишет, но его самого я не очень люблю".
Об отношении Вудхауза к Милну говорят и такие слова из его письма Денису Макейлу (27 ноября 1945 года):
"Не знаю, связано ли это с моим ангельским характером, но моя личная неприязнь к писателю никогда не отражается на моем мнении о его произведениях. Никто, например, не возликовал бы сильнее меня, если бы Алан Александр Милн споткнулся о развязавшийся шнурок и сломал свою проклятую шею — однако я с постоянным удовольствием перечитываю его ранние вещи и продолжаю считать его 'Дорогу на Дувр' лучшей комедией, написанной на английском языке".

шой ответственности, но к пятнадцати годам можно целиком переложить ее на плечи директора школы и только радоваться достижениям своего отпрыска.

И такое отношение к жизни было у Вудхауза всегда. Он намеренно отдалялся от "политики", под которой понимал все то, о чем говорят взрослые за ужином, не догадываясь, что дети подслушивают их из-под стола. "Политикой" была для него и прошлая война, которую он пересидел в Америке, и послевоенные налоги, от которых он бегал туда-сюда через Атлантику, пока не нашел прибежища во Франции.

Неудачного прибежища, как выяснилось прошлым летом, когда политика все-таки настигла его, перемахнув через Сомму.

Безответственность "патентованного юмориста", как его называют газеты, зашла слишком далеко; его наивность тоже зашла слишком далеко. Вудхаузу позволялось очень многое, но теперь, полагаю, настало время отобрать у него патент.

Однако прежде чем это произойдет, я призываю Вудхауза отдать этот патент по доброй воле — осознать, что даже если гений и ставит его над битвой, где бойцы движимы чувством гражданского и общественного долга, приходят времена, когда каждый человек должен выйти на поле брани, присягнуть своей вере и пострадать за нее.

С уважением и проч.
А. А. Милн.
Письмо в газету "Дейли телеграф", 3 июля 1941 г.

Сэр!

О сделке П. Г. Вудхауза с немецким правительством не может быть двух мнений. Полагаю, неприятнее всего должно быть сейчас оксфордскому ученому сообществу, которое в 1939 году присвоило ему степень доктора словесности.

В последние годы на Оксфорд обрушились полчища, если можно так выразиться, *мнетожеств,* и самым печальным симптомом происходящего стало присуждение одной из высших литературных наград в мире человеку, который в жизни не написал ни одной серьезной строчки.

Это, впрочем, несложно исправить. Те, кто присудил награду, имеют право и лишить ее. Это будет не только наказанием награжденного, но и знаком раскаяния самих награждавших, и я уверен, что большинство выпускников Оксфорда встретят этот поступок с таким же горячим одобрением, как и я.

С уважением и проч.
Э. К. Бентли.

Сэр!

Я — один из самых первых и самых преданных читателей П. Г. Вудхауза, но даже мою преданность подорвала новость о его берлинских радиопередачах.

Пожалуй, самое грустное во всем этом печальном деле — то, что сам он, похоже, совершенно не понимает, что своими передачами совершает моральное и гражданское самоубийство. Но несмотря на это непонимание, если он все же станет выступать на берлинском радио, то увидит после войны, что у него почти не осталось ни друзей, ни читателей.

Вудхауз всегда выбирал в жизни самый легкий и удобный путь. Когда разразилась прошлая война, он был в Америке. Там он и остался и, пока его друзья сражались, накопил значительное состояние. Столь же безответственным он был и в своих денежных делах: о нем заговорили, когда оказалось, что американские власти требуют от него 50 000 фунтов невыплаченных налогов.

Бродят и другие слухи. Стоит оказаться в компании знакомых Вудхауза, как, ей-богу, часа не пройдет, чтобы вам не рассказали о какой-нибудь его очередной выходке. Никто не одобрял проделок Вудхауза, но из-за любви к нему его друзья готовы были смотреть на них сквозь пальцы.

Но теперь, безответственно беря в руки вражеский микрофон, он заходит слишком далеко. Кто простит ему эту ошибку из ошибок?

С уважением и проч.
У. О. Дарлингтон.

Сэр!

Немцы взяли в плен около сорока тысяч английских солдат и одного английского писателя. Солдатам их родная страна не дала почти ничего, кроме любви и благодарности. Писателю она дала практически все. Однако только он и согласился сесть к микрофону, предав дело, за которое сражались и страдали остальные сорок тысяч.

Выйдя на свободу и получив возможность жить в отеле "Адлон", П. Г. Вудхауз сказал на весь мир, что ему, по сути, неважно, кто победит в войне. Всякий раз как он ощущает в себе зачатки "воинственных чувств", он встречает "порядочного человека" из вражеского лагеря и понимает, что все в мире суета, и только письменный стол и пишущая машинка (желательно в отеле "Адлон" или в загородном поместье у друзей) действительно имеют значение.

Если бы во время войны он был в Лондоне, или Бристоле, или Портсмуте и помогал вытаскивать из развалин мертвых

старух и изуродованных детей, он бы, наверное, думал иначе. Очень может быть, что у него не сохранилось бы ни письменного стола, ни пишущей машинки.

Можно только надеяться, что больше он никогда не вернется в страну, которая так мало для него значит, а будет продолжать играть с немцами в Дживса.

Искренне ваш
Джордж Уильямс.

Сэр!

Интересно, почему стольких читателей вашей популярной газеты так удивил и расстроил поступок П. Г. Вудхауза? Неужели из его книг — довольно забавных, надо отдать ему должное, — не видно, каков у него склад ума? Чего еще можно было ждать от такого человека?

С глубоким уважением
Л. Б. Уилсон.

Сэр!

Смешно читать всевозможные сетования о злодействе Вудхауза. Не берлинский лепет этого ничтожества вредит достоинству Англии и делу, за которое она борется, а то, что инфантильная часть народа и ученое руководство Оксфорда, у которого давно уже отсохло все, что выше подбородка, принимают его за сколько-нибудь влиятельную фигуру в английской юмористической литературе, да и в литературе вообще. Таково, по иронии судьбы, возмездие тем, кто изгнал Джойса и прославил Вудхауза.

Если у Англии осталось еще хоть какое-то достоинство, хоть какой-то литературный вкус, она навсегда забудет жалкие кривляния своей цирковой блохи. Если немцам нравится этот фигляр, то тем лучше для нас.

С уважением и проч.
Шон О'Кейси.

Сэр!

Раскройте любую книгу Вудхауза — и вы увидите там скучающих богачей, которые никогда палец о палец не ударили. Это же настоящая питательная среда для фашизма! Во всех героях Вудхауза живет зародыш фашистского мировоззрения: они — реакционеры, враги прогресса и демократии.

П. Г. Вудхауз нежился в лучах славы и дремал, убаюканный жужжанием своего клуба "Трутни", а тем временем в Европе

двигались армии, гибли государства и целые народы попадали под ярмо угнетателей. Его безразличие стало причиной его падения, ибо каждый писатель, каждый поэт и каждый художник, который не несет свой талант на алтарь этой жизненно важной, поистине революционной борьбы — наш враг; такой же враг, как если бы его собственноручно нанял Геббельс.

С уважением
Колин Винсент.

Сэр!

Я так любил Дживса и Псмита, и у меня в голове не укладывается, что их создатель сейчас, во время войны, находится в отеле "Адлон". Но с фактами не поспоришь. Увы, прощай, Дживс!

Ваш
Г. С. С. Кларк.

Защитники Вудхауза

Сэр!

Если с мнением У. О. Дарлингтона о берлинских радиопередачах П. Г. Вудхауза еще можно, пусть и с прискорбием, согласиться, то, говоря о 50 000 фунтов стерлингов, которые американская налоговая служба потребовала с Вудхауза, он намеренно искажает факты. Я хочу заметить, что аналогичное требование (правда, в моем случае не на столь гигантскую сумму) было предъявлено всем английским прозаикам и драматургам, — по крайней мере всем, кого я знаю, — кто получал сколько-нибудь значительный доход в США.

Это требование основывается на каком-то подпункте бог знает какого закона, о котором даже юристы прежде не слышали. Несмотря на то что налоги исправно выплачивались все предыдущие годы, они были пересчитаны на более крупную сумму. Рафаэль Сабатини более года героически сражался в суде, но в итоге и он должен был признать поражение.

Отдавая справедливость человеку, чье доброе имя и без того сейчас пострадало, я считаю необоснованными обвинения в том, что неприятности Вудхауза с американской налоговой службой были вызваны его сознательными попытками уйти от налогов.

С глубочайшим уважением
Сакс Ромер.

Сэр!

Как видно, проступок Вудхауза дал повод предаться нашему любимому национальному времяпрепровождению — поливанию грязью. Один из ваших читателей желчно пишет о незаслуженно высокой чести, которой Оксфордский университет удостоил простого юмориста, и выражает уверенность, что все выпускники Оксфорда будут рады решению лишить его этой награды, тем более что он, опять же, всего лишь жалкий юморист.

Другой читатель обращает внимание на тот, несомненно порочащий, факт, что этот тип когда-то был должен Соединенным Штатам крупную сумму денег. Делаются туманные, но зловещие намеки и на другие его темные делишки.

Подходите, дамы и господа, подходите! Вон он, преступник, у позорного столба! Не проходите мимо, бросьте в него камень!

Искренне ваш
Монктон Хофф.

Сэр!

Неужели собратья Плама Вудхауза по перу, преисполненные сейчас такого праведного гнева, могут поручиться, что сами устояли бы перед подобным искушением? У немцев есть весьма действенные способы убеждения, неведомые бывшим господам-крикетистам из Оксфорда и Кембриджа.

Хочется спросить, уж не вызвана ли эта охота на ведьм завистью к Пламу и его умению зарабатывать, и не окажутся ли в числе будущих жертв и другие осторожные литераторы, которые удалились вместе со своими письменными столами и пишущими машинками на другую сторону Атлантики?

Не по-джентльменски играете, господа!

С уважением и проч.
Гилберт Франкау.

Сэр!

Как старый друг и ценитель таланта П. Г. Вудхауза, известного своим близким знакомым как Пламми, я полностью согласен с Ианом Хэем, который говорит, что Вудхауз не имеет ни малейшего понятия о значении своего поступка.

Он — человек, которого не касаются житейские дела. В разговорах он всегда рассеян и как будто думает о чем-то своем. Мне кажется, Иан Хэй внес прекрасное предложение: надо постараться, чтобы кто-нибудь из сочувствующих нам

влиятельных людей в Берлине объяснил Вудхаузу всю чудовищность того, что он делает.

Если я не ошибаюсь в Пламми, он, несомненно, очнется, поймет преступность своего поступка и, говоря словами Иана Хея, даст задний ход.

Искренне ваш
(лорд) Ньюборо.

Сэр!

Поскольку кое-кто из писателей счел себя вправе ругать П. Г. Вудхауза, как будто сам никогда ничего подобного бы не сделал, позволю себе совет: не торопиться с окончательными суждениями, поскольку никто из нас не знает всех обстоятельств дела.

Оценивать чужие мотивы всегда непросто. Кто может сказать наверняка, что бы он сам сделал в тех или иных обстоятельствах? Ни один из тех, кто так громко хулит Вудхауза, не пережил того, что пережил он. Мне всегда казалось, что частью христианского учения была заповедь "Не судите, да не судимы будете".

После капитуляции Бельгии на голову короля Леопольда обрушился шквал обвинений, о которых теперь стараются забыть, потому что с ними, как выяснилось, слишком поспешили. Простите меня за дерзость, но вряд ли поступок Вудхауза можно считать делом государственной важности. Очень может быть, что наши теперешние суждения о нем несправедливы. Да и надо ли вообще выносить о нем какие-то суждения? Неужели во время мировой войны не найдется дел поважнее?

Искренне ваша
Этель Меннин.

Сэр!

Некоторые из ваших почтенных читателей, недовольных проступком Вудхауза, высказываются с каким-то удивительным высокомерием. А. А. Милн дает понять, что Вудхауз всегда был безалаберным эскапистом, а Э. К. Бентли огорчается, что Оксфорд присудил степень доктора словесности человеку, который "в жизни не написал ни одной серьезной строчки".

И тем не менее они требуют от этого, по их мнению, беспринципного скомороха, вышедшего из немецкого заточения, несгибаемой твердости и стойкости. Не слишком ли многого они хотят от того, кого сами так низко ценят?

Что же касается утверждения, будто эти передачи вредят нашим интересам в Америке, то можно лишь поинтересовать-

ся, неужели вудхаузовское дуракаваляние в Берлине тронет американцев больше, чем безуспешные призывы их прежнего кумира, полковника Линдберга, который также воспользовался нацистским гостеприимством. Уж лучше сохраним наш гнев для нацистов, чем растрачивать его на нравоучения нашим слабым братьям, которым к тому же не дадут их прочитать.

С уважением и т. д.
Уолтер Джеймс.

Сэр!

В спорах о злополучных радиопередачах Вудхауза обычно упускается из виду одно важное обстоятельство. Ко времени Битвы за Францию, когда Вудхауз попал в руки врага, английский народ лишь только начал понимать военную и политическую значимость немецкой пропаганды. С тех пор мы многому научились. Мы кое-что узнали о том, почему и как пала Франция, мы наблюдали, как происходит разобщение Балкан, мы видели, как медленно пробуждается американское общественное мнение, опьяненное нацистским наркотиком.

Но много ли из этого можно было узнать в немецком концентрационном лагере или даже в отеле "Адлон"? Теоретически, конечно, каждый патриот должен быть готов сопротивляться врагу и даже, если нужно, идти на мученическую смерть, но очень трудно проявлять подобный героизм, когда необходимость его непонятна и в принципе не может быть понята.

Искренне ваша
Дороти Сэйерс.

Сэр!

Ни один писатель не стремился привлечь к себе меньше внимания, чем П. Г. Вудхауз. И как его старый друг я берусь утверждать, что ни одному другому писателю общественное внимание не принесло столько вреда.

Когда разразилась прошлая война, Вудхауз был в Нью-Йорке. В апреле 1917 года, когда США вступили в войну, там открылась призывная комиссия для живущих в Америке англичан. Вудхауз добровольно пришел в эту комиссию, но там его признали негодным к строевой службе.

Ему неоднократно ставили в вину историю с налогами. Действительно, как писал здесь У. О. Дарлингтон, американское правительство потребовало от Вудхауза 50 000 фунтов стерлингов в уплату налогов. О чем мистер Дарлингтон забыл упомянуть, так это о том, что после долгих переговоров американское правительство удовлетворилось одной седьмой ча-

стью первоначально потребованной суммы. Если бы им удалось доказать законность своих притязаний на большее, они бы уж точно не ограничились меньшим.

Возьмите любую фотографию Плама Вудхауза до войны и сравните ее с фотографией, снятой в Силезии, — и вы увидите, что́ с ним сделал немецкий лагерь. Прежде чем бросать в него камни, давайте попробуем войти в его положение и поможем ему, в свою очередь, понять, что ради его же собственного блага, ради блага его родных и его страны эти передачи должны прекратиться. Но как донести до него наш призыв?

Ваш покорный слуга
У. Тауненд.

Сэр!

В связи с многочисленными письмами о П. Г. Вудхаузе, которые вы получаете, возможно, вам небезынтересно будет познакомиться с фактами, касающимися его освобождения из немецкого лагеря, которые оказались в моем распоряжении.

Вудхауз попал в плен в прошлом году, поскольку отказывался верить, что к его дому, где он работал над очередной книгой, приближаются немцы. Он надеялся, что успеет до отъезда из Франции закончить последние четыре главы. Ему тогда было 58 лет. Немцы не держат в лагерях граждан враждебных государств старше 60 лет, а через несколько месяцев Вудхаузу исполняется 60.

Вудхауза интернировали в один из лучших немецких лагерей: он расположен на территории бывшей лечебницы для душевнобольных, условия там относительно сносные, а командующий лагерем (который был в английском плену во время прошлой войны) — человек терпимый и снисходительный. Вудхаузу хотели даже отвести отдельную комнату, но он отказался от всяких поблажек и жил в одном бараке с 60 другими военнопленными. Ему, однако, предоставили место, где он мог писать: это было просторное помещение, где вместе с Вудхаузом "работали" саксофонист, пианист и чечеточник.

Пока Вудхауз был в лагере, с ним связался ряд американских агентств, в частности "Коламбия бродкастинг", с тем, чтобы получить права на его рассказы. "Коламбия бродкастинг" договорилась с Вудхаузом о том, что сразу, как его освободят, он выступит у них на радио. Его освободили незадолго до шестидесятого дня рождения.

После освобождения бывшие заключенные имеют право жить в любом месте по своему усмотрению, оставаясь, однако, в пределах Центральной Германии. Значительные гонорары, которые Вудхауз получил от немецких изданий своих

книг, несомненно, склонили его в пользу того, чтобы остановиться в удобном "Адлоне", а не в какой-нибудь более скромной гостинице в центре Берлина.

Я не хочу, да и не считаю себя вправе как-то оценивать действия Вудхауза; я лишь передам слова тех, кто встречался с ним в Берлине. Они согласны и с А. А. Милном в том, что он политически наивен, и с Дороти Сэйерс в том, что он не осознает пропагандистской выгоды, которую его действия приносят немцам. Они считают, что поступок Вудхауза вызван его желанием напомнить о себе американским читателям. Они совершенно убеждены, что он не покупал свободу согласием выступать на радио. Если он и просил о досрочном освобождении на несколько недель раньше положенного срока, то потому только, что беспокоился о жене, которую оставил неподалеку от Лилля.

Да, возможно, чувство выгоды у Вудхауза развито сильнее, чем чувство патриотизма, и это отнюдь не делает ему чести, но я все же надеюсь, что выяснение обстоятельств вокруг его освобождения хоть как-то отразится на мнении ваших читателей.

Искренне ваш
Беспристрастный.

Выступление Уильяма Коннора в программе "Постскриптум" на Би-би-си 15 июля 1941 года

Я пришел сегодня сюда, чтобы рассказать вам историю об одном богаче, попытавшемся заключить свою последнюю и самую прибыльную сделку — продать собственную родину. Это грустная история о том, как честь, порядочность и элементарное человеческое достоинство были отданы нацистам в обмен на мягкую постель в роскошном отеле. Это история о том, как юмор, который когда-то был смешным, сменился изменническим скулежом Иуды. Это история о П. Г. Вудхаузе, закончившем свою сорокалетнюю доходную карьеру юмориста самой дурной шуткой из всех, на какие он был способен. Единственной шуткой, которую мир встретил гробовым молчанием. Последней шуткой, которую купил у него этот король безобидного веселья — доктор Пауль Йозеф Геббельс.

Пелему Гренвилу Вудхаузу пятьдесят девять лет. Он — британский подданный, находящийся в плену у нацистской Германии. Когда разразилась война, Вудхауз был в Ле-Туке. Он развле-

кался. Прошло девять месяцев: Польша исчезла с карты мира, пала Дания, была захвачена Норвегия, а Вудхауз оставался все там же и продолжал веселиться. Этот старый озорник не верил в политику. Он сам так сказал. Да и кто из этих беззаботных пташек в нее верит? Вудхауз давал очередной банкет, когда немецкие штурмовики ворвались в его никчемную жизнь и увели его, смешного англичанина со всем его запасом забавных юнцов, комичных простаков и плутоватых дворецких. Политика — в виде нацистского орла — сама его отыскала. На место Дживса пришел Гиммлер — и даже не постучался, когда входил,

Берти Вустер растаял в воздухе, и вместо него хромающей походкой на сцену вышел доктор Геббельс. С быстротой, на которую только способен его дьявольский ум — то есть молниеносно, — он сообразил, что Вудхауза можно использовать как полезное оружие в борьбе против разгневанных народов Великобритании и Соединенных Штатов. Польская кровь все еще обагряла землю. Кровь убитых чехов и норвежцев, голландцев и бельгийцев, французов и англичан взывала к небу. Геббельс захотел слегка прибраться. Ему нужна была промокашка, чтобы впитать эту кровь, — и он нашел такую промокашку в лице Вудхауза. Ему нужна была аудитория Вудхауза — миллионы людей, которые любят и ценят его книги. Ему нужны были ВЫ — те, кто сейчас меня слушает. Поэтому он обошелся с пленником мягко. Он отправил Вудхауза в лагерь для интернированных в Верхней Силезии и распорядился, чтобы ему отвели должность библиотекаря. Легкая работа, способствующая воспитанию приятной рассудительности. Через полгода обнаружились первые признаки того, что план удался. "Мне тут вполне хорошо", — написал Вудхауз, и доктор Геббельс убедился, что всё идет так, как он задумал.

Тем временем на другом конце земли, в Вашингтоне, доктор Ганс Томсен добавил свой камешек в эту сложную мозаику. Он написал сенатору Барбору и уверил его, что пленник фюрера "чувствует себя вполне хорошо". Так тихо и незаметно готовилась арена для звездного выступления Вудхауза — самая позорная арена в мире, арена предателей. К концу июня нынешнего года Геббельс был готов. Готов был и Пелем Вудхауз. Он созрел, он рад был услужить, и, когда ему предложили свободу в стране, где убили всякую свободу, он тотчас согласился. И возведя его на высокую гору, показал ему доктор Геббельс все царства вселенной и сказал ему: "Дам тебе власть над всеми сими царствами, если ты поклонишься Фюреру".

И Пелем Вудхауз пал на колени.

Возможно, вы слышали голос этого человека, говорящего с вами из своего роскошного номера на третьем этаже отеля

"Адлон", — голос, который раздается с истерзанного войной континента, пересекает Атлантику и доносится до вас, до все еще мирной Америки. Возможно, вы даже готовы простить старика, связавшего свою судьбу с самой страшной тиранией, которую только знало человечество.

Но мы, у кого перед глазами стоит Дюнкерк, — мы никогда не простим и никогда не забудем.

Пятьдесят тысяч моих соотечественников находятся в немецком рабстве. Они с оружием в руках встретили врага на северных равнинах Франции, чтобы их товарищи успели переправиться в Англию. Они прошли сквозь огонь и сталь, сквозь настоящий ад ради того, чтобы демократическая Англия уцелела. Сколько из них ночует сегодня в отеле "Адлон"?

Сколько из них плавает в лодках по славным озерам в пригороде Берлина, как это делал на днях Вудхауз?

Колючая проволока — вот их подушка.

Они страдают, но не сдаются.

Они мучаются, но не продаются.

Возможно, вы готовы сочувствовать всякому, кто столкнулся с чудовищной нацистской машиной репрессии. Я понимаю вас. Но когда стоит выбор между изменой родине и ужасами гестапо, ответ возможен только один.

Нацистские тюрьмы полны людей, которые, не задумываясь, сделали этот выбор. Они потеряли всё; многие — даже саму жизнь. Но у них осталось то, чего Вудхаузу никогда уже не вернуть, чего никогда не купишь за тридцать сребреников.

<...>

Пелема Вудхауза хорошо знают в Соединенных Штатах. Он был вместе с вами в Нью-Йорке, когда мы в прошлой войне укрощали другого фюрера, по имени кайзер Вильгельм, который тоже собирался утопить весь мир в крови.

ВЫ обогатили Вудхауза.

ВЫ прославили его.

Сотни тысяч американских долларов текли в его карманы. Две тысячи долларов в неделю получал этот шут.

Но он был слишком проворен для вас, слишком хитер. Когда Федеральная налоговая служба собралась потребовать от него сущую безделицу — сто двадцать пять тысяч долларов невыплаченных налогов, — то обнаружила, что шутника и след простыл.

Может быть, вам интересно услышать продолжение этой истории? Оно произошло на той самой вилле в Ле-Туке. Ему позвонили из налоговой службы и сказали, что он должен Соединенным Штатам свыше ста тысяч долларов.

— Сто тысяч, разве? — беспечно ответил Вудхауз. — А я думал, гораздо больше. Во всяком случае, раньше было так.

Вудхауз, наверное, вспомнил о своей повести, которую написал в 1928 году. Она называлась "Даровые деньги".

Прежде чем закончить выступление, я бы хотел обратиться к самому мистеру Вудхаузу в его номере с видом на Унтер-ден-Линден.

Мистер Вудхауз! Вы сказали на днях, что "не способны ни на какие воинственные чувства".

Вы помните Далвич, мистер Вудхауз? Разумеется, помните. Это пригород Лондона, где вы учились. Я был там как-то вечером не так давно, мистер Вудхауз, и стал свидетелем того, что могло бы вас заинтересовать, раз вы так невозмутимо и спокойно рассуждаете об этой войне.

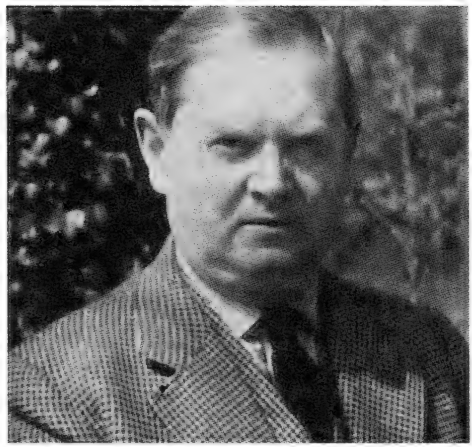
Стояла тихая и спокойная ночь, пока вдруг тысячи фунтов взрывчатки не врезались в землю на скорости семисот миль в час и не разорвали тишину на тысячу воющих осколков.

Затем все снова стихло. Рядом со мной, под пятью — пятнадцатью — пятьюдесятью тоннами обломков лежали люди. Большинство из них — мертвые. Некоторые — живые. Некоторые — умирающие. Ваши соотечественники, мистер Вудхауз. Было тихо. Ужасающе тихо. Казалось, должны были начаться шум и суета, но вместо этого — могильная тишина. Принялась за работу спасательная команда; крикнули, чтобы никто не разговаривал. Все молчали. Мы прислушивались, и я с ужасом понял, что мы ждем криков боли и предсмертных мук из-под давящей груды камней, которая еще недавно была домами. Ждем криков людей, попавших в западню, в человеческую ловушку, в чудовищную клетку зла и боли, которую доставили из Германии. Сделано в Германии! Эти слова мы помним с детства, мы видели их на наших игрушках. Я был свидетелем чего-то невыразимо дикого, непередаваемо жестокого. Жаль, что вас не было рядом, мистер Вудхауз, вас, с вашей непредвзятостью, вашей рассудительностью и вашими знаменитыми шуточками.

Спокойной ночи, Америка!

Спокойной ночи и ВАМ, мистер Пелем... Гренвил... Вудхауз.

Ивлин Во



П. Г. Вудхаузу: *поздравление и покаяние*

Выступление на Би-би-си (15 июля 1961 года; текст выступления был опубликован днем позже в газете “Санди таймс”)

Перевод Андрея Азова

В прошлом году, когда П. Г. Вудхаузу исполнилось семьдесят девять, американцы, склонные к широким жестам, заранее отпраздновали его восьмидесятилетие и преподнесли ему поздравительное письмо, подписанное известнейшими англоязычными писателями современности. Теперь, когда близится настоящий юбилей, можно и нам, бывшим его соотечественникам, приготовить свое торжественное поздравление, но сперва надо покончить наконец с одной давней нелепой тяжбой — забыть о ней и окончательно примириться.

Тем более что сейчас как раз круглая дата. Ровно двадцать лет назад, 15 июля 1941 года, на Би-би-си вышел отвратительный, пропитанный ядом “Постскриптум”, в котором прославленный писатель обвинялся в пособничестве врагу[1].

© The Estate of Evelyn Waugh, 1983. All rights reserved, used by permission of The Wylie Agency (UK) Limited.
© Андрей Азов. Перевод, 2012

1. Восемью годами ранее, в письме в “Дейли мейл” (24 ноября 1953 г.), Во писал, что Би-би-си должна “пригласить зачинщика того нападения на Вудхауза, чтобы он публично извинился перед ним”. (*Прим. Доната Галлахера, редактора сборника статей Ивлина Во, который использовался как источник текста для данного перевода.*)

Находясь в немецком плену, Вудхауз записал пять радиопередач, в которых рассказывал о своих злоключениях. Почти никто у нас в стране этих передач не слышал. Мы знали о них только то, что рассказал нам один журналист с подачи Министерства информации. По его словам, Вудхауз был игрок, "старый озорник", который остался во Франции веселиться, которого доктор Геббельс тайно готовил "для звездного выступления на арене предателей", который променял свою честь "на мягкую постель в роскошном отеле" и который "пал на колени и поклонился Гитлеру".

Из всего этого едва ли можно было понять, что же именно сказал Вудхауз. Единственная приписанная ему цитата была взята не из его передач и на поверку оказалась выдумкой американского газетчика. Кляня Вудхауза как предателя, нам приводили в пример героя, проявившего "истинное величие души". Кто же был этим образцом совершенства? Больно даже вспоминать то безумное время — им был Димитров, болгарский коммунист.

Нужно сразу сказать, что Би-би-си не виновато в этом выступлении. Попечительский совет Би-би-си единодушно выступил против него, а один из попечителей, который был, если не ошибаюсь, хорошо знаком с премьер-министром, лично обратился к нему с просьбой отменить решение Министерства информации, но их и слушать не стали. Этот случай дает нам ярчайший пример того, насколько опасен в руках политиков контроль над средствами массовой информации — контроль, который они получили во время войны и от которого, к счастью, с тех пор отказались.

"Постскриптум" не оказал того эффекта, на который рассчитывали. Кто-то из слушателей искренне поверил в то, что там говорилось, и возмутился до глубины души. Несколько разгневанных пилотов даже полетели бомбить дом Вудхауза в Ле-Туке, но по ошибке разбомбили что-то другое[1]. Сам я в то время занимался другими делами и передачу не слышал. Помню только то чувство стыда, которое испытал, когда друзья рассказали мне о ней, — стыда за то, что в своей официальной пропаганде мы скатились до методов нашего врага.

На Би-би-си и в газету "Таймс" посыпались письма с протестами, в числе которых был и протест нашего поэта-лауреа-

1. Готовя второе издание книги "Вудхауз за работой", исследователь творчества Вудхауза Ричард Асборн попытался разыскать источник этой истории, но в конце концов пришел к выводу, что она выдумана (R. Usborne. Shooting Down a Wodehouse Story // Evening Standard, 12 November 1975). (*Прим. Д. Галлахера.*)

та[1], занимавшего в то время пост председателя Британского общества писателей. Все, кто что-нибудь знал о Вудхаузе, хорошо понимали, что никакой он не игрок и не "озорник", а один из самых трудолюбивых писателей современности. Мы помнили, что во время разгрома Франции правительство упрашивало мирное население оставаться на месте, чтобы не мешать отступающим войскам. А затем оказалось, что и за "мягкую постель", на которую Вудхауз в своем возрасте, безусловно, имел право, платил вовсе не доктор Геббельс, а сам писатель — из гонораров за переводы своих книг.

Еще до того как открылась правда, большинство соотечественников Вудхауза отказывались верить, что он перешел на службу к Гитлеру. Но многие из наиболее преданных его сторонников служили в армии и открыто выразить свое возмущение не могли. Доносились протестующие возгласы университетских профессоров и писателей, однако они не были совершенно единодушны в своем мнении, и — примета того убогого времени — те немногие, кто был на стороне обвинения, руководствовались не патриотизмом, а классовой солидарностью. Журналист, выступавший в "Постскриптуме", произнес полное имя Вудхауза с особым нажимом, давая понять, что слишком уж оно аристократическое. К тому же Вудхауз (как когда-то Шекспир) брал себе в герои представителей высшего класса и их прислугу. Автор одного письма в газету вздумал перенести травлю с писателя на его героев, "скучающих богачей", которых он назвал "питательной средой для фашизма". "Во всех героях Вудхауза живет зародыш фашистского мировоззрения", — продолжал он. Мысль о мистере Муллинере или лорде Эмсворте как о будущих Эйхманах[2] слишком смехотворна и вряд ли заслуживала бы упоминания, не будь она характерным симптомом того больного времени.

Во время последней войны в Англии, как и в других странах, предпринимались попытки превратить народную борьбу за выживание в пролетарскую революцию и сделать врагов из собственных правящих классов. А вот настоящего нацистского пропагандиста, выступавшего по радио на английском языке, сейчас мало кто помнит. Его грубоватый акцент был ничуть не похож на язык английской знати, но те, кто отвечал за

1. Речь идет о Джоне Мейсфилде (поэт-лауреат с 1930-го по 1967 г.). (*Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, – прим. перев.*)
2. Не потому ли Ивлин Во упоминает здесь Адольфа Эйхмана, что годом раньше Моссад вывез Эйхмана из Аргентины в Израиль, а само выступление Во совпало по времени с громким судебным процессом над Эйхманом?

наш боевой дух, настойчиво называли его лордом Хо-Хо[1]. Пропагандистская атака на Вудхауза полностью отвечала интересам тех, кто пытался уличить аристократию в измене. Следует, однако, заметить, что, когда в 1944 году поступило чудовищное предложение предать Вудхауза суду, два социалиста, Джордж Оруэлл и Малкольм Маггеридж, были, к чести своей, среди первых и самых влиятельных его защитников.

Только в 1954 году, когда в октябрьском и ноябрьском номерах журнала "Энкаунтер" опубликовали текст злосчастных берлинских передач Вудхауза, мы смогли, наконец, воочию убедиться, что его друзья были правы: выступая по немецкому радио, он ни словом не обмолвился ни о политике, ни о Гитлере, ни о нацистской системе вообще. Самое лестное, что он сказал о наших врагах, — это что они такие же люди, как и мы: не какие-то особые, выдающиеся, приятные — а просто люди. Со своим неповторимым юмором он откровенно рассказывал обо всех своих приключениях, начиная с того, как победившая армия вошла в Ле-Туке, и кончая заключением в лагерь для интернированных, где его выбрали директором лагерной библиотеки и он смог продолжать работу над своими романами. Если не считать этой должности, на которую его выбрали сами же заключенные, никаких других льгот ему предоставлено не было. Скитаясь по Европе под надзором тупых и исполнительных бюрократов, он с восхитительной стойкостью и юмором переносил лишения, которые сломили бы человека вдвое моложе его. Когда весь мир взирал на немецкую армию как на неодолимую машину, он описывал неразбериху в ее тылах. Он рассказывает, как после ежедневных бессмысленных построений и бесконечных пересчетов один из пленных сказал, что после войны непременно купит немецкого солдата, поставит во дворе и будет устраивать ему порки.

Передачи Вудхауза не предназначались для того, чтобы возбудить у слушателей уважение или, наоборот, ненависть к немцам. В этом, с точки зрения официальной пропаганды тех лет, и состояло его преступление. С его слов получалось, что пленники придумали своим тюремщикам смешные и в чем-то даже ласковые прозвища: "Плуто, Розанчик, Джинджер и Дональд Дак", — и что, как и большинство военнопленных, они нашли себе скромные развлечения. Наши правители, однако — так же как и наши враги, — изо всех сил старались разжечь в нас нена-

1. Лордом Хо-Хо сначала назвали Нормана Бейлли-Стюарта за его подчеркнуто аристократический выговор, а затем это прозвище перенесли на Уильяма Джойса, который сменил Бейлли-Стюарта в качестве главного нацистского пропагандиста. (*Прим. Д. Галлахера.*)

висть. Они, несомненно, предпочли бы, чтобы мы думали, будто весь немецкий народ состоит из ничуть не похожих на нас чудовищ. И то, что позиция Вудхауза отклонялась от этой партийной линии, истолковывалось как "поклонение Гитлеру".

Прошли годы. Конец Димитрова был гадок. А неизменно плодовитый П. Г. Вудхауз живет в почете и достатке, но, увы, уже не с нами, своими прежними соотечественниками. Зачем же теперь, двадцать лет спустя, ворошить эту давнюю историю государственной близорукости?

"Пора уже, наконец, считать это дело закрытым", — написал Джордж Оруэлл в 1944 году, но клевета живуча. *Казалось бы,* невиновность Вудхауза установлена. *Казалось бы,* справедливость восторжествовала. Но всегда находится подлец или невежда, который повторит гнусную ложь. Вновь и вновь за последние десять лет она просачивалась в газетные рецензии и сплетни. Поэтому я с большим удовольствием пользуюсь этой возможностью, чтобы от лица Би-би-си выразить отвращение к той клевете, которая столь бесчестным образом проникла в ее эфир и в которой она совершенно неповинна. Мистер Вудхауз, если вдруг вы слышите меня по ту сторону океана, я хочу сказать, что вы всегда были для меня образцом великодушия. Вы говорили, что познакомились с человеком, который двадцать лет назад нанес вам столь тяжкое оскорбление, и даже подружились с ним[1]. Пожалуйста, простите заодно и всех остальных, кто дурно о вас говорил и думал.

Ну а теперь, после сказанного, можно перейти к более приятной части моего выступления, а именно к поздравлению мистера Вудхауза с приближающимся восьмидесятилетием. Как человек на двадцать два года младше Вудхауза, я рос, озаренный его гением. К тому времени как я пошел в школу, все уже зачитывались его книжками; хорошо помню, как мой старший брат изображал Псмита. У меня одно время было полное собрание всех его сочинений, теперь, увы, частично разворованное. До сих пор я с неизменным предвкушением жду каждой новой его книги. И это не просто увлечение одинокого чудака — нас таких тысячи!

1. В 1953 г. по просьбе Уильяма Коннора Вудхауз встретился с ним. "Я угостил Коннора обедом, когда он был в Нью-Йорке, — писал Вудхауз потом своему другу Уильяму Тауненду, — и мы сошлись, как два матроса на берегу. К концу встречи мы были уже на 'ты' и, расставаясь, поклялись в вечной дружбе". Впоследствии, узнав, что Ивлин Во готовит на Би-би-си передачу к его юбилею, Вудхауз специально попросил его не слишком нападать на Коннора. Прислушавшись к этой просьбе, Во ограничился лишь разбором берлинских передач Вудхауза.

Первое, что приходит на ум, когда говоришь о творчестве П. Г. Вудхауза, это его общечеловечность. Обычно комедия долго не живет: мало что из написанного — кроме разве политической заказухи — бывает столь сиюминутно. Однако Вудхаузом зачитываются вот уже три поколения: в молодости он скрашивал мистеру Асквиту[1] минуты отдыха от государственных забот, а сейчас я вижу, как мои дети трясутся от хохота над теми же книгами. Вудхауз удовлетворяет и самый неприхотливый, и самый изысканный литературный вкус. Беллок, к полному недоумению Хью Уолпола, во всеуслышание объявил Вудхауза лучшим писателем современности[2]; Рональд Нокс, начитаннейший человек и тончайший стилист, восторгался им. И в то же время переводы Вудхауза чрезвычайно популярны среди норвежцев — народа, еще не выработавшего собственного литературного языка и, как они сами признают, не очень вникающего в тонкости диалогов, — они любят Вудхауза за его сюжеты. Известно, насколько привередливы в юморе американцы, которые меняют стиль своих шуток так же часто, как обои в квартире, — но и они продолжают читать Вудхауза.

В чем же секрет его бессмертия? Прежде всего, конечно, в литературном мастерстве, отточенном упорным трудом. В этом смысле он полная противоположность, например, спонтанному Рональду Фербанку, чьи непредсказуемые творения то вдруг находили горячий отклик у критики, то оставались в тени. Вудхауз с титаническим усердием кроит и перекраивает сюжеты. Может быть, мы и не узнали бы, сколько труда он в это вкладывает — он мало что из своей жизни выносит на всеобщее обозрение, — если бы в 1953 году, с одобрения Вудхауза, его школьный друг Уильям Тауненд не опубликовал их переписку, превратив ее в замечательную книгу "Цирковая блоха". Переписка охватывает тридцать лет творческой жизни Вудхауза и раскрывает перед нами его художественный метод. В ней мы видим человека, сосредоточенного — можно даже сказать помешанного — на выстраивании сюжетов.

1. Герберт Генри Асквит (1852–1928) — премьер-министр Великобритании с 1908 по 1916 гг.

2. В 1934 г., выступая по радио, английский писатель Хилэр Беллок назвал Вудхауза лучшим из ныне живущих английских писателей. В 1939 г., сразу после церемонии присуждения докторской степени в Оксфордском университете, Вудхауз встретился с популярным в то время писателем Хью Уолполом и вспоминает, что во время их совместной прогулки между ними состоялся такой разговор: "Уолпол спросил меня: 'Вы слышали, что про вас сказал Беллок?' — Я ответил, что слышал. — 'Почему бы он это сказал?' Я ответил, что не знаю. Долгое молчание. 'Странно все-таки', — сказал Хью. Я согласился, что действительно очень странно. Опять долгое молчание. 'Да, — сказал Хью, видимо, отыскав разгадку, — стареет Беллок, стареет'".

Большинство из нас наслаждается книгами Вудхауза в первую очередь за их изумительный язык, но для самого автора язык, оказывается, был делом второстепенным. Либо владение словом пришло к нему само собой — необъяснимый дар, подобный знаменитым полетам Нижинского[1], — либо в этом отношении он был настолько уверен в себе, что ни о каких затруднениях не сообщал. Из его писем выходит, что он работал именно над тем, ради чего его сейчас читают норвежцы, — над сюжетом.

Он много писал для театра и привык мыслить произведения как последовательность сменяющих друг друга действий. Каждый выход героя на сцену и уход с нее должен быть тщательно продуман. В письме 1924 года он говорит: "Я смотрю на своих героев как на живых, оплачиваемых актеров... А крупные актеры не потерпят, чтобы их выводили на сцену, только для того чтобы подыграть второстепенным персонажам, — и я не думаю, что это от тщеславия... Они сопротивляются, потому что это нечестно".

А в письме 1937 года он рассказывает:

Кажется "Сатердей ивнинг пост" покупает мой роман[2], но в редакции просят сократить начало. "Слишком много пауз. Несценично", — говорит Брандт[3]. И когда я начал перечитывать роман, я понял, что они правы. Вот как у меня развивался сюжет: 1) Берти навещает тетю Далию; 2) она поручает ему купить цветы для больной тети Агаты; 3) Берти возвращается в свою квартиру, звонит тетя Далия и говорит, что забыла сказать ему еще об одном деле, для которого надо будет зайти в антикварную лавку; 4) Берти идет купить цветы и попадает в передрягу; 5) он возвращается к себе и плачется Дживсу в жилетку; 6) потом он идет в антикварную лавку и снова попадает в передрягу. И представляешь, я ведь раз двадцать все это переписывал и только сейчас понял, что надо было сделать так: 1) Берти навещает тетю Далию, и она посылает его в антикварную лавку; 2) Берти идет туда и сначала играет в сцене, которая должна была произойти в цветочном магазине, а потом в той, которая предназначалась для антикварной лавки. Это экономит мне пятнадцать страниц, и ничего важного не теряется. Не правда ли, ужасно делать такие ошибки, когда вот уже тридцать семь лет работаешь писателем? Никак не могу себе объяснить, за-

1. Танцор Вацлав Фомич Нижинский (1889—1950), выступавший в начале XX века, изумлял своими длинными высокими прыжками с долгим зависанием в воздухе. Родилась даже версия, что он, сам того не зная, овладел начатками левитации.
2. "Фамильную честь Вустеров".
3. Эрдман Ноймейстер Брандт (1893—1966) был редактором в "Сатердей ивнинг пост".

чем я тащил Берти в квартиру, где ровным счетом ничего не происходит. На переписывание ушло пять дней напряженной работы.

Это письмо — типичный пример не только трудолюбия великого мастера, но и его скромности. Писатели обычно люди избалованные и обидчивые, они не любят критику, а тем более чьи-нибудь указания. Вудхауз не очень-то жалует профессиональных критиков и правильно делает, поскольку, как я убедился на собственном опыте, его книги практически невозможно рецензировать. Можно написать целую диссертацию о его замечательной писательской манере, но мало что можно сказать об очередной его книге, кроме как разве что радостно огласить факт ее появления.

Славу Вудхаузу создали не критики, а сами читатели. Но Вудхауз — профессионал, который старается удовлетворить своих клиентов, а клиентами он считает тех, кто выписывает ему чеки, то есть редакторов и издателей. Это скорее американский, чем европейский подход: мы, европейцы, смотрим на редакторов и издателей как на неизбежных — хоть часто и довольно милых — посредников между нами и читателями. Мы привыкли сами заботиться о своей репутации. А американские редакторы считают себя работодателями, и из-за этого возникает много острых конфликтов, когда писатели из Европы хотят напечатать свои произведения в Новом Свете. Вудхауз никогда не жаловался на то, что в Европе считалось бы редакторским произволом. Напротив, он полагал, что американские журналы выигрывают перед европейскими как раз благодаря властному вмешательству редакторов:

Практически каждый английский журнал готов купить любую чепуху, лишь бы ее написал какой-нибудь известный писатель. "Сатердей ивнинг пост" был чертовски хорош, потому что с Лоримером[1] такой номер не проходил... Босс, конечно, был тираном, но, Господи, какой же он был толковый редактор! Он всех держал в ежовых рукавицах. У меня там по частям вышел двадцать один роман, но я никогда не чувствовал уверенности в том, что мой очередной роман будет опубликован, пока не получал телеграмму со словами, что его одобрил Лоример.

В своей переписке Вудхауз предстает скорее трудолюбивым ремесленником, а не прирожденным художником. О его

1. Джордж Хорас Лоример (1867—1937) — бессменный главный редактор журнала "Сатердей ивнинг пост" с 1899-го по 1936 г.

стиле (в противоположность работе над композицией) лишь мимоходом упоминается в письме 1946 года, где, жалуясь на сбавившийся к старости темп, он говорит: "Я замечаю, что у меня появилась привычка, написав смешную фразу, добавить для пояснения другую, хотя она совершенно не нужна. Я ежедневно перечитываю то, что написал, постоянно натыкаюсь на эти лишние фразы и нещадно их вымарываю". Но секрет волшебства — как получаются смешные фразы — Вудхауз не раскрывает.

Как видно из процитированных мною отрывков, стиль вудхаузовских писем заметно отличается от стиля его художественных произведений. Я думаю, его изумительная дикция, столь же естественная, как пение соловья, свидетельствует об истинном поэтическом вдохновении. Сомневаюсь, что сам Вудхауз знает, откуда это берется и как у него это получается; где бы он ни был — в роскошном гостиничном номере или в тюремной камере — он способен отгородиться от всего и писать словно под диктовку своего ангела.

Можно с точностью датировать, когда его впервые осенил священный огонь. Это произошло в середине романа "Майк", изданного в 1910 году. Коллекционеры дорожат самыми ранними книгами Вудхауза, но по ним совершенно невозможно угадать масштаб его дарования. А потом, в 31-й главе "Майка", выходившего в журнале "Капитан" и начинавшегося как забавная, но вполне обыкновенная школьная проза, вдруг появляется Псмит, и вспыхивает пламя, которое горит — все ярче и ярче — вот уже полвека. Псмит — не самое выдающееся детище Вудхауза, но зато самое первое, и охота за испачканным ботинком, которую ведет мистер Даунинг в 49–51-й главах "Майка", стала одной из лучших сцен в юмористической литературе. Интересно, понимал ли тогда сам Вудхауз, что он перешел таинственный Рубикон?

Подозреваю — хотя, конечно, сам от него этого не слышал, мы не настолько хорошо знакомы, — что знаменитая скромность Вудхауза объясняется не только его замечательным характером, но истинным непониманием своего превосходства над другими писателями из "Сатердей ивнинг пост", которых тоже "одобрил Лоример". Мне кажется, он сам не отличает своих искусственных персонажей, вроде Акриджа, от вдохновленных гением, вроде Берти Вустера. Наверное, в том и суть вдохновения, что писатель не знает, как оно работает. Думаю, Вудхауз до сих пор не может объяснить себе, за что так благоговеют перед ним ценители английской прозы. Он совершенно растерялся, когда ему присуждали почетную докторскую степень в Оксфорде — настолько, что потом даже

путался, вспоминая, в Оксфорде это было или в Кембридже. Когда Шон О'Кейси назвал его цирковой блохой английской литературы, Вудхауз сказал: "Я принимаю это как комплимент: все цирковые блохи, которых мне доводилось видеть, поражали меня своим артистизмом, безукоризненной техникой и еще чем-то неуловимым, без чего не бывает хорошего актера", — и даже использовал фразу О'Кейси как заглавие книги, отрывки из которой я цитировал. Но восхищаемся мы им не за то, что он "хороший актер", не за "артистизм" и даже не за "безукоризненную технику", а за "что-то неуловимое", без чего не бывает хорошего поэта и от чего, если воспользоваться знаменитым образом Хаусмена, аж волоски на щеках во время бритья встают дыбом[1].

Пару лет назад один молодой и задиристый критик прилюдно опозорился, заявив, что Вудхауз "не современен". Но дело в том, что он никогда и не был *современен* в том смысле, в каком понимал это слово молодой критик. Герои Вудхауза существуют *вне* времени, в удивительном мире, населенном странными обитателями, подобно героям "Сна в летнюю ночь" или "Алисы в Стране чудес".

Я тут говорил, что Вудхауз писал про людей из высших классов и их слугах. Это нуждается в уточнении. Среди героев трех его крупных циклов лорд Эмсворт принадлежит к аристократии, мистер Муллинер к среднему классу, а Вустер — к той особой среде, где сытое безделье прихотливым образом сочетается с отчаянным безденежьем. Никто из них не относится к какому-то конкретному историческому периоду. Они не реликты эдвардианской эпохи, как наивно полагают некоторые, — они создания чистой фантазии, и под словом "чистой" я имею в виду в том числе "целомудренной". Конечно, Вудхауз, как и всякий другой, знал, каковы на самом деле любовные похождения молодых богатых холостяков в Лондоне. Но его "юноши в гетрах" стремятся к идеальной, рыцарской любви. Само слово "гетры" отсылает нас в область фантастического: вот уже лет сорок как никто их не носит. Их, однако, продолжают носить в клубе "Трутни", который — со своим плавательным бассейном, курительными концертами[2] и взбалмошными завсегдатаями, вечно клянчащими друг у друга по пять фун-

1. "Я по опыту знаю, что, бреясь, мне лучше следить за своими мыслями, поскольку, если в память ко мне забредает поэтическая строка, волоски на моей коже встают дыбом, так что бритва с ними уже не справляется". (А. Э. Хаусмен "Имя и природа поэзии".)

2. Популярные в викторианскую эпоху музыкальные выступления перед мужской аудиторией, во время которых слушателям разрешалось курить и разговаривать.

тов, — не имеет отношения ни к одному настоящему лондонскому клубу. В юности Вудхауз состоял в клубе "Бакмастер" и хорошо знал, как на самом деле разговаривала тогда молодежь. Трутни говорят иначе: их язык не звучал в устах ни одного живого человека — все это от начала и до конца продукт вымысла или, лучше сказать, вдохновения самого Вудхауза.

Вудхаузовские герои способны на страстную любовь. Лишь иногда их благородство омрачается меркантильным желанием найти богатую наследницу. Им незнакомо прелюбодейство, хотя они и подвержены большинству других слабостей. Они могут напиться. Раскричаться. Украсть. Совершить поджог. Похитить человека. Прибегнуть к шантажу. Они даже опускаются до рукоприкладства: не так уж редко герои и злодеи — и даже полицейские — получают у Вудхауза чем-нибудь тяжелым по голове. То тут, то там снуют преступники, но это не те чудовища, которыми изобилует современная литература или тем более современная жизнь. Во множестве присутствуют ужасные тетушки, но это не тетки Саки-Манро. Какими бы ни были вудхаузовские персонажи, все они, даже самые отрицательные, живут в первозданной райской невинности.

Для Вудхауза не существовало грехопадения человека, этого "древнейшего бедствия", как назвал его кардинал Ньюмен. Ни один из его героев не пробовал запретного плода. Они всё еще живут в Эдеме. Сады Бландингского замка — это тот самый райский сад, из которого нас изгнали. Повар Анатоль готовит амброзию для олимпийских богов. Идиллический мир Вудхауза никогда не устареет. Он будет освобождать всё новые и новые поколения из плена, возможно даже худшего, чем наш. Вудхауз создал для нас целый мир, где можно жить и радоваться.

Мистер Вудхауз, когда через три месяца наступит торжественный день вашего восьмидесятилетия, знайте, что ваши прежние соотечественники будут думать о вас с любовью и глубочайшей благодарностью.

Джордж Оруэлл

В *защиту* П. Г. Вудхауза

Перевод Андрея Азова

Джордж Оруэлл познакомился с Вудхаузом в 1944 году в Париже, где, по воспоминаниям Вудхауза, угостил его обедом. Последовала переписка, по итогам которой Оруэлл написал эссе "В защиту П. Г. Вудхауза", впервые напечатанную в июльском номере лондонского журнала "Уиндмилл" в 1945 году.

Совершив ранним летом 1940 года прорыв через Бельгию, немцы, в числе прочего, захватили мистера П. Г. Вудхауза, который, несмотря на разразившуюся войну, оставался жить в своем домике в Ле-Туке и, кажется, до самой последней минуты полагал, что находится в полной безопасности. Говорят, когда его уводили в плен, он сказал: "Ну, теперь я, наверное, напишу что-нибудь серьезное". Но сначала его какое-то время держали под домашним арестом, и, как видно из его последующих сообщений, обходились с ним довольно дружелюбно: немецкие офицеры, расквартированные по соседству, часто "забегали помыться и перекусить"[1].

© by George Orwell
© Андрей Азов. Перевод, 2012

1. В письме Уильяму Тауненду от 18 апреля 1953 г. Вудхауз жаловался: "Со слов Оруэлла можно подумать, что я прямо-таки *зазывал* этих чертовых немцев мыться в моей ванне. На самом деле все обстояло совершенно иначе. К концу второй недели оккупации в соседний дом набились солдаты из немецкого стройбата, и они, похоже, спутали меня с теннисоновским сэром Вальтером Вивьеном, который, как известно, "был гостелюбив и на своих лужайках в летний день охотно привечал любого..." Наверное, любителю немецких стройбатовцев приятно было бы слушать, как они горланят у него в ванной, но меня это совершенно не устраивало. Я возмутился, да только не очень-то мне это помогло: назавтра они пришли снова и привели с собой друзей". (*Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, – прим. перев.*)

Год спустя, 25 июня 1941 года, пришло известие, что Вудхауза освободили и что он живет в берлинском отеле "Адлон". Днем позже общественность с изумлением узнала, что он согласился выступать на немецком радио с передачами "неполитического" характера. Тексты этих передач сейчас найти непросто, но, кажется, всего их было пять, в период между 26 июня и 2 июля, а затем немцы сняли Вудхауза с эфира. Первая передача, вышедшая 26 июня, не была подготовлена на фашистском радио: она представляла собой интервью с Гарри Фленнери, одним из берлинских корреспондентов радиовещательной компании "Коламбия бродкастинг систем". Кроме того, в журнале "Сатердей ивнинг пост" вышла статья Вудхауза, которую он написал еще в лагере для интернированных[1].

В статье и в передачах Вудхауз большей частью говорил о том, что пережил в лагере, но попадаются там и отдельные, очень немногочисленные, высказывания о войне. Вот типичные примеры:

Я всегда был далек от политики и совершенно не способен ни на какие воинственные чувства. Только я готов разозлиться на какую-нибудь страну, как встречаю порядочного человека оттуда. Мы с ним выпиваем, и всякие мысли о войне улетучиваются.

Недавно на плацу они ко мне присмотрелись и, кажется, все поняли: по крайней мере, отправили нас в местный сумасшедший дом. Я пробыл там сорок две недели. Жилось там во многих отношениях вполне сносно. Вообще, жизнь в лагере имеет свои преимущества. Там не бегаешь по кабакам и остается время для чтения. Главный же недостаток состоит в том, что подолгу не бываешь дома. Когда поеду обратно к жене, надо бы на всякий случай запастись рекомендательным письмом и к ней.

До войны я скромно гордился принадлежностью к английской нации и считал, что, родившись в Гилдфорде, графство Суррей, проявил удивительное в столь нежном возрасте благоразумие. Теперь, прожив несколько месяцев в здешней кладовке для англичан, я несколько порастерял былую уверенность... Я прошу от Германии только одной уступки: пусть она выдаст мне хлеба и скажет джентльмену с ружьем у ворот лагеря отвернуться; все остальное я беру на себя.

За это я готов передать ей Индию, полное собрание моих сочинений с автографом и тайный рецепт приготовления картофель-

1. См. в настоящем номере П. Г. Вудхауз. Моя война с Германией, с. 91.

ных ломтиков на обогревателе, ведомый только двоим: интернированному Артуру Гранту и мне. Предложение действительно до следующей среды[1].

Первый из приведенных отрывков вызвал большой скандал. Вудхауза также стыдили за фразу "независимо от того, победит Англия или нет" из интервью с Фленнери, — и он лишь усугубил свое положение, описав по радио нечистоплотность бельгийских пленных, вместе с которыми находился в лагере. Немцы записали эту передачу и несколько раз ее повторяли. Они, кажется, почти не следили за тем, что он говорил, и разрешали ему не только смеяться над тяготами заключения, но и произносить фразы типа "В лагере в Тросте[2] все горячо верят, что в конце концов Англия победит". В целом же из этих передач следовало, что немцы обращались с ним неплохо и что он не держит на них зла.

В Англии тут же последовал взрыв негодования. Были дебаты в Парламенте, злобные статьи в прессе и потоки писем от писателей, почти все обвинительные; правда, нашлась среди них пара писем с советами не судить раньше времени и еще несколько с предположением, что Вудхауз просто не понимает, что делает. Пятнадцатого июля на канале Внутренней службы "Би-би-си" вышел разгромный "Постскриптум" некоего *Кассандры* из "Дейли миррор": по его словам, Вудхауз "продал собственную родину". В этом постскриптуме прозвучали слова "предатель" и "поклонник фюрера". Главное обвинение состояло в том, что Вудхауз купил себе свободу, согласившись помогать немецкой пропаганде.

Несмотря на сдержанный протест против "Постскриптума", он еще сильнее распалил общественное негодование. В частности, во многих библиотеках книги Вудхауза стали изымать из открытых фондов. Вот пример типичной газетной заметки того времени:

> На следующий же день после выступления Кассандры, журналиста из "Дейли миррор", городской совет Портадауна (Северная Ирландия) распорядился изъять книги П. Г. Вудхауза из городской публичной библиотеки. Мистер Эдвард Маккан сказал, что Кассандра развеял всякие сомнения. Вудхауз больше не смешон.
>
> *Дейли миррор*

1. Перевод Е. Доброхотовой-Майковой. См. в настоящем номере, с. 93.
2. Оруэлл пишет по памяти и поэтому ошибочно называет Тост Тростом. Сейчас это польский город Тошек.

На Би-би-си запретили пускать в эфир песни на слова Вудхауза (запрет сохранялся не один год). И даже в декабре 1944 года в Парламенте всё еще требовали, чтобы Вудхауза судили как изменника родины.

Есть такая старая пословица: если долго кидать в стену грязью, что-нибудь да прилипнет. К Вудхаузу грязь прилипла весьма своеобразным образом. Создалось впечатление, что Вудхауз в своих радиопередачах (хотя никто уже и не помнил, что́ он там говорил) показал себя не просто изменником родины, а идеологическим сторонником фашизма. Уже тогда в нескольких письмах в газеты говорилось, что в его книгах можно найти "фашистский уклон", и впоследствии это обвинение повторялось. Я постараюсь проанализировать идеологию его книг, но для начала надо понять, что события 1941 года не уличают Вудхауза ни в чем, кроме глупости. Что действительно интересно — это почему он так глупо поступил. Когда Фленнери в июне 1941 года встретился с Вудхаузом (выпущенным из лагеря, но еще не получившим полную свободу) в отеле "Адлон", то тут же понял, что имеет дело с политическим простаком и, готовя его к эфиру, предостерег от крайне неудачных заявлений, одно из которых можно было истолковать как антирусское. Тем не менее фраза "победит Англия или нет" прошла в эфир. Вскоре после интервью Вудхауз сказал ему, что собирается выступать на немецком радио, по-видимому, не считая, что этот его поступок может иметь какое-то особое значение. Вот как Фленнери это комментирует[1]:

Тогда мне стал понятен заговор вокруг Вудхауза. Это была одна из лучших операций нацистской пропаганды за все время войны: первая, в которой было хоть что-то человеческое... Плак (помощник Геббельса) съездил в лагерь под Глейвицем поговорить с Вудхаузом, обнаружил, что тот совершенно не разбирается в политике, и тут его осенило. В обмен на освобождение из лагеря он предложил Вудхаузу написать цикл радиопередач о своем заключении, с которыми тот сам бы и выступил по радио без всякой цензуры. Этим своим предложением Плак показал, как хорошо понимает Вудхауза. Он знал, что в своих книгах Вудхауз высмеивает англичан, что он все еще живет в том времени, о котором писал, и понятия не имеет ни о каком нацизме. Вудхауз был сам себе Берти Вустер.

Сделка между Вудхаузом и Плаком — это, кажется, всего лишь домысел Фленнери: договоренность могла быть далеко

1. Harry Flannery. Assignment to Berlin. — London: Michael Joseph, 1942. (*Прим. Оруэлла.*)

не столь конкретной. Если судить по самим радиопередачам, то Вудхауз прежде всего хотел подать весточку своим читателям, ну и кроме того — как любой юморист, — посмеяться. Совершенно очевидно, что текст передач писал не квислинг вроде Эзры Паунда или Джона Эмери и даже, видимо, вообще не человек, способный понять, что такое квислинг. Фленнери предупреждал Вудхауза, что не стоит выступать на немецком радио, но отговаривал его не слишком настойчиво. Как отмечает Фленнери, хотя Вудхауз в одной передаче и называет себя англичанином, он скорее считал себя гражданином Америки. Одно время он собирался получить американское гражданство, но так и не подал необходимые документы. Он даже сказал Фленнери: "Мы ведь не воюем с Германией".

Передо мной лежит перечень книг П. Г. Вудхауза. Он насчитывает около пятидесяти наименований, хотя, конечно, неполон. Признаюсь откровенно: многие из них (наверное, четверть или треть) я не читал — не так-то просто прочесть все книги популярного писателя, которые обычно выходят в дешевых изданиях. Но я довольно пристально следил за Вудхаузом, начиная с 1911 года, когда мне было восемь лет, и мне хорошо знакома та особая умственная атмосфера его произведений, которая не то чтобы совсем не менялась, но, по крайней мере с 1925 года, менялась мало. В вышеприведенной цитате из книги Фленнери есть два утверждения, которые тут же бросаются в глаза любому внимательному читателю Вудхауза. Первое состоит в том, что Вудхауз "все еще живет в том времени, о котором писал", а второе — что нацистское Министерство пропаганды использовало его потому, что он "высмеивает англичан". Второе утверждение основано на ошибке, на которой я еще остановлюсь. Зато первое утверждение Фленнери полностью соответствует действительности и отчасти объясняет поведение Вудхауза.

Мы часто забываем, сколько лет прошло, с тех пор как были написаны самые известные романы П. Г. Вудхауза. Нам кажется, что он изображает глупость двадцатых-тридцатых годов, но на самом деле сцены и персонажи, которыми он главным образом известен, появились до 1925 года. Псмит впервые предстал перед светом в 1909 году, а его отдельные черты видны у более ранних героев школьных рассказов. Бландингский замок, где живут Бакстер и лорд Эмсворт, возник в 1915 году. Дживсо-вустерский цикл начался в 1919 году, причем как Дживс, так и Вустер действовали и раньше. Аккридж появился в 1924 году. Если просмотреть список произведений Вудхауза, то в нем можно выделить три довольно отчетливых периода. Первый — это период произведений о школе:

сюда относятся такие книги, как "Золотая бита", "Охотники за призами" и проч.; наиболее удачная из них — "Майк" (1909). Сюда же относится вышедший годом позже роман "Псмит в Сити", хотя он уже и не про школьную жизнь. Далее следует американский период. Вудхауз прожил в Соединенных Штатах примерно с 1913-го по 1920 год и на время совершенно обамериканился — это проявилось и в его языке, и во внешности. Некоторые рассказы из сборника "Левша на обе ноги" (1917) написаны под ощутимым влиянием О. Генри, да и в других книгах того времени присутствуют американизмы (например, слово "хайбол" в значении "виски с содовой"), которые ни один английский писатель не будет использовать в авторской речи. Тем не менее почти во всех книгах этого периода: "Псмит-журналист", "Золотце ты наше", "Несокрушимый Арчи", "Джим с Пиккадилли" и прочих — Вудхауз для достижения комического эффекта играет на *контрасте* между английскими и американскими нравами, когда английские герои попадают в Америку или наоборот. Есть некоторое количество чисто английских рассказов, но вряд ли найдется хоть один чисто американский. Третий период можно назвать усадебным. К началу 1920-х Вудхауз уже зарабатывал большие деньги, и общественное положение его героев также повысилось (своеобразное исключение представляют рассказы об Акридже). Теперь действие происходит уже в загородном особняке, в роскошной холостяцкой квартире или в дорогом гольф-клубе. Уходит школьный атлетизм ранних книг, крикет и футбол уступают место гольфу, заостряются комизм и фарс. Безусловно, большинство книг этого периода, вроде "Летней грозы", относятся скорее к легкой комедии, чем к откровенному фарсу, но в них уже нет тех попыток искреннего морализаторства, которые встречались в более ранних произведениях, таких как "Псмит-журналист", "Золотце ты наше", "Пришествие Билла", "Левша на обе ноги" и некоторые школьные рассказы. Майк Джексон превратился в Берти Вустера. Это, впрочем, не слишком удивительное превращение; наоборот, удивляет, что сам Вудхауз за все эти годы *нисколько не переменился*. Уже в "Золотой бите" или "Сент-остинских рассказах", написанных в самом начале века, ощущается знакомая атмосфера. О том, насколько стереотипной стала манера его письма, можно судить хотя бы по тому, что все шестнадцать лет до заключения в немецкий лагерь он продолжал писать об Англии, хотя жил то в Голливуде, то в Ле-Туке.

"Майк", ставший теперь библиографической редкостью, — это, пожалуй, одна из лучших юмористических книг о школе в английской литературе. Но хотя описанные в ней со-

бытия смехотворны, это вовсе не сатира на английские частные школы, а "Золотая бита", "Охотники за призами" и т. д. — тем более. Вудхауз получил образование в Далвич-колледже, затем работал в банке и вышел в писатели через дешевую журналистику. Очевидно, что, питая отвращение к скучной работе и неуютному окружению, он еще долгие годы оставался мыслями в своем колледже. В ранних рассказах он весьма обстоятельно смакует радости школьной жизни (матчи между колледжами, помыкание малышней, чай у камина и т. д.) и без малейших колебаний принимает школьный кодекс чести. Частная школа, где учатся герои Вудхауза, зовется Рикин; она несколько более престижна, чем Далвич-колледж, и кажется даже, что за время между "Золотой битой" (1904) и "Майком" (1909) она становится еще дороже и еще дальше удаляется от Лондона. Из всей ранней прозы Вудхауза больше всего о психологии автора говорит "Псмит в Сити". Отец Майка Джексона внезапно разоряется, и восемнадцатилетний Майк, как некогда сам Вудхауз, вынужден за гроши работать мелким банковским служащим. В тот же банк на ту же должность устраивается Псмит — правда, не из финансовой нужды. "Псмит в Сити" (как и "Псмит-журналист") необычен тем, что здесь проявляется определенная политическая позиция: Псмит зовет себя социалистом — что в его (и, несомненно, в вудхаузовском) понимании означает не придавать значения классовым различиям, — один раз он вместе с Майком ходит на митинг на Клэпем-коммон, а затем идет пить чай к пожилому оратору-социалисту, чья отнюдь не нищая лачуга изображена вполне достоверно. Но главное — Майк в этом романе никак не может отвыкнуть от школьной атмосферы. Он без особого желания поступает на работу и мечтает не о том, как бы найти себе другое, более интересное и полезное занятие (чего можно было бы ожидать), а о том, чтобы просто играть в крикет. Подыскивая себе комнату, он решает поселиться в Далвиче, поблизости от школы, чтобы слышать приятный стук мяча о биту. Кульминация наступает, когда Майку выпадает шанс сыграть за сборную графства: ради этого он бросает работу. Здесь важно то, что Вудхауз сопереживает Майку и даже идентифицирует себя с ним; Майк для Вудхауза — это, несомненно, то же, что Жюльен Сорель для Стендаля. Но и после Майка Вудхауз продолжал создавать похожих друг на друга героев. Сквозь книги этого и следующего периода проходит череда юношей, которым для жизни достаточно только спорта и игры. Вудхауз практически не способен придумать своему герою желанную работу. Лучше всего, чтобы герой родился в богатой семье, а если не сложилось — то чтобы нашел себе не-

пыльное доходное местечко. Например, герой "Чего-нибудь этакого" (1915) из скромного журналиста становится личным врачом и тренером больного миллионера, и это считается продвижением как в финансовом, так и в нравственном отношении.

В книгах третьего периода нет ни авторского самолюбования, ни серьезных отступлений, однако перемены в общественном положении и нравственном состоянии героев гораздо менее значительны, чем может показаться на первый взгляд. Если сравнить Берти Вустера с Майком или даже с мальчишками, играющими в регби в самых первых школьных рассказах, то обнаружится, что Берти отличается от них только тем, что он богаче и ленивее. У него почти такие же идеалы, только достичь их он не в состоянии. Арчи Моффам из "Несокрушимого Арчи" (1921) занимает промежуточное положение между Берти и более ранними героями: он хоть и осел, но при этом честный, добрый, смелый и крепкий малый. Вудхауз все так же чтит неписаный школьный кодекс чести; правда, теперь заставляет своих персонажей нарушать его или соблюдать его против желания:

— Берти! Ты ведь не оставишь своего старого друга в беде?
— Еще как оставлю.
— Но ведь мы вместе учились в школе, Берти.
— Ну так что ж?
— В одной и той же школе, Берти, в одной и той же школе!
— Ну ладно, черт с тобой.

Берти, этот малодушный Дон Кихот, отнюдь не горит желанием сражаться с ветряными мельницами, но он и думать не смеет об отказе, если на кону его честь. Большинство героев Вудхауза, которых он хочет показать приятными людьми, на самом деле никчемные паразиты и порой к тому же полные дураки, но мало кого из них можно назвать безнравственными. Даже Акридж скорее романтик, чем простой мошенник. Наиболее безнравственный, или скорее вненравственный, персонаж у Вудхауза — Дживс: он выгодно оттеняет идеалистично настроенного Берти Вустера и воплощает распространенное среди англичан мнение, что ум и беспринципность одно и то же. Насколько тесно Вудхауз придерживается традиционной нравственности, можно судить хотя бы по тому, что в его книгах нет ни одной непристойной шутки — огромная жертва для писателя-комика. Причем мало того что у него нет сальностей, но едва ли найдутся даже компрометирующие ситуации; вообще, тема рогоносцев совершенно от-

сутствует. В его романах, конечно, есть сердечный интерес, но он никогда не покидает рамок легкой комедии: любовь с ее злоключениями и идиллическими сценами идет своим чередом, но, как говорится, "так ничего и не происходит". Примечательно, что Вудхауз, по природе своей автор фарсов, не раз выступал в соавторстве с Ианом Хэем, который (см. романы "Пип" и др.) любил потешаться над традицией "порядочных англичан", выставляя ее во всей своей нелепости.

В "Чем-нибудь этаком" Вудхауз открыл комический потенциал английской аристократии, и последовала череда смешных, но почти всегда обаятельных баронов, графов и прочей знати. Это произвело довольно любопытный эффект: за рубежом стали считать, что Вудхауз пишет едкие сатиры на английское общество. Отсюда и слова Фленнери о том, что "Вудхауз в своих книгах высмеивает англичан" — такое впечатление Вудхауз, видимо, и производил на немецких и даже американских читателей. Я обсуждал берлинские передачи Вудхауза с одним молодым индийским националистом, который горячо его защищал, будучи в твердой уверенности, что Вудхауз *действительно* перешел на сторону немцев, и одобряя его за это. К своему удивлению, я обнаружил, что мой собеседник считает Вудхауза антибританским писателем, который принес много пользы, показав истинное лицо английской аристократии. Вряд ли кто-нибудь из англичан допустил бы такую ошибку (яркий пример того, как книги, особенно юмористические, достигая зарубежных читателей, теряют нюансы смысла), ибо совершенно очевидно, что произведения Вудхауза *не направлены* против Англии или против аристократии — напротив, в них чувствуется безобидный и несколько старомодный снобизм. Как умный католик понимает, что богохульства Бодлера или Джеймса Джойса ничуть не вредят католической вере, так и опытный английский читатель понимает, что, создавая таких персонажей, как Гильдебранд Спенсер Пуант де Бург Джон Хэннесайд Кумби-Кромби, двенадцатый граф Дривер, Вудхауз вовсе не нападает на общественное устройство. В самом деле, ни один истинный ненавистник аристократии не стал бы столько о ней писать. К английской общественной системе Вудхауз относится так же, как к школьному кодексу чести: с легкой насмешкой, прикрывающей безусловное приятие. Граф Эмсворт смешон, потому что у настоящего графа должно быть больше достоинства, а беспомощный Берти Вустер, во всем зависимый от Дживса, смешон потому, что слуга не должен быть выше хозяина. Американский читатель может ошибочно принять этих двух — и других похожих на них — героев за издевательские карикату-

ры, потому что американский читатель часто англофоб, а герои Вудхауза совпадают с его представлениями о загнивающей аристократии. Берти Вустер, со своей тросточкой и в своих белых гетрах, — это типичный англичанин, хоть со сцены показывай. Но любому английскому читателю понятно: Вудхаузу Берти симпатичен. Вудхауз как раз грешит тем, что в его изображении люди высшего сословия получаются гораздо милее, чем они были на самом деле. Во всех своих книгах он старательно избегает определенных проблем. Его богатая молодежь — щедрые, общительные и незаносчивые люди; их тон унаследован от Псмита, который с виду аристократ, но преодолевает сословные границы, обращаясь ко всем со словом "товарищ".

В образе Берти Вустера есть еще одна важная черта — это его устарелость. Он придуман где-то около 1917 года, но принадлежит к еще более раннему времени: это — щеголь предвоенных лет, "орешек", как их тогда называли, вроде прославленного в песне "Орешка Гилберта", элегантный молодой человек, разгуливающий утром по Пиккадилли с тросточкой под мышкой и гвоздикой в петлице. К 1920-м годам такой щеголь был уже живым ископаемым. Весьма симптоматично и название книги Вудхауза, вышедшей в 1936 году: "Юноши в гетрах". Какие гетры в тридцать шестом году?! К тому времени они уже лет десять как вышли из моды. Но традиционный "орешек", "щеголь с Пиккадилли" *должен* носить гетры, точно так же, как опереточный китаец должен носить косичку. Писатель-юморист не обязан идти в ногу со временем, и, напав на золотую жилу, Вудхауз продолжал разрабатывать ее с упорством, дававшимся ему, несомненно, тем проще, что до немецкого плена он шестнадцать лет не ступал на английскую землю. Его представление о структуре английского общества сложилось до 1914 года, и представление это было наивным, традиционным и в глубине своей почтительным. Несмотря на долгие годы жизни в Америке, Вудхауз так до конца и не американизировался. Как я уже говорил, в книгах второго периода его творчества то и дело попадаются американизмы, но это лишь потому, что для британского уха Вудхауза они казались забавной диковинкой. Вудхауз любит ввернуть в высокопарную английскую фразу какой-нибудь прозаизм ("И с жутким невеселым смехом Стэнли Фиверстоунхо Акридж занял пять шиллингов и удалился в ночь"[1]) или какое-нибудь жаргонное словечко, и американизмы прекрасно подходили для этих

1. "Дебют Боевого Билсона". Перевод И. Гуровой.

целей. Однако он освоил этот прием еще до поездки в Америку, а перевранные цитаты из классиков, которыми он так любит пользоваться, были в широком ходу у английских писателей, начиная, по крайней мере, с Филдинга. Как отмечает Джон Хейвард[1], Вудхауз во многом опирается на английскую литературу, в первую очередь на Шекспира. Его книги, безусловно, ориентированы не на интеллектуалов, а на всех, кто получил традиционное школьное образование. Когда, например, он пишет, что некто вздыхает "как Прометей при виде знакомого коршуна, желающего пообедать", то ожидает от своих читателей знакомства с греческой мифологией. В молодости ему, по-видимому, нравились Джером К. Джером, Барри Пейн, Уильям Джекобс, Киплинг и Ф. Энсти, и он так и остался ближе к ним, чем к динамичным американским юмористам вроде Ринга Ларднера или Деймона Раньона. В своем радиоинтервью с Фленнери Вудхауз беспокоился, "сохранятся ли после войны те люди и та Англия, о которых я пишу", не сознавая, что они уже давно обратились в призраки. "Он продолжал жить в том времени, о котором писал", — говорит Фленнери, имея в виду, скорее всего, двадцатые годы. Но на самом деле это время было эдвардианской эпохой, и если Берти Вустер когда-нибудь и существовал, то он погиб около 1915 года.

Если мой анализ вудхаузовского мироощущения справедлив, то сразу становится очевидной несостоятельность и даже нелепость предположения, будто бы в 1941 году Вудхауз сознательно взялся помогать нацистской пропаганде. Да, *не исключено,* что к радиовыступлениям его побудило обещание досрочного освобождения (хотя его и так должны были выпустить через несколько месяцев, когда ему исполнялось шестьдесят лет), но он никак не мог сознавать, что этот его поступок нанесет ущерб британским интересам. Как я пытался здесь показать, нравственные принципы Вудхауза оставались на уровне школьника, а согласно школьному кодексу чести, предательство во время войны — самый непростительный грех. Но как он мог не понимать, что его выступления сыграют на руку нацистской пропаганде и обрушат шквал негодования на его собственную голову? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно принять во внимание два обстоятельства. Во-первых, полное отсутствие у Вудхауза (насколько можно судить по его опубликованным произведениям) какой-либо политической сознательности. Всякие разговоры о "фашистском уклоне" в его

1. John Hayward. P. G. Wodehouse // The Saturday Book, 1942. Насколько мне известно, это единственная большая критическая статья о Вудхаузе. (*Прим. Оруэлла.*)

книгах — полнейший вздор. После 1918 года у него вообще не было никакого "уклона". В его книгах можно найти лишь некоторое беспокойство по поводу классового неравенства и время от времени наивные и незлые упоминания о социализме. В сборнике "Сердце обалдуя" (1926) есть один дурашливый рассказ о русском писателе, навеянный, видимо, партийной борьбой в тогдашнем СССР, но упоминания о советской власти в нем исключительно шутливые и — учитывая время, когда это было написано, — не слишком враждебные. Дальше политические взгляды Вудхауза, похоже, не простирались. Насколько мне известно, он даже ни разу не написал слова "фашизм" или "нацизм". Для человека левых взглядов — да и вообще для любого "просвещенного" человека — выступление по нацистскому радио или любое другое сотрудничество с нацистами было бы одинаково немыслимо как во время войны, так и до нее, но это свойство мировоззрения, сложившегося почти что за десять лет идеологической борьбы с фашизмом. Вспомним, однако, что подавляющее большинство англичан оставались безучастными к этой борьбе до конца 1940 года. Абиссиния, Испания, Китай, Австрия, Чехословакия — весь этот длинный список преступлений либо вовсе остался незамеченным, либо смутно отразился в сознании как какие-то зарубежные распри, которые "нас не касаются". Чтобы легче было представить степень общественного невежества, напомню, что у обычного англичанина слово "фашизм" ассоциировалось в те годы только с Италией, и он очень удивлялся, когда вдруг слышал то же самое слово применительно к Германии. А из книг Вудхауза не видно, чтобы он был лучше осведомлен в политике или интересовался ей сильнее, чем большинство его читателей.

Кроме того, нужно помнить, что Вудхауз попал в плен ровно тогда, когда война еще только вступала в свою самую отчаянную фазу, а до этого (о чем мы сейчас склонны забывать) общее отношение к происходящим событиям было довольно вялым. Боевых действий почти не было, правительство Чемберлена теряло популярность, видные публицисты намекали, что нужно как можно скорее заключить мир, профсоюзы и комитеты лейбористской партии по всей стране принимали резолюции против войны. Впоследствии, конечно, все изменилось. Франция пала, наши войска едва успели убраться из Дюнкерка, Англия осталась одна, на Лондон посыпались бомбы, Геббельс объявил, что Англию "ждет нищета и разруха". К середине 1941 года англичане поняли, с кем имеют дело, и стали гораздо злее относиться к врагу, чем раньше. Но Вудхауз этот год провел в плену, где с ним довольно неплохо обращались. Он пропустил самый разгар войны и в 1941 году отно-

сился к ней так же, как в 1939-м. И он был такой не один: примерно в то же время немцы несколько раз сажали пленных англичан перед микрофоном, и некоторые из них высказывались, по меньшей мере, столь же неприлично, как и Вудхауз. На них, однако, никто не обратил внимания. И даже такой откровенный изменник, как Джон Эмери, вызвал меньшее возмущение, чем Вудхауз.

Но почему? Почему несколько глуповатых, но совершенно безобидных высказываний пожилого писателя вызвали такой взрыв негодования? Ответ, по-видимому, стоит искать в том, какими грязными средствами ведется пропагандистская война.

У радиопередач Вудхауза есть одна безусловно важная особенность: это время их выхода в эфир. Вудхауза освободили за пару дней до вторжения в СССР, когда верхушка нацистской партии уже не сомневалась, что оно произойдет. Было жизненно важно как можно дольше удерживать Америку от вступления в войну, и, действительно, примерно в это время Германия стала проявлять по отношению к США невиданное дружелюбие. Вряд ли немцы могли надеяться разбить СССР, Англию и США одновременно, но, если бы они быстро расправились с СССР (что они, собственно, и намеревались сделать), Америка не успела бы вмешаться. Освобождение Вудхауза, событие само по себе малозначимое, было неплохим способом задобрить американских изоляционистов: он был широко известен в Америке и, как полагали немцы, особенно любим среди англофобов за высмеивание глупых англичан, с их гетрами и моноклями. Посадив его перед микрофоном, немцы могли не сомневаться, что он так или иначе уронит престиж Англии, а освободившие его в то же время предстанут порядочными людьми, которые благородно обращаются со своими врагами. Таков, вероятно, был расчет, хотя сам факт, что Вудхаузу дали выступать лишь около недели, означает, что он не оправдал ожиданий.

У англичан тоже был свой, хотя и противоположный, расчет. Два года после Дюнкерка боевой дух англичан держался на ощущении, что это не просто война за демократию, но и война, которую предстоит вести простому народу. Правящие круги Англии были дискредитированы своим попустительством Германии и военными катастрофами 1940 года. Происходило социальное выравнивание. В общественном мнении патриотизм и левые настроения оказались связанными друг с другом, и многочисленные талантливые журналисты изо всех сил старались укрепить эту связь. Типичные образчики процветавшей тогда демагогической пропаганды можно видеть в выступлениях Джона Пристли по радио и статьях Кассандры в "Дейли миррор". В

такой атмосфере Вудхауз представлял собой идеальную мишень. Считалось, что богачи вероломны, а Вудхауз, как подчеркивал в своих выступлениях Кассандра, был богат. Кроме того, на него можно было нападать совершенно безнаказанно, не опасаясь пошатнуть общественные устои. Нападать на Вудхуаза — далеко не то же самое, что нападать, например, на Бивербрука. Простой писатель, сколько бы денег он ни зарабатывал, *не принадлежит* к правящему классу. Даже если его годовой доход достигает пятидесяти тысяч фунтов, он лишь внешне напоминает миллионера. Он всего лишь счастливчик, которому улыбнулась удача (а улыбается она обычно очень ненадолго), как если бы он случайно поставил на выигравшую лошадь. Оплошность Вудхауза открывала хорошую возможность для пропаганды. Можно было "изобличить" богатого паразита, не привлекая нежелательного внимания к тем паразитам, которые гораздо больше этого заслуживали.

В то жестокое время простительно было негодовать на поступок Вудхауза, но обвинять его три-четыре года спустя — утверждая к тому же, что он сознательно изменил родине, — непростительно. Мало что в этой войне было отвратительнее нынешней охоты за изменниками и предателями. В лучшем случае одни виновные наказывают других виновных. Во Франции ловят всякого рода мелких крыс: полицейских, продажных журналистов, женщин, спавших с немецкими солдатами, — не замечая, что крупные крысы остаются безнаказанными. В Англии яростнее всего против предателей выступают консерваторы, призывавшие к миру в 1938 году, и коммунисты, призывавшие к нему же в 1940-м. Я пытался показать здесь, как несчастный Вудхауз — потому лишь, что успех и жизнь вдали от родины позволили ему так и остаться мыслями в эдвардианской эпохе, — стал пешкой в пропагандистском эксперименте, и полагаю, что пора уже, наконец, считать это дело закрытым. Если американцы поймают и расстреляют Эзру Паунда, это утвердит его репутацию как поэта на многие века, — так и мы, если изгоним Вудхауза, лишим его британского гражданства и заставим поселиться в Соединенных Штатах, то в конце концов сами же этого устыдимся. Если мы и вправду хотим наказать людей, ослаблявших в критическую минуту боевой дух нашего народа, то есть и другие, кто и поближе к нам, и больше заслуживает наказания.

1945

Том Стоппард

До-ре-ми-фа-соль-ля-си-Ты-свободы-попроси

Пьеса для актеров и оркестра

Перевод Ольги Варшавер

Предисловие автора

"До-ре-ми-фа-соль-ля-си-Ты-свободы-попроси"[1] – такое произведение, где текст составляет лишь часть от целого. Подзаголовок "Пьеса для актеров и оркестра" также не способен передать, в какой степени успех этой полифонии определяется музыкой, сочиненной Андре Превином. И вообще, наше общее детище – это

© Том Stoppard 1978
© Ольга Варшавер. Перевод, 2012

1. В оригинале пьеса называется "Every Good Boy Deserves Favour", что буквально означает "Каждый хороший мальчик заслуживает поощрения". Однако любой англоязычный музыкант понимает эту фразу совершенно иначе – это мнемонический прием для запоминания нот на нотном стане. Примерно так же мы запоминаем цвета радуги с помощью фразы "Каждый охотник желает знать, где сидит фазан". В русском языке подобная фраза у музыкантов, конечно, тоже существует: "МИгрировала СОЛЬ на СИцилию РЕгистрировать ФАмилию". Но с таким названием потерялся бы социально-политический подтекст, также заложенный автором в оригинальном названии. Поэтому по-русски пьеса называется "До-ре-ми-фа-соль-ля-си-Ты-свободы-попроси". (*Здесь и далее – прим. перев.*)

именно его затея. В 1974 году, будучи главным дирижером Лондонского симфонического оркестра, господин Превин предложил мне написать пьесу, для постановки которой надо было бы вывести на сцену полноценный оркестр. Такие предложения поступают нечасто – пожалуй что раз в жизни, и я, не раздумывая, согласился. Однако прошло полтора года, а работа никак не сдвигалась с места.

Обычно – и желательно, чтобы так и было, – пьеса создается, когда ее автору есть что сказать. И форма пьесы всецело зависит от ее содержания. Мне же в данном случае предстояло придумать содержание под заранее заданную форму. Мы с господином Превином четко договорились, что это будет не концертное исполнение текста под музыку, не мелодекламация и не произведение для профессиональных певцов. Это будет самое настоящее драматическое произведение, в котором симфоническому оркестру уготована одна из ключевых ролей. Насколько нам было известно, прежде никто ничего подобного не предпринимал. Впрочем, это тоже не причина писать пьесу, хотя, признаюсь, перспектива стать первым льстила моему самолюбию.

Итак, я получил карт-бланш, но понимал при этом только одно: пьеса, которую я напишу, должна, в сущности, быть об оркестре, поскольку посадить на сцену сто человек с инструментами и сделать их простыми аккомпаниаторами – значит заранее обречь все начинание на оглушительный провал. Я решил, что единственное осмысленное решение – дать оркестру некую роль в сюжете. Первый сюжет, который пришел мне в голову, выглядел так: жил да был миллионер, и был у него оркестр. Однако телега по-прежнему оказывалась впереди лошади. Творческий тупик усугублялся еще и тем, что я ничего не знал об оркестрах и почти ничего – о "серьезной" музыке. Я оказался в положении человека, который, не читавши в жизни ничегошеньки, кроме детективов, вынужден писать текст для моноспектакля о лорде Байроне просто потому, что получил заказ от хромого, как и Байрон, актера. Мой музыкальный опыт ограничивался игрой на треугольнике в детском садике – у нас там составилась группа "ударников". Тем не менее я сообщил моему соавтору, что пишу пьесу про миллионера, игравшего в детстве на треугольнике и купившего в конце концов симфонический оркестр.

Одна натяжка, особенно если она является отправной точкой сюжета, неизбежно порождает другие. Когда я понял, что все это умозрительное построение вот-вот рухнет, я сделал отчаянную попытку спасти его, представив, что оркестр существует лишь в помутившемся разуме миллионера. Интересно, что едва оркестр стал воображаемым, нужда в миллионере тоже отпала. Я решил писать пьесу о спятившем музыканте, который только

и умеет, что ударять по треугольнику, но уверен, что у него есть оркестр.

К этому моменту все сроки, о которых мы условились с Анри Превином, уже прошли. Все усложнив, я подвел соавтора. Но я не ощущал внутренней потребности писать ни об оркестре, ни о безумном музыканте. Писать было решительно не о чем. Причудливо преобразившись в моем сознании, музыка и треугольники довели меня аж до эвклидовых аксиом, но и этот путь вел в тупик. Я был готов признать свое полное поражение.

Таково было состояние дел, когда в апреле 1976 года я познакомился с Виктором Файнбергом. К тому времени я прочитал немало книг и статей о российских диссидентах, так как собирал материалы для телеспектакля. Поэтому я знал, что господин Файнберг — один из тех людей, которые были арестованы на Красной площади в августе 1968 года во время мирной демонстрации против ввода войск в Чехословакию. Этого человека объявили сумасшедшим — нередкая участь для многих здравомыслящих противников режима, — и в 1974 году, после пяти лет, проведенных в тюрьмах-психушках, он был выслан из страны. Свой опыт общения с советской системой принудительного лечения психики он описал в журнале "Индекс/Досье на цензуру" — замечательном, неангажированном издании, бесстрастно фиксирующем факты политических репрессий в разных точках мира. Для господина Файнберга выход на свободу означал прежде всего возможность возобновить свои усилия по борьбе с тиранией, даже удвоить их, поскольку надо было вызволять оставшихся в застенках друзей. В момент нашего знакомства он считал своей главной задачей освобождение Владимира Буковского, который также стал жертвой психиатров в Советском Союзе, а едва выбрался из психушки, посмел рассказать о ней всю правду, даже не выехав из страны. Тем самым он обрек себя на несколько тюремных сроков, принудительные лагерные работы и ссылку, что в совокупности продлилось двенадцать лет.

В исключительных обстоятельствах некоторые люди способны проявлять исключительную храбрость. Не буду утверждать, что в Великобритании никто никого не притесняет и никто не злоупотребляет властью, и все же с настоящей храбростью мы сталкиваемся редко, ибо наше общество такой потребности не испытывает (я в данном случае не говорю о храбрости людей, которые борются с болезнями или переживают утраты). Истовость и напор, с которыми шел к своей цели господин Файнберг, движимый не столько состраданием к соотечественникам, сколько гневом и ненавистью к советской системе, его беспрестанное стремление досаждать любым начальникам в любых — не только вражеских, но даже дружеских — стенах и за их пределами, подсказывали мне, что начальники эти наверняка были счастливы "сбыть его с рук" и отправить за границу. Такого чело-

века не сломишь и не заставишь замолчать. В обществе, являющем собой слаженный, послушный оркестр, он всегда будет звучать диссонирующей нотой и никогда не послушается дирижерской палочки.

Не припомню, чтобы я сознательно искал эту метафору, но она пришла, и вскоре я с полной определенностью смог сказать господину Превину, что безумный музыкант, считавший, будто у него есть оркестр, сидит в одной камере с политзаключенным. Я наконец знал, о чем надо писать, и через несколько недель пьеса была готова.

Мой герой Александр, безусловно, не Виктор Файнберг и не кто-то из его сподвижников. Но монолог, где он описывает курс лечения, который его заставили пройти в Ленинградской спецпсихбольнице, приведен мною по журналу "Индекс/Досье на цензуру"[1]. Есть в пьесе и другие цитаты из реально звучавших текстов. Например, фраза врача: "Ваши мнения и есть ваши симптомы". Сам Виктор Файнберг тоже фигурирует в пьесе — в группе от Н до Т — в эпизоде, когда Александр обозначает разных людей буквами алфавита.

Персонаж, который так и не появится на сцене, "мой друг В" — это Владимир Буковский. Кампания, развернувшаяся во многих странах в его защиту, возымела действие: в декабре 1976 года его выпустили из тюрьмы и незамедлительно "выдворили" на Запад. В июне, когда мы уже репетировали с актерами Королевской шекспировской труппы, я встретился с Буковским в Лондоне и пригласил его на репетицию в театр Ковент Гарден. Он пришел, посидел пару часов, был несколько скован, но искренне к нам расположен и уточнил важные для постановки детали. Однако его присутствие подействовало на нас скорее угнетающе. Все-таки у людей, готовящих театральный спектакль, под ногами "земля воображаемая", пусть даже земля эта всецело основана на фактах жизни и старается воспроизвести их максимально точно. Для нас, людей театра, воображение необходимо как воздух и, одновременно, это роскошь, которую можем себе позволить только мы. Визит Буковского столкнул два мира — воображаемый и реальный. Мне было не по себе. Один из наших актеров даже не смог договорить монолог, основанный на биографии нашего гостя. Впрочем, эта встреча не привела к необратимым потерям для "Доре-ми-фа-соль-ля-си-Ты-свободы-попроси". К премьере спектакль снова обрел свой нерв и заиграл всеми задуманными красками.

1. Index on Censorship, т. 4, № 2, издание некоммерческой компании "Writers and Scholars International" ("Писатели и ученые мира").

Посвящается Виктору Файнбергу и
Владимиру Буковскому

Действующие лица

Александр
Иванов
Саша
Врач
Учительница
Полковник

Здесь приводится только текст пьесы, но важно помнить, что это произведение состоит из текста и музыки, сочиненной соавтором Тома Стоппарда, Андре Превином.

На сцене сосуществуют три пространства: **камера** с двумя койками, **кабинет** со столом и парой стульев и школьный **класс** с одной партой. Эти пространства могут быть совсем небольшими, но обязательно должны как-то соединяться между собой, и должна быть возможность усиливать и приглушать свет над каждым из них и над оркестром независимо друг от друга. Оркестр, разумеется, расположен на возвышении.

В камере двое — Александр и Иванов. Александр — политзаключенный, а Иванов — настоящий сумасшедший. По ходу спектакля становится ясно (но написать об этом лучше заранее), что оркестр большую часть времени существует только в воображении Иванова. У Иванова имеется музыкальный инструмент — треугольник.

В кабинете никого нет.

В классе — Учительница стоит, а Саша сидит за партой.

Камера

Кабинет и класс не освещены.

В камере сидят Александр и Иванов, каждый на своей койке. Оркестранты настраивают инструменты: сначала по-настоящему, но через одну-две минуты начинают лишь имитировать настройку: то есть воцаряется тишина, а музыканты как бы продолжают настраивать инструменты. Иванов встает, поднимает треугольник и палочку. Оркестр замирает. Тишина. Иванов ударяет в треугольник один раз. Оркестр начинает беззвучно имитировать исполнение произведения. Иванов сосредоточенно вслушивается в неслышную для нас музыку и время от времени ударяет в треугольник, как того требует одному ему ведомая партитура. Нам слышно лишь редкое позвякивание треугольника. Александр наблюдает за происходящим — ему, как и нам, видно только, как сосед изредка

ударяет в треугольник. Это продолжается примерно минуту. Затем, очень тихо, начинает звучать музыка, которую слышит Иванов, то есть мы начинаем слышать оркестр.

Удары Иванова по треугольнику теперь вполне соответствуют исполняемой музыке. Очень медленно, постепенно, музыка становится громче, а потом вдруг, на каком-то аккорде, свет над платформой, где находится оркестр, вспыхивает, и он предстает во всем великолепии, вместе со стоящим на возвышении дирижером. Оркестр играет в полную силу. Партия треугольника – вполне значима для исполняемой симфонии. Мы теперь включены в сознание Иванова, а Александр по-прежнему наблюдает за происходящим извне: слышит только треугольник и видит только Иванова.

Иванов (*в гневе прерывает оркестрантов*). Нет! Нет! Нет!

Оркестранты прекращают играть.

Иванов (*кричит*). Вернитесь, начните с литавр.

Оркестр возвращается к указанному месту, начинает играть, но вскоре музыка стихает – уже не так постепенно, как нарастала, – и оркестр переходит к имитации игры. Когда музыка становится почти неслышной, Александр громко кашляет. Иванов смотрит на него укоризненно. После кашля музыка совсем стихает, воцаряется тишина. Иванов время от времени ударяет в треугольник. Оркестранты делают вид, что играют.

Иванов. Лучше... Хорошо... Намного лучше...

Александр пытается больше не кашлять. Иванов бьет в треугольник – это явно финал произведения. Оркестранты "доигрывают", опускают инструменты. Иванов садится на свою койку. Александр перестает сдерживаться, кашляет вволю.

Иванов (*извиняющимся тоном*). Я знаю, что́ вы думаете.

Александр (*понимающе*). Ничего страшного.

Иванов. Да чего там, говорите прямо. Виолончели все провалили.

Александр (*уклончиво*). Вообще-то я не слишком сведущ в музыке...

Иванов. Сущие кошки! Не играют, а когтями по жестяной бочке скребут! А вся эта медная мелочь? Неужели я снова должен возиться с этой дешевкой?

Александр. Дешевкой?

Иванов. Ну да, с медными духовыми. Бесстыжие неискренние наглецы. Стоит сделать им замечание – сразу поджимают губы. Ну а как вам другие духовые, которые и язык-то не повернется назвать деревянными? Замшелые, сопревшие бревна! О глокеншпиле вообще умолчим.

Александр. О глокеншпиле?

Иванов. Я же просил о нем умолчать. Скажите лучше, как вам арфистка?

Александр. Повторяю, я не большой ценитель...

Иванов. Да ей только кур щипать! Врывается, как ураган, в тех местах, где даже дурак ступал бы на цыпочках. Господи, у меня что, проблем мало?! Не оркестр, а паноптикум! Фагот — голубой из активных, контрафагот — голубой из пассивных, у большого барабана почесуха, и ему срочно требуется дерматолог. И все так заунывно, точно обезьянка шарманку крутит.

Александр. Н-да, тяжелый у вас случай.

Иванов. Да у меня скрипачи имеют такое же отношение к скрипке, как Яша Хейфец к водному поло. Еще имеется туберкулезник, внучатый племянник Джона Филипа Соузы, который вечно играет форте, где надо пиано. А первая скрипка, как и пристало благочестивому еврею, подал документы на выезд в Израиль. Пора распустить весь оркестр и набрать новый. Вы знакомы с нотной грамотой?

Александр. Нет.

Иванов. Не страшно, научитесь, глазом моргнуть не успеете. Четвертинки-половинки, диезы-бемоли, до-ре-ми-фа-соль-ля-си. Вы на чем играете?

Александр. Говорю же: я не играю.

Иванов. Ударник? Струнник? Трубы-тубы?

Александр. Нет.

Иванов. Гобой? Фагот? Или клавишник?

Александр. Боюсь, что нет.

Иванов. Надо же! Не пианист! Так, погодите, соображу. Флейтист!

Александр. Нет же. Послушайте...

Иванов. Потрясающе. Ну, хоть намекните. Если я сейчас примусь вас бить — до крови, до мяса, — вы что будете защищать, лицо или руки? Какие травмы предпочтете получить: чтобы неделю только стоять, но не сидеть, или только сидеть, но не стоять? Сами видите, я пытаюсь сузить круг подозреваемых инструментов. Я правильно понимаю, что встать на колени и засунуть свой инструмент себе в задницу вам слабо?

Александр. Я не играю ни на каком инструменте.

Иванов. Можете быть со мной вполне откровенны. Я — человек без предрассудков. Представляете, мои музыканты бывали у меня дома. Сам приглашал! Спросите почему? Да потому что каждый из нас чуточку музыкант. А кто утверждает обратное — узколобый фанатик. Так

вот, я моих кларнетистов кормил *за собственным столом.* А этих француженок и французиков, пиколлят и жиголят, подпускал к себе даже на улице, даром что все они проститутки. Так что за меня не беспокойтесь, маэстро: я сиживал вместе с ними всеми, вплоть до барабанщиков, мы ели Мясковского, пили Чайковского, нас вместе пучило от Пуччини. Я, конечно, знаю тех, кто кормит оркестрантов на кухне, объедками, точно холопов, а то и скармливает их самих на обед своим любимым собачкам или львам. Но я музыкантов люблю, я музыкантов уважаю, я их за людей почитаю. Так скажите, если я сейчас разобью ваш инструмент о вашу башку, кто вам понадобится: столяр, сварщик или нейрохирург?

Александр. Я не играю ни на каком инструменте. Будь я музыкантом, я не стал бы от вас скрывать, на каком именно. Но я не играю. И никогда не играл. Я не умею играть. Я не музыкант.

Иванов. Тогда какого черта ты тут делаешь?

Александр. Меня сюда посадили.

Иванов. За что?

Александр. За распространение заведомо ложных измышлений.

Иванов. За клевету? Да как ты посмел порочить честь музыкантов? Говорят же: не стреляйте в пианиста! Даже словом!

Александр. Речь не о музыке, а о политике.

Иванов. Хочешь три совета? Первый: никогда не смешивай музыку с политикой. Второй: никогда не откровенничай со своим психиатром. Третий: *играй гаммы!*

Александр. Спасибо.

Иванов единожды ударяет в треугольник. Свет в камере гаснет. Звучит группа ударных — исполнение непрофессиональное, совсем детское. Звучит и скрипка, но играют на ней без смычка, просто дергают за струны. Вскоре среди ударных возникает смятение, потому что треугольник все время играет невпопад и всех сбивает. В конце концов остальные инструменты умолкают, и слышен один лишь треугольник — частые нервные удары. Потом смолкает и он.

Класс

Освещается пространство, где находятся Учительница и Саша. Учительница держит в руках треугольник.

Учительница. Ну? Разве ты дальтоник?

Саша. Нет.

Учительница. Дай-ка сюда твои ноты.

Саша придвигает к ней лежащие на парте ноты.

Вот видишь, красные нотки? Это кто?

Саша. Струнные.

Учительница. Зеленые?

Саша. Тамбурин.

Учительница. Лиловые?

Саша. Барабан.

Учительница. Желтые?

Саша. Треугольник.

Учительница. Ты видишь тут сорок желтых ноток подряд?

Саша. Нет.

Учительница. Вот именно. А зачем играешь? Решил поддержать семейную традицию? Прокукарекать невпопад? Да твоя фамилия и так стала притчей во языцех. Ты об этом знаешь?

Саша. Да.

Учительница. Откуда?

Саша. Все говорят.

Учительница. Открой книгу.

Саша. Какую?

Учительница. Любую. Лучше "Отцы и дети".

Саша достает из парты книгу.

Это Тургенев?

Саша. Нет, учебник по геометрии.

Учительница. Да, представь, твоя фамилия уже облетела весь мир. С телеграфной скоростью. Пестрит во всех газетах. Склоняется по радио. С такой фамилией можно и не различать цвета. И музыку мы ради тебя перепишем. Вся партитура станет желтая, словно луг с одуванчиками, а звучать будет, как склянки на корабле: бери ложку, бери хлеб и садися за обед.

Саша. Я не хочу играть в оркестре.

Учительница. Открой книгу. Возьми бумагу и ручку. Ведь ты теперь знаешь, что бывает с антиобщественными элементами? С оппозиционерами?

Саша. Меня отправят в сумасшедший дом?

Учительница. Разумеется, нет. Читай вслух.

Саша. Точка имеет координаты, но не имеет размеров.

Учительница. Психбольницы существуют для тех, кто не сознает, что творит.

Саша. Отрезок имеет длину, но не имеет ширины.

Учительница. Они осознают, что делают, но не понимают, что наносят вред обществу.

Саша. Прямая — это кратчайшее расстояние между двумя точками.

Учительница. Они осознают, что ведут себя антиобщественно, но они фанатики.

Саша. Окружность — геометрическое место точек плоскости, равноудаленных от заданной точки, называемой ее центром.

Учительница. Они больные.

Саша. Многоугольник — это плоская фигура, ограниченная прямыми линиями.

Учительница. И держат их не в тюрьме, а в больнице.

Пауза.

Саша. Треугольник — это многоугольник с наименьшим возможным количеством сторон.

Учительница. Замечательно. Прекрасно. Перепиши это десять раз, аккуратно, хорошим почерком, и, если ты будешь хорошо себя вести, я постараюсь пересадить тебя на другой инструмент.

Саша (*пишет*). Треугольник — это многоугольник с наименьшим возможным количеством сторон. Папу тоже заставляют это делать?

Учительница. Да. Он переписывает фразу: "Я играю в оркестре и не должен отбиваться от коллектива".

Саша. Сколько раз?

Учительница. Миллион.

Саша. Миллион?

Пауза.

(*Кричит.*) Папа!

Александр (*кричит*). Саша!

Кричит он во сне, на другом конце сцены. Иванов садится на койке, наблюдает за Александром. В паузах нижеследующего диалога оркестр берет отдельные аккорды.

Саша. Папа!

Учительница. Тсс!

Александр. Саша!

Музыка продолжает играть, в основном ударные. Это длится секунд десять, а потом все перекрывают резкие частые удары треугольника. Вскоре другие инструменты смолкают, остается только треугольник. Александр садится. Треугольник смолкает.

Камера

Иванов. Бери ложку, бери хлеб... (*Оркестр.*)

Кабинет

Иванов проходит в освещенный теперь кабинет и садится за стол. В оркестре один из музыкантов, из третьих скрипок, поднимается с места, спускается с оркестрового возвышения и также проходит в кабинет. Оркестр играет, и эта музыка пародирует движения скрипача. Иванов сидит за столом в кабинете. Скрипач превращается во Врача, подходит к столу и кладет на него скрипку. Оркестр все это время сопровождает его, и все его движения точно ложатся на музыку. Иванов вскакивает и кричит, словно бы обращаясь к оркестру.

Иванов. Ну все, довольно, довольно...

Музыка резко обрывается. Врач выжидающе смотрит на Иванова.

Иванов (*Врачу*). *Простите.*

Иванов садится. Врач также садится — смычковые аккомпанируют каждому движению. Иванов снова вскакивает.

Иванов (*кричит*). Я с вас семь шкур спущу!
Врач. Присядьте, пожалуйста.
Иванов (*садится*). Эти только ругань и понимают...
Врач. Как таблетки? Совсем не помогли?
Иванов. Не знаю. А какие таблетки вы им давали?
Врач. Послушайте, оркестра на самом деле нет. Никакое лечение не поможет, пока мы с вами не договоримся, что оркестра нет.
Иванов. Или, наоборот, есть.
Врач (*ударяет по лежащей на столе скрипке*). Оркестра нет!

Иванов косится на скрипку.

Врач. У меня есть оркестр, а у вас нет.
Иванов. Это, по-вашему, логично?
Врач. Такое уж стечение обстоятельств. Я музыкант-любитель. Иногда играю в оркестре. Хобби у меня такое. Мой оркестр настоящий. А у вас оркестра нет. Здесь вы — пациент. А я — врач. И раз я вам говорю, что оркестра у вас нет, значит — нет. Все логично...
Иванов. Я был бы счастлив не иметь оркестра.
Врач. Вот и славно.
Иванов. Я никогда не хотел иметь оркестр.
Врач. Отлично. Так и повторяйте: У меня нет оркестра. У меня никогда не было оркестра. Мне не нужен оркестр.

Иванов. Это верно.
Врач. У меня нет оркестра.
Иванов. Хорошо.
Врач. Отлично.
Иванов. Вы не могли бы сделать мне одолжение?
Врач. Какое?
Иванов. Скажите им, пусть перестанут играть.
Врач. Они перестанут играть, как только вы поймете, что их на самом деле нет.

Иванов встает.

Иванов. У меня нет оркестра.

Звучит один оркестровый аккорд.

Иванов. У меня никогда не было оркестра.

Звучат два аккорда.

Мне не нужен оркестр.

Звучат три аккорда.

Нет никакого оркестра.

Оркестр играет — бравурно и громко. Свет в кабинете гаснет. Освещается камера.

Камера

Все это время Александр спит на своей койке в камере. Возвращается Иванов. Берет палочку от треугольника. Встает около спящего Александра, смотрит на него. Музыка становится тревожной. Потом жуткой. Это кошмарный сон Александра. Музыкальная тема приближается к апофеозу. Но тут Александр вскидывается, просыпается, и музыка обрывается на полутакте. Тишина.

Иванов. Простите. Никакой на них нет управы.
Александр. Ну пожалуйста...
Иванов. Не беспокойтесь, я знаю, как себя вести. Трубачи у меня тут же получают по зубам, скрипачи — по морде, ботинком, вот этим самым. А уж виолончелистам вообще не позавидуешь. Вы на каком инструменте играете?
Александр. Ни на каком.
Иванов: Тогда не тревожьтесь. Расскажите лучше о своем детстве, о семье, о первой учительнице музыки. Как это все начиналось?

Речь Александра должна сопровождаться особым светом и музыкой — это сольная партия.

Александр. Однажды моего друга арестовали за хранение запрещенной книги и продержали в психбольницах полтора года. Мне это показалось странным. Потом, когда его выпустили, арестовали двух писателей, А и Б, которые опубликовали за границей какие-то рассказы, под псевдонимами. За это они, уже под своими настоящими именами, получили один пять, а другой семь лет принудительных трудовых лагерей. Мне это показалось совсем странным. Мой друг В пошел на демонстрацию, протестовать против ареста А и Б. Я его предупреждал, что это безумие, но он не послушался и снова угодил в психушку. Еще один человек, Г, написал кучу писем с описанием суда над А и Б и обсуждал этот суд со своими друзьями, Д, Е, Ж и З. Их всех арестовали. Тогда И, К, Л, М и еще один, пятый, человек стали протестовать против ареста Д, Е, Ж и З. Их тоже арестовали. На следующий день забрали и Г. Кстати, пятым был мой друг В, который на тот момент только вышел из психушки, куда его упекли за участие в демонстрации против ареста А и Б. Я и на этот раз его предупреждал, что протестовать против ареста Д, Е, Ж и З — чистое безумие. Он получил три года лагерей. Мне это показалось ну совсем несправедливым. Еще один человек, Н, составил книгу по материалам судов над В, И, К, Л и М и вместе с коллегами О, П, Р, С, Т присутствовал на суде над У, который написал воспоминания о своем лагерном сроке, за что получил еще год. На суде выяснилось, что советская армия в 1968 году пришла на помощь дружественной Чехословакии. На следующий день Н, О, П, Р, С и Т решили выйти на Красную площадь. Тут их всех арестовали и отправили — кого в лагерь, кого в психушку, кого в ссылку. Это было в семьдесят первом, после ареста А и Б прошло три года. Срок моего друга В истек одновременно со сроком писателя А. И тут он учудил. Выйдя на свободу, он начал всем рассказывать, что психически здоровых людей отправляют в сумасшедший дом за политику, за несогласие с режимом. Когда выпустили писателя Б, на моего друга В уже снова открыли дело. Его осудили за антисоветскую агитацию и клевету. Приговор — семь лет тюрьмы и лагерей, потом еще пять — ссылки. Видите, сколько вреда от этих писателей.

Тихо и постепенно снова начинает звучать музыкальная тема, исполняемая группой детей на ударных инструментах.

Они портят жизнь нормальным людям. Мое детство было самым обыкновенным. И подростком я был самым обычным. И работал на самой заурядной должности. И женился на простой девушке, которая тихо умерла при родах. Пока моему сыну не исполнилось семь лет, единственно примечательным в моем существовании был друг, которого то и дело арестовывали. А потом я тоже совершил безумство.

Ударные снова начинают играть кто в лес, кто по дрова. На этот раз смятение в их ряды вносит не треугольник, а малый барабан, в который кто-то немилосердно колотит. Потом удары внезапно смолкают, и свет падает на сидящего за партой САШУ. Рядом с ним стоит проколотый, искореженный барабан. Учительница неподвижно стоит рядом. Возможно, но не обязательно: фонограмма с записью шума на детской площадке.

Класс

Учительница. Вот, значит, как ты отвечаешь на мое доброе отношение? Наверно, твой отец тоже так начинал. Сначала — портил школьное имущество. Потом водил дружбу со всякими сомнительными личностями. Ну а потом начал писать письма, клеветать на Советскую власть. Сплошное вранье! Врал своим начальникам, партии, газетчикам... иностранцам...

Саша. Папа никогда не врет. Он меня ремнем выдрал, когда я раз соврал.

Учительница. Он врал! Бомбардировал своими наветами газету "Правда"! На что, интересно, он рассчитывал?

Свет над учительницей и Сашей гаснет, как только Александр начинает говорить.

Александр. Меня положили в Ленинградскую специальную психиатрическую больницу на Арсенальной улице, и я провел там тридцать месяцев, в том числе два месяца голодовки. Умереть тебе, конечно, позволят, но только анонимно. Если твое имя известно на Западе, твоя смерть им неудобна. Хлопот не оберешься. Ведь с прошлым, когда там тройки всякие или вовсе без суда и следствия, давно покончено. Россия — цивилизованная страна, тут "Лебединое озеро" танцуют лучше всех в мире и людей в космос запускают. Так что если вдруг кто-то вздумает свести себя в могилу голодовкой, неудобно получится, неловко. Через пару недель голодовки ко мне привели сына, чтобы он уговорил меня начать есть. Но он, хотя ему было тогда девять лет, не очень понимал, что сказать.

Саша (*говорит из класса, не обращаясь к Александру впрямую*). Пришло письмо, из-за границы. Там вырезка из газеты с нашей фотографией.

Александр. А что там написано?

Саша. Не знаю. Там все по-английски.

Александр. Как в школе дела?

Саша. Нормально. Геометрию начали учить. Ничего не понимаю.

Александр. Как бабушка?

Саша. Хорошо. От тебя пахнет, как от Ольги, когда она ногти красит.

Александр. Что еще за Ольга?

Саша. Она теперь живет в твоей комнате. Пока тебя нет.

Александр. Ясно. Хорошо.

Саша. Тебя тут ногти заставляют красить?

Диалог на этом заканчивается. Снова — соло Александра.

Александр. Если человек долго не ест, от него начинает пахнуть ацетоном, это такая жидкость для снятия лака. Когда запасы протеина и углеводов в организме иссякают, начинается метаболизация жиров, а ацетон — побочный продукт этого процесса. Так что можно сказать и наоборот: от девушки, стирающей лак с ногтей, пахнет голодовкой. Через два месяца можно было запросто снимать лак моей мочой. Поэтому они снова привели ко мне Сашу. Он меня как увидел — вообще не смог говорить.

Саша (*кричит*). Папочка!

Александр. Тогда они сдались. А когда я немного оправился, меня перевели сюда. Это значит, что меня решили отпустить. Попасть с Арсенальной в обычную горбольницу намного труднее, чем из горбольницы на улицу. Но у них на все свои правила. Все — как положено, все — как подобает. На это уйдет еще сколько-то времени, но это уже ерунда. Я пока почитаю "Войну и мир". Все будет хорошо.

Оркестр.

Класс

Эта сцена происходит в музыкальном обрамлении, и завершает ее соло Врача на скрипке, которое постепенно переходит в следующую сцену.

Саша. Треугольник — это кратчайшее расстояние между тремя точками.

Учительница. Что за бред?

Саша. Круг — это самое большое расстояние до одной и той же точки.

Учительница. Саша!

Саша. Плоская фигура, ограниченная высокими стенами, — это тюрьма, а не больница.

Учительница. Тише!

Саша. Мне все равно! Он ничем не болел дома! Никогда!

Музыка.

Учительница. Не плачь.

Музыка.

Все будет хорошо.

Музыка переходит в соло на скрипке. Освещение в классе гаснет.

Кабинет

Врач один, исполняет соло на скрипке. Звуки скрипки смолкают.

Врач. Войдите.

Александр входит в круг прожектора, где уже находится Врач.

Врач. Здравствуйте. Присаживайтесь. Вы играете на каком-нибудь инструменте?

Александр (*ошеломленно*). Вы — здешний пациент?

Врач (*жизнерадостно*). Нет, я врач. Это вы — пациент. Мы тут все-таки стараемся не путать врачей с пациентами, хотя говорят, что в более продвинутых психиатрических заведениях разница между врачами и пациентами небесспорна. (*Аккуратно укладывает скрипку в футляр и назидательно продолжает.*) Если бы все в мире играли на скрипке, я бы давно лишился работы.

Александр. Психиатра?

Врач. Скрипача. Зато психбольницы были бы переполнены. Вы просто ничего не знаете о музыкантах. Добро пожаловать в Третью психиатрическую городскую больницу. Чем страдаете?

Александр. У меня есть жалоба.

Врач (*открывает медицинскую карту*). Да-да, вижу. Патологические изменения личности с параноидальными маниями.

Александр. Нет-нет, я совершенно здоров.

Врач (*закрывая карту*). Вот видите.

Александр. Я хочу пожаловаться на соседа по камере.

Врач. По палате.

Александр. Он считает, что у него есть оркестр.

Врач. Да-да, у него проблемы с самоидентификацией. Я позабыл его фамилию.

Александр. Он ведет себя агрессивно.

Врач. Он на вас тоже жалуется. Похоже, вы позволяете себе кашлять, когда оркестр играет диминуэндо.

Александр. Вы можете чем-то помочь?

Врач. Конечно. (*Достает из ящика красную пачку с таблетками.*) Сосите по одной каждые четыре часа.

Александр. Но он совершенно безумен.

Врач. Разумеется. Вы что, тоже носитесь с этой бредовой идеей? Считаете, что в психушках сидят только нормальные, а по улицам ходят только сумасшедшие? Так это все писатели придумали, люди с буйным воображением. И этим авторам у нас самое место. Уверяю вас, все это глупые россказни. Если основываться на статистике, нормальные все-таки снаружи, а сумасшедшие все-таки тут, внутри. Вы, к примеру, внутри. Именно потому, что вас преследует маниакальная идея о том, что в психбольницах лежат здоровые люди.

Александр. Но ведь я сам нахожусь в психбольнице.

Врач. Вот и я о том же. Если вы не готовы обсудить свой случай с позиций здравого смысла, мы с вами еще долго будем ходить по кругу или топтаться на месте. Кстати, вы сказали, что не играете ни на каком инструменте?

Александр. Нет. Можно мне в другую камеру? В одиночку?

Врач. "Нет" — не играете? Или "нет" — не сказали? Послушайте, давайте поставим точки над И. Вы находитесь в городской психиатрической больнице, это обычная больница, она находится в ведении Министерства здравоохранения, и у нас тут палаты, а не камеры. Камеры — в тюрьмах и, возможно, в Особых психиатрических больницах, подведомственных Министерству внутренних дел. В камерах сидят заключенные, они представляют опасность для общества. Еще в камерах сидят опасные для общества пациенты...

Александр. Можно перевести меня в отдельную палату?

Врач. Боюсь, что нет. Полковник... ээ... доктор Розинский, которому передали ваше дело, сам выбирал для вас соседа по камере... вернее, по палате.

Александр. Но он может меня убить.

Врач. Будем исходить из того, что Розинский лучше знает, что для вас полезно. Хотя, по-моему, вам нужен психиатр.

Александр. Вы хотите сказать, что ваш Розинский — не доктор?

Врач. Разумеется, доктор, хотя он готов служить родине в любом качестве. Впрочем, специального образования в области психиатрии у него нет.

Александр. А в какой есть?

Врач. В семантике. Он доктор филологических наук, хотя одному богу известно, что это за науки такие. Но говорят, что он гений.

Александр (*гневно*). Я отказываюсь с ним встречаться.

Врач. А встречаться, может, и не понадобится. Думаю, вам лучше всего просто пойти домой. В четверг, например. Вас устроит?

Александр. В четверг?

Врач. Чем плох четверг? По средам у нас Комиссия. Так что давайте-ка к вечеру вторника полностью излечим вас от вашей вялотекущей шизофрении, желательно до семи вечера, потому что у меня концерт. (*Достает большую синюю пачку таблеток.*) Будете принимать раз в четыре часа.

Александр. Что это за лекарство?

Врач. Мягкое слабительное.

Александр. От шизофрении?

Врач. Обыватели зачастую не сознают, что медицина двигается вперед семимильными шагами.

Александр. Понятно. Что ж, почитаю "Войну и мир" в другой раз.

Врач. Да уж. Кстати, когда будете общаться с Комиссией, придержите язык. Постарайтесь ничем их не смутить. "Войну и мир" не упоминайте, разве что сами спросят. Я бы на вашем месте ограничился двумя ответами — "да" и "нет". "Да" — если спросят, согласны ли вы, что страдаете психическим заболеванием. "Нет" — если спросят, намерены ли вы и дальше лгать и клеветать. Еще допустимы ответы "конечно" и "простите". "Конечно" — если спросят, удовлетворило ли вас полученное лечение. "Простите" — если спросят, что вы думаете о жизни в целом. Ну, не расслышали вы вопрос — и дело с концом.

Александр. Я никаким психическим заболеванием никогда не страдал, а лечение мое было варварским.

Врач. Воистину, глупость неизлечима. Поймите, я должен продемонстрировать, что я вас лечил. Вы должны отказаться от своих идей и выразить благодарность за лечение. Нам надо действовать сообща.

Александр. Кагэбэшники выломали дверь, ворвались ко мне в дом. Они напугали моего сына и тещу. Мое сумасшествие заключалось в том, что я писал письма в защиту друга, которого посадили в тюрьму. До этого моего друга

дважды отправляли в сумасшедший дом за политические взгляды, а потом его арестовали, когда он рассказал, что психически здоровых людей сажают в психушки. На этот раз его посадили в тюрьму, поскольку он не был сумасшедшим. Я стал об этом писать — и меня самого отправили в психушку. Кстати, насчет Арсенальной вы правы, у них там не палаты, а камеры. Окна зарешечены, в дверях — глазки, свет горит и днем и ночью. Короче, все как в тюрьме, с надзирателями, блатными, шестерками, только режим строже. Медбратьями там работают зэки, осужденные за кражу и тяжкие уголовные преступления, они бьют и унижают пациентов, забирают у них еду, а врачи их покрывают. Почти у всех врачей под халатами форма офицеров КГБ. Для политзаключенных лечение и наказание связаны напрямую. Мне кололи аминазин, сульфазин, трифтазин, галоперидол и инсулин. Результат: отеки, судороги, головные боли, ознобы, жар, утрата многих функций, в том числе способности читать, спать, сидеть, стоять и застегивать штаны. Все эти меры не подействовали, и тогда меня, голого, стали привязывать к кровати кусками мокрой ткани. Ткань высыхала, стягивала тело все плотнее, и в конце концов я терял сознание. Это продолжалось десять дней подряд. Но я не выказал никаких признаков раскаяния.

После этого я объявил голодовку. Когда стало понятно, что я готов умереть, у них сдали нервы. И теперь вы полагаете, что я выползу отсюда на коленях, смиренно благодаря их за успешное излечение от моих маниакальных заблуждений? Ну уж нет. Они проиграли. И им придется с этим смириться. Они, похоже, забыли, что тоже смертны. Возможно, проигрыш — их первая встреча с тем судом.

Врач (*взяв в руки скрипку*). А за сына вы не боитесь? Он того и гляди превратится в малолетнего преступника. (*Перебирает струны.*) Он хороший мальчик. Он заслужил иметь отца. (*Снова перебирает струны.*)

Класс

Учительница. Теперь совсем другие времена, не то, что в тридцатые или в конце сороковых. Когда я училась в школе, были ужасные перегибы. Обвинения, которые сейчас выдвинуты против твоего отца, часто предъявлялись ни в чем неповинным людям. Теперь все иначе. Конституция гарантирует гражданам свободу совести, свободу печати, свободу слова, собраний, вероиспове-

дания и много других свобод. Советская конституция всегда была самой либеральной в мире — начиная с самой первой, которую написали сразу после революции.

САША. Кто написал?

УЧИТЕЛЬНИЦА. Автор первой конституции — Николай Бухарин.

САША. Мы можем спросить Николая Бухарина про папу? Про его свободу?

УЧИТЕЛЬНИЦА. К сожалению, Бухарина расстреляли вскоре после принятия конституции. В те времена все обстояло иначе. Ужасные были времена.

Камера

АЛЕКСАНДР только что начал читать "Войну и мир", ИВАНОВ заглядывает ему через плечо.

ИВАНОВ. "Ну, князь, Генуя и Лукка — поместья фамилии Бонапарте".

АЛЕКСАНДР нервничает, ИВАНОВ истерически хохочет, но продолжает читать.

"Если вы мне не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости..."

Александр подскакивает и захлопывает книгу. Оркестр играет несколько тактов из торжественной увертюры Чайковского "1812 год". Иванов хватает Александра за плечо. Тревожный момент, может последовать удар, драка. Затем Иванов целует Александра в обе щеки.

Смелей, дружище. У каждого из моих оркестрантов есть дирижерская палочка. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Придет и твой черед.

Кабинет

ВРАЧ. Войдите.

В кабинет входит АЛЕКСАНДР.

Ваше поведение весьма тревожно. Я начинаю думать, что у вас не все в порядке с психикой. Это помимо того, что вы страдаете вялотекущей шизофренией параноидального типа. Я начинаю сомневаться, может ли обычная горбольница справиться с вашими симптомами.

АЛЕКСАНДР. У меня нет симптомов, у меня есть мнение.

ВРАЧ. Ваши мнения — и есть ваши симптомы. Вы больны инакомыслием. Ваш тип шизофрении не предполагает

таких изменений в психике, которые будут заметны для окружающих. Ваш случай весьма похож на случай генерала Петра Григоренко. Ведущие психиатры Института имени Сербского в Москве написали в его медицинском заключении, что его внешне адекватное поведение и формально связные высказывания на самом деле свидетельствуют о необратимых патологических изменениях личности. Понимаете? Я не могу вам помочь. Кроме того, у вас изо рта пахнет авиационным клеем или чем-то таким... что вы ели?

Александр. Ничего.

Врач. И это еще один неприятный момент. У нас тут прежде никто голодовок не устраивал. Вернее, был один случай, но тогда пациент протестовал против больничной пищи, и это психологически оправданно и возымело действие — не на пищу, нет, а на моральный облик всех пациентов. (*Пауза.*) Вы можете сами выбрать себе лекарства. Вы даже можете их не принимать. Просто говорите, что принимали. (*Пауза.*) Чего вы, собственно, добиваетесь?

Александр (*ровным голосом, каким обычно стихов не читают*).

Ностальгирую по добрым старым жутким временам,
Приговор был всем понятен: десять — мне, пятнадцать — вам,
Слово лишнее сказали, покривились невпопад —
Мы — в Сибири, в Магадане, нам уж нет пути назад.
Кто без права переписки, кто с кайлом — в Архипелаг,
Нас в психушки не сажали, по вагонам — и в ГУЛАГ.

Врач. Замолчите! Господи, и долго вы можете так рифмовать?

Александр. На Арсенальной мне не разрешали иметь ни бумагу, ни ручку — по медицинским показаниям. Когда хочешь что-нибудь запомнить, рифмовка очень помогает.

Врач. Потрясающе. Я было подумал, что открыл новую форму психического расстройства. Мне улыбнулось бессмертие. Улыбнулось, подмигнуло и сделало ручкой.

Александр. Ваше имя, возможно, еще войдет в историю.

Врач. Вы о чем это? Это не я! У меня приказ. Послушайте, если вы согласитесь поесть, я разрешу вам свидание с сыном.

Александр. Я не хочу, чтобы он сюда приходил.

Врач. Если вы ничего не будете есть, я пошлю за вашим сыном. (*Пауза.*) Нельзя быть таким упрямым.

Александр поднимается, хочет уйти. Пауза.

Таблетки хоть чуточку помогли?

Александр. Не знаю.

Врач. Вы полагаете, что психически здоровых людей отправляют в сумасшедший дом?

Александр. Да.

Врач. Таблетки не помогли.

Александр. Я отдал их Иванову. Его фамилия тоже Иванов.

Врач. Именно. Именно поэтому полковник... эээ... доктор Розинский настаивал, чтобы вы были в одной камере, то есть, в одной палате.

Александр. Потому что мы однофамильцы?

Врач. Этот человек — гений. Обыватели зачастую не сознают, что медицина двигается вперед семимиль...

Александр. Я сознаю. Я отдавал мои таблетки Иванову. Ему как раз было нужно слабительное.

Александр выходит.

Врач. Следующий.

Тут же, почти столкнувшись с выходящим Александром, входит преобразившийся Иванов с треугольником в руках. Он горд и одновременно подобострастен.

Врач. Здравствуйте, Иванов. Ну что, помогли таблеточки?

Иванов (*ударяет в треугольник*). У меня нет оркестра.

Тишина. Иванов, подняв палец, сигнализирует об этой тишине. Снова ударяет в треугольник.

Врач (*внезапно*). Какой сегодня день недели?

Иванов. У меня никогда не было оркестра.

Тишина. Врач, однако, чем-то озабочен и упускает всю значительность происходящего.

Врач. Так какой сегодня день? Вторник?

Иванов ударяет в треугольник.

Иванов. Мне не нужен оркестр.

Тишина.

Врач (*в ужасе*). Который час? Я же опоздаю! Оркестр ждать не будет!

Врач хватает футляр со скрипкой и направляется к выходу. Иванов ударяет в треугольник.

Иванов. Нет никакого оркестра!

Врач (*выходя*). Ну, разумеется, есть. Чертов оркестр!

Оркестр подает голос. Один аккорд.

Иванов слышит его и сникает. Еще аккорды. Врач уже ушел.

Иванов (*потрясенно*). У меня есть оркестр.

Музыка.

У меня всегда был оркестр.

Музыка.

Я всегда знал, что у меня есть оркестр.

Музыка. Александр сидит на своей койке в камере. Иванов садится на стул Врача в кабинете. Врач садится в оркестр, в группу скрипачей. Саша направляется к Иванову. Музыка играет долго, потом смолкает.

Иванов. Войдите.
Саша. Александр Иванов.
Иванов. Совершенно верно. А ты кто?
Саша. Александр Иванов.
Иванов. Мальчишка — идиот.
Саша. Мне велели прийти. Это насчет моего папы?
Иванов. Как его зовут?
Саша. Александр Иванов.
Иванов. Это не больница, а сумасшедший дом.
Саша. Я знаю. Вы доктор?
Иванов. Иванов?! Ну конечно! Тяжелый случай.
Саша. Что с ним, доктор?
Иванов. Медведь на ухо наступил. У тебя-то как с музыкой?
Саша. Никак.
Иванов. На чем играешь?
Саша. На треугольнике. Так меня из-за этого вызвали?
Иванов. Из-за чего же еще?
Саша. Из-за барабана?
Иванов. Ты о чем?
Саша. Не оставляйте меня тут. Я вернусь в оркестр.
Иванов. Можешь играть в моем.
Саша. Но я ничего не умею играть, чесслово.
Иванов. Ну, в треугольник-то бить — невелика музыка. Все мы конгруэнтны треугольнику. Это первая аксиома Эвклида, великого древнегреческого музыканта.
Саша. Да. Ясно.
Иванов. Вторая аксиома звучит так: на треугольнике легче играть больному человеку, чем здоровому верблюду. Из этого следует третья аксиома: верблюд умеет играть на треугольнике. И, наконец, главный вывод Эвклида: на

треугольнике сыграет кто угодно, даже очень-очень больной.

САША. Понятно, все понятно... (*Плачет.*) Пожалуйста, посадите меня вместе с папой.

ИВАНОВ (*безумствует*). Пять постулатов Эвклида! Треугольник плюс бас — уже ансамбль, дуэт. Два треугольника вместе с этим басом составляют трио.

САША. Вы доктор?

ИВАНОВ. Самое длинное расстояние между двумя точками — это тромбон.

САША. Вы не доктор.

ИВАНОВ. Струна имеет длину, но не имеет точки.

САША (*кричит*). Папа!

ИВАНОВ. Как формулируется золотое правило?

САША. Папа!

ИВАНОВ (*кричит*). Линия — это черта, и ее надо подвести. Подо всем.

САША выскакивает из-под прожектора, который освещает Иванова, и убегает на возвышение, где сидит оркестр. Следующие четыре реплики Саша поет, останавливаясь возле разных оркестрантов. Вся эта сцена идет под музыку.)

САША (*поет*). Папа, куда они тебя засадили?

Стишки Александр произносит быстро и ритмично.

АЛЕКСАНДР. Милый Саша, не грусти.
Выбор прост: себя спасти
Или дать тебе расти,
Чтобы веру обрести
В то, что честь всегда в чести.
Ты за все меня прости.

САША (*поет*). Папа, папа! Не упрямься. И все будет хорошо.

АЛЕКСАНДР. Все их якобы "права" —
Знать, что правда — трын-трава,
Совесть пустят на дрова,
Перемножат дважды два,
А получат три иль пять...
Ты учись, сынок, считать.

САША. Папа, папа! Не упрямься. И все будет хорошо.

АЛЕКСАНДР. Я готовлюсь умирать,
Но не стоит унывать.
Ты нас в памяти храни,
Фото мамы береги.
Будь отважен, мой сынок.
Правда есть. Всему свой срок.

Саша. Папа, папа! Не упрямься. Ты тоже будь отважен. Наври им что-нибудь!

Камера

Саша (*уже не поет*). Наври им. Скажи, что они тебя вылечили. Скажи им спасибо.

Александр. Так делать нельзя. Неправильно.

Саша. Но ведь они сами злые! Значит, их можно обманывать.

Александр. Если их обманывать, это поможет им и дальше быть злыми. Это заставит всех думать, что они вовсе не злые.

Саша. Неважно, пусть думают. Я хочу, чтобы ты вернулся домой.

Александр. А другие папы? И мамы?

Саша (*кричит*). Ты тоже злой! Нельзя себя убивать! (*Убегает.*)

Врач перемещается из оркестра в класс.

Врач. Иванов!

Александр. Милый Саша Иванов,
Сын любимый...
Будь здоров.

Врач. Иванов!

Иванов перемещается в камеру.

Иванов!

Саша двигается в направлении класса.

Александр (*опять скороговоркой*).
Верен будь себе всегда.
Дважды два — не двадцать два.
Лишь четыре тут ответ.
И других ответов нет.
Делать нечего, прощай.
Добрым словом поминай.

Класс

Саша входит в класс. Врач уже там. Учительница по-прежнему возле парты.

Учительница. Ну как, Саша, ты его уговорил?

Саша. Он умрет.

Врач. Я не имею права дать ему умереть.

Саша. Тогда отпустите его.

Врач. Я не имею права его отпустить, пока он не признает, что его вылечили.

Саша. Значит, он умрет.

Врач. Он скорее умрет, чем признает, что его вылечили? Ненормальный. Так нельзя.

Саша. Так отпустите его!

Врач. Я не имею права. Это логический тупик. Ты сказал ему, чтобы он не упрямился?

Саша. Это вы не должны упрямиться. Иначе вы от папы не избавитесь.

Врач. Что же я скажу полковнику? Он конечно гений, но эту стену и ему не пробить.

Звуки органа. Появление Полковника должно быть максимально внушительным. Он входит в сопровождении органной музыки. Врач направляется ему навстречу. Полковник его игнорирует. Он останавливается перед Александром и Ивановым. Говорить он начинает, когда смолкают звуки органа.

Камера

Полковник. Иванов!

Александр и Иванов встают.

(*Обращается к Иванову*). Александр Иванов?

Иванов. Да.

Полковник. Вы верите, что психически здоровых людей сажают в психиатрические лечебницы?

Врач. Простите, доктор Ро...

Полковник. Заткнитесь. (*Иванову.*) Ну, как по-вашему, может советский врач упечь здорового человека в сумасшедший дом?

Иванов (*озадаченно*). Не думаю. А почему вы спрашиваете?

Полковник (*деловито*). Вот и славно. Как вы себя чувствуете?

Иванов. Хорошо. Отлично настроен, ничем не расстроен.

Полковник. Вот и славно. (*Поворачивается к Александру.*) Александр Иванов?

Александр. Да.

Полковник. У вас есть оркестр?

Иванов открывает было рот.

(*Иванову.*) Заткнитесь. (*Александру.*) Ну? Отвечайте.

Александр. Нет.

Полковник. Вы слышите какую-нибудь музыку?

Александр. Нет.

Полковник. Как вы себя чувствуете?

Александр. Нормально.

Полковник. Обычно говорят “нормально, спасибо”.

Александр. Нормально, спасибо.

Полковник (*Врачу*). Эти люди абсолютно здоровы. Обоих выписать, сегодня же.

Врач. Так точно, товарищ полковник... эээ... доктор Ро...

Уход Полковника почти так же внушителен, как его появление, тоже под звуки органа. Но на этот раз оркестр играет вместе с органом — приближается финал.

Учительница поднимается в оркестр.

Врач подсаживается к скрипачам, достает свой инструмент и начинает играть.

Иванов берет треугольник, встает в группу ударников и тоже начинает играть.

Саша выходит на авансцену по центру, перед оркестровым возвышением — так надо сделать в том случае, если к органу, занимающему заднюю часть сцены, ведет уходящий чуть вверх и перерезающий оркестр центральный проход.

Александр и Саша двигаются по этому проходу, Саша бежит чуть впереди.

Наверху он поворачивается и поет — мелодия прежняя.

Саша (*поет*). Папа, не сходи с ума! И все будет хорошо!

Александр. Саша...

Саша (*поет*). Все может кончиться хорошо!

Музыка.

В данную подборку включены рассказы двух известных прозаиков, с чьими произведениями российская читающая публика хорошо знакома. Это Адам Торп, чей роман "Правила перспективы" был напечатан в "ИЛ" (2009, № 5—6), и Хилари Мантел, автор романов об эпохе Тюдоров: ее роман "Волчий зал" (Букеровская премия 2009 года) вышел на русском языке в 2011 году; а годом раньше, в 2010-м, был издан ее мистический роман "Чернее черного". В 2012 году она получила вторую Букеровскую премию за вторую часть трилогии о Тюдорах.

Кроме того, желая познакомить читателей и с тремя другими яркими, но неизвестными в России английскими прозаиками старшего поколения, мы включили два рассказа популярной романистки и новеллистки Джейн Гардем, единственной британской писательницы, дважды награжденной Уитбредовской премией, — в ее багаже более 20 романов; рассказ Пенелопы Фитцджералд, букеровского лауреата 1979 года (роман "На воде") и лауреата Национальной премии британских критиков 1997 года (роман "Голубой цветок" о немецком романтике Новалисе), — ее имя вошло в список "50 лучших британских авторов второй половины XX века), а также небольшой рассказ Дэвида Константайна, оксфордского профессора, поэта и писателя, чей роман "Дэвис и огненные поля: Жизнь сэра Уильяма Гамилтона" (1985) получил широкое признание в Великобритании.

В этой подборке отражено творчество "большеформатных" писателей Англии с, так сказать, более камерной стороны. Авторы популярных романов, они известны у себя на родине и как новеллисты, но их рассказы, которые по силе и мастерству не уступают их же "большой прозе", остаются за пределами внимания переводчиков. Это упущение мы и пытаемся восполнить.

Джейн Гардем

Перевод Ольги Новицкой

Дамасская слива

ГОВОРЯТ, чем плодороднее почва, тем безобразнее местность, но Восточный Кент никогда не казался мне безобразным. Долгие мили светлого рыхлого ила, где некогда плескались рыбы Северного моря, радуют глаз в любое время года: сизым отливом бесчисленных капустных грядок по осени, зелеными листьями и кремовой сердцевиной больших тугих головок запашистой цветной капусты или багровыми кочанами радиккио в летнюю пору и пробивающейся то здесь, то там — о радость, ведь с 1939 года его не сеяли! — хрупкой прозрачной голубизной льна. От Дила, лежащего у моря, вглубь острова, до самого Кентербери, простираются фермерские поля, а вдоль шоссе по обеим сторонам идут огороды местных жителей. На щитах пестреют грубо намалеванные плакаты с нетрадиционной орфографией, гласящие: СЕНО, ОРЕХИ, ПОЧЯТКИ, а прямо под щитами, на раскладных столиках, навалена сахарная кукуруза, такая дешевая, что дешевле только даром: набирай полную корзину крупных толстеньких веретенец в зеленых листьях и кидай мелочь в стоящую рядом жестянку.

Зимой черная паутина опор и проволочных растяжек, разделяющих посадки хмеля, опутывает все побережье, а сверху смотрит белесое небо. В мае листья латука расстилаются до

© Jane Gardam, 1994
© Ольга Новицкая. Перевод, 2012

границы полей Королевского гольф-клуба, точь-в-точь приникшие к земле лепестки, которые сейчас взметнет ветром и понесет через Сэндвич-бей прямиком в Бельгию. Не пройдет и недели, как под брызжущими струями полива они пустят крепкие корни и воспрянут. Порой латук торчит чуть не под ногами, рви — не хочу, прямо как дикорастущая капуста, когда-то завезенная на Альбион древними римлянами, — ее полно на меловых утесах Дувра. После уборки урожая на полях по краям валяются кочаны цветной капусты, словно отрубленные головы жертв революции. В прошлом году в окрестностях Парамур-Фарм, я набрела на гору переспелого крыжовника чуть не два метра высотой; над бледно-желтыми ягодами, похожими на засахаренные фрукты, вились осы. Под выстроенными как по ранжиру низкорослыми яблонями вечно остаются не убранные сборщиками плоды ярко-красные, пунцовые, зеленые, желтые — они лежат, образуя пестрые груды и дорожки. На макушке каждого дерева маячит яблочко-другое, это "на счастье", для птиц. А бывает, что остается гнить и целое поле неубранного гороха, который из зеленого превращается в желтый. Восточному Кенту с его суровым неласковым климатом и суровыми несгибаемыми обитателями плодово-овощное изобилие и даже расточительность не страшны, тут знают, как с этим сладить.

И когда в одну ночь пустили под топор яблоневые сады, такие щемяще-прекрасные, такие пышные, что, казалось, прошумят еще не одну сотню лет, то не успели глаза просохнуть, как на смену вырубленным старым яблоням насадили новые, молодые и сильные. И в овощные лавки Сэндвича, Дила и деревушек Фордвич и Ворс покупатели идут не за яблоками, а за ранними красными дискавери, за осенними желто-зелеными гринсливз и за румяным джонаголдом. Картофель тоже не какая-то там картошка, а исключительно дезире.

И когда утром на горизонте не маячит длинная, в полмили, череда трехметровых тополей, которые искони воспринимались как неотъемлемая часть пейзажа, никто не сокрушается. Проходит три года, и сильные ветвистые кроны снова вздымаются выше кровель домов. Крохотные виноградники, их всего-то пять-шесть, каждый площадью не более нескольких акров, радуют глаз истинно французским очарованием и возделываются с неистовым упорством, а когда какой-то из них удостаивается международной премии, в небо взвивается флаг.

К рыбе тоже относятся со всей серьезностью. В Диле пять рыбных лавок, и, по крайней мере, две из них торгуют собственным уловом. Как-то раз трое мальчишек волокли по Саут-стрит в лав-

ку Григга что-то большое и серое, до странности похожее на дохлую русалку, но, скорее всего, хотели просто похвастаться добычей, поскольку в продаже я ничего подобного не увидала.

В этих лавках не пахнет рыбой, там чувствуешь только свежий запах соленой воды и берегового ветра, поэтому, если ночью штормило, звонить и спрашивать, что сегодня в продаже, — напрасный труд. Чему там быть, если лодка так и простояла на прибрежной гальке? Кое-что, конечно, морозят впрок, но по мелочи и не для "своего" покупателя.

Свежую рыбу обыкновенно вываливают на мраморные прилавки, а не раскладывают, как в Лондоне, по чешуйчатым керамическим блюдам. На это просто нет времени, все мгновенно раскупается. Жителям удаленных от побережья городов тут многое показалось бы странным: люди огромными пакетами берут серебристую кильку (двенадцать пенсов за фунт), каких-то морских гадов с торчащими из раковин усами, здоровенных разделанных крабов цвета заката. Маленьким детям покупают креветок в бумажных кульках, и никакого тебе мороженого, никаких бигмаков. Однажды я видела старушку в шерстяном шлеме с прорезью для глаз и вязаных митенках, выбиравшую устрашающего вида черного омара. "Это подарок. У подруги день рождения". Как-то это не очень по-английски. Может, это по-французски? Может, берет свое французская кровь наших соседей с противоположной стороны Ла-Манша? А что, стоит задуматься!

Сливки местного общества покупают рыбу у братьев Кэвелл, в крохотном прибрежном магазинчике, расположенном между Дилом и Уолмером. К прилавку там принято подходить по одному, до такого плебейства, как очередь, у Кэвеллов не опускаются. Остальные в почтительном молчании стоят и ждут, пока один из братьев нашептывает покупателю советы или инструкции по приготовлению, буде о таковых спрошено. На витрину почти ничего не выкладывают, хотя братья торгуют треской и пикшей собственного копчения и готовят креветки собственного улова в горшочках, так что человек просто заказывает все что нужно. Время от времени оба брата К. (или их все-таки трое?) скрываются за занавеской, словно православные священники за Царскими вратами во время службы, и из этой святая святых доносится позвякивание льда, стук ножей и журчание воды. Рыбу выносят для молчаливого обозрения, потом снова уносят, чтобы разделать, еще раз приносят для повторного осмотра и, наконец, вручают клиенту завернутой в чистую вощеную бумагу в обмен на астрономическую сумму. Так что приглашение на домашний ужин от человека, живущего рядом с одной из этих рыбных лавок и

знающего толк в стряпне, я не променяю ни на один, или почти ни на один, ресторан в любой или почти любой стране мира. Но что об этом известно за пределами Англии? Ровным счетом ничего. И лучшее тому доказательство — история про моего давнишнего ученика, швейцарца Клауса, который во всем своем величавом блеске недавно вновь возник на моем пути на берегах Женевского озера, в сердце Швейцарии, в сытом граде телятины и сливок.

Про мальчика по имени Клаус я впервые услышала от шапочной знакомой, которая дружила с его английскими родственниками: дядей и двумя тетками. Все они жили в коттедже под Айторном. Мать Клауса, третья из сестер, скончалась меньше чем за год до этого, отец, швейцарец, тоже уже несколько лет как умер, и племянника решено было усыновить. Теперь Клауса пытались устроить в частную английскую школу, а для этого необходимо было сдавать вступительный экзамен на общих основаниях.

— *Очень* неглупый паренек, — рассказывала мне приятельница. — *Очень* способный, с безукоризненным английским, но... лучше они вам все сами объяснят. Правда, с разговорами-то у них не очень, люди они флотские.

— Плотские? — переспросила я.

Почему-то первая мысль моя была об утехах. И о животе.

— Флотские. Моряки, одним словом. Брат служил в Королевских ВМС, одна из сестер тоже, в женской вспомогательной службе, а теперь, как их списали на берег, места себе не находят. Обычное дело. Своей семьи ни у кого нет и не было никогда, так что можете себе представить. Сейчас подобный расклад нечасто встретишь. Ну, взрослые все больше молчат. А мальчику не хватает воображения. Вы ведь, кажется, даете частные уроки, да? Мне кто-то говорил. Уж они бы вам были так признательны, так признательны!

Коттедж, где жила семья моего нового ученика, находился не на побережье, а чуть в глубине, надо было ехать по ровным проселочным дорожкам через Шолден, мимо Нортборна с его привидениями, и потом по узенькой тропинке через кукурузные поля. Стоял ласковый сентябрьский денек, и я с удовольствием крутила педали, оставляя позади один указательный столб за другим. Мелькали заросшие травой перекрестки, на которых не было ни души, и непонятный белый ветряк на фоне синего неба. К деревне Клауса вело неширокое шоссе, которое там же и обрывалось, переходя в немощеную сельскую улицу. Дом — он назывался "Сливовый коттедж" — стоял в самом ее конце, поэтому из него открывался вид на поля, речку,

дремлющие вязы и буки. По берегу бродили тучные черные коровы. Над головой простиралось безбрежное небо. Крохотная рассыпанная вдоль реки деревушка спала мертвым сном.

Мальчик сам вышел на порог и застыл, придерживая руками псевдосредневековый засов. На стене рядом с дверью висел псевдосредневековый же фонарь, а под ним — деревянная табличка с вырезанным на ней названием: "Сливовый коттедж". Мальчик посторонился, пропуская меня внутрь, и через коридор, где мебели почти не было, а вот резиновых сапог — в избытке, я увидела сад и розовую клумбу, над которой согнулся кто-то крепкий, но неразличимый. По полу на аккуратных фанерных веерообразных сушилках из магазина "Сделай сам" были разложены срезанные осенние розы, снабженные металлическими бирками. Высокий подросток, вцепившийся в засов, стоял чуть не по колено в розах, такой прыщавый, такой ершистый, с угрюмо потупленными глазами, прикрытыми кожистыми веками, с нескладными руками и столь отчаянно тощий, что казался почти вогнутым. В его взгляде мне почудилось отвращение, но потом я подумала, что виной всему постигшее его несчастье.

Из-за угла дома появилась одна из теток, скорее всего, военно-морская. Она толкала перед собой тяжеленную тачку. Мы отвернулись, пока она откатила ее вниз по дорожке. Разговаривая со мной, она достала из кармана недоеденный рогалик и принялась его жевать. Потом, когда мы с Клаусом отправились в заднюю часть дома, где находился кабинет, из кухни, мимо которой мы проходили, выглянула вторая тетка. Там внутри повернуться было негде от пластмассовых емкостей с черенками. На столе стояла большая консервная банка с супом, две банки поменьше с фасолью в томате и пакет с нарезанным белым хлебом. Когда мальчик уселся за дядин стол перед окном, давешний неразличимый человек разогнулся и двинулся прочь от клумбы. Проходя мимо окна, он, не глядя в нашу сторону, заученным движением вскинул руку к голове. Позднее я увидела, как он стоит у компостной кучи и чистит банан. Снятые шкурки он методично отправлял в компост, а потом задумчиво посмотрел на банан и швырнул его туда же.

Клаус и впрямь оказался во всех отношениях неглупым. У него были феноменальные способности к языкам, так что на английском он говорил не просто уверенно, а практически как носитель: легко, естественно и без акцента. По его словам, французским и немецким он владел на том же уровне, а испанский "набирал". Точные науки, как он мне объяснил, для него "никакой сложности не составляли", и сомневаться в

этом у меня причин не было, поскольку вскоре я поняла, какой у него цепкий, рациональный склад ума.

Но мне предстояло обучить его писать сочинения на добровольно-принудительную тему, а он пока что не имел представления о том, как к этому подступиться. Мы разбирали один образец за другим, но каждое мое предложение Клаус неизменно встречал скептической улыбкой.

— Это невозможно. Смотрите, здесь написано: "Путешествие". Это же неконкретно. Так ничего написать нельзя.

— А ты прямо так и напиши, просто вырази свою точку зрения.

— Но это будет невежливо. И не слишком дальновидно, потому что настроит комиссию против меня.

— С чего ты взял, Клаус, совсем не обязательно! Скорее, наоборот. Ты, по-моему, понимаешь все слишком буквально. И чересчур всерьез. От тебя требуется просто сесть и написать все, что ты знаешь о путешествиях.

— Но я путешествовал всего один раз, самолетом из Женевы до аэропорта Гатуик, а потом сюда на машине.

— Не беда, многие люди и того не делали. Для кого-то переход через поле — уже путешествие. Представь, что ты вышел и отправился куда-то из этой комнаты, в сад, потом дальше, к реке. Чем не путешествие? Пойти посмотреть на коров — это путешествие. Посидеть где-нибудь, поразмыслить — тоже путешествие. Подумай, как это можно повернуть.

— Неужели кто-то будет это читать?

— Это уж от тебя зависит! Напишешь интересно — будут.

— Но мне-то неинтересно.

— Н-да... Ну что ж...

Еще один урок на той же неделе:

— Ладно, попробуем зайти с другого конца. Скажи, что тебя интересует.

— Математика. Перевод. И...

Равнодушно скользившие по мне глаза теперь уставились в окно, на догорающее солнце. Дядя нынче вечером на сцене не появлялся, но его плетеное кресло с пухлой неяркой подушкой просматривалось под тремя молодыми деревцами, росшими у стены из местного красного кирпича, порядком выветрившегося. Рядом на траве валялась забытая шляпа. В лучах заката розы на клумбе полыхали каким-то отчаянным цветом. Я вдруг вспомнила, что Клаус долгие годы воспитывался без отца, а недавно потерял мать.

— Надо все-таки постараться и что-то сделать, — сказала я.

Убедившись, что у него есть все составленные мною памятки с описанием различных подходов к той или иной теме,

а также образцы сочинений, я засобиралась домой. Он, как всегда, вежливо проводил меня до дверей. В кухне вторая, "сухопутная" тетка, более женоподобная, чем сестра, стояла перед старой газовой плитой и сосредоточенно обугливала на сковородке консервированную фасоль в томате.

— Ну что ты будешь делать! — сокрушенно воскликнула она, когда мы проходили мимо. — Готовить-то у нас особенно некому, в саду дел невпроворот.

Я перехватила взгляд Клауса и впервые ощутила, до какой степени инородным телом он казался в этом доме. Это были чужие территориальные воды, и в них он едва держался на плаву. В последующие несколько недель, пока Клаус тужился, пытаясь излить на бумаге хоть малую толику своей души, постоянный запах пригоревшей стряпни и кусочничающие тети-дяди, возникающие в саду то здесь, то там, стали порядком действовать мне на нервы.

Однажды желудок Клауса подал голос. Я вытащила из сумки плитку шоколада, поломала ее на куски и положила на стол. Он к ней не притронулся.

— Угощайся!

— Спасибо, но я ем только швейцарский шоколад.

— Попробуй, это же очень вкусно!

— Нет. Я просто хочу поесть. Хоть раз сесть и поесть нормально.

— Ладно, в следующий раз я принесу тебе швейцарский шоколад. А сейчас опиши мне, что такое голод. Опиши, как ты это чувствуешь.

Он воззрился на меня с изумлением.

— Что же тут описывать? Ну, это очень неприятно.

— Подумай, на что похоже это ощущение. Сравни его с чем-нибудь.

— То есть я должен употребить метафору, правильно? Как вы мне объясняли.

— Совершенно верно. Ну, давай, употребляй!

— Голод — это как... голод. Он похож сам на себя. Мне кажется, его ни с чем нельзя сравнить.

— Господи ты Боже мой!!! Ладно.

Да, я знаю, что это жестоко, что это запрещенный прием, но у меня не было выхода.

— Тогда опиши что-нибудь другое. Что-нибудь страшное. Смерть, например. Расскажи мне про нее.

— Каким образом? Я пока еще не умер.

— Ты нет. Но у тебя умерла мама. Опиши мне ее смерть. Расскажи мне, как это было. Я слушаю.

— Я при этом не присутствовал.

— Расскажи, как ты об этом узнал. Где ты находился в этот момент, дома? В больнице?

— Это была не больница, а клиника.

— Опиши эту клинику. Расскажи, какая она. Вот тебе бумага, ручка, если хочешь, я могу выйти, чтоб тебя не смущать.

— Вы мне не мешаете.

Я все-таки отправилась в сад и подошла к трем молодым терносливам. Стволы деревьев покрывала серо-зеленая, отливающая серебром кора, и они казались пушистыми и теплыми на ощупь. Среди трепета бледной листвы и серебряных ветвей проглядывали пучки мелких, крепеньких густо-синих ягод. В траве у корней громоздилась кучка спиленных сучьев, черных и корявых. Очевидно дядя складывал сюда то, что потом пойдет на растопку. Там попадались тяжелые, плотные ветки с серебристо-свинцовой древесиной, такой же старой, как стена, рядом с которой они некогда росли, а может еще старше. Дерево таило в себе летние запахи вековой давности, теперь давно забытые. Как же донести все это до мальчишки, ну пусть не все, но хоть малую толику!

Его большие башмаки зашаркали по траве, и он появился, сжимая в пальцах листок бумаги, на котором было написано сочинение про смерть. Вот что я прочла:

В 13:40 моя мать находилась в пластиковой кислородной палатке, в руке она держала специальное устройство. В больнице все было организовано очень хорошо и эффективно, поэтому, когда сиделка сказала мне, что общаться с матерью теперь невозможно, потому что сквозь пластмассовые стенки она все равно не услышит, что я говорю, я согласился с ее словами. Сиделка предложила мне пойти выпить кофе в помещении для персонала в дальнем конце отделения. Я так и сделал, а в 13:50 услышал, как по коридору бегают люди, и увидел врача, направлявшегося в палату. В 13:59 вошла сиделка, чтобы сообщить мне о смерти матери.

— Эх, Клаус, ты... Послушай, Клаус, пожалуйста, посмотри внутрь себя. Вернись туда. *Вспомни*, — произнесла я с нажимом.

Он сел в скрипучее кресло и уставился на сливовые деревья. Потом написал:

Меня почти сразу же (в 14:20) спросили, хочу ли я забрать с собой обручальное кольцо матери, потому что иначе оно либо потеряется, либо его заберут сотрудники похоронного бюро. В 14:30 мне вынесли кольцо и другие ее вещи. В 14:33 мне предложили попрощаться с ней, но я отказался смотреть на мертвое тело и сказал,

что предпочел бы запомнить ее живой. Мне еще раз предложили кофе, потом поинтересовались, не нужно ли позвонить кому-нибудь, чтобы меня отвезли домой. На оба предложения я ответил отказом и приблизительно в 14.40 вышел из здания больницы.

— Но Клаус...

— Послушайте, Лиззи, — начал он.

Во мне шевельнулась надежда.

— Дело в том, Лиззи, что моя мать была не особенно приятным человеком, так что я не переживал, когда она умерла.

— Все, — произнесла я, — сдаюсь.

Мы смотрели на сливовые деревья, а мелкие тернослив смотрели на нас. На серебристой коре коротко вспыхнул розоватый отблеск закатного солнца.

— Что это за слива? — спросил Клаус.

— Это тернослива. У нас, в Англии, ее очень любят. Очень древнее растение, ставшее частью нашей истории. Ее завезли сюда несколько веков назад. Тернослив еще называют дамасской сливой, так что, возможно, в Сирии ее пробовал сам святой Павел.

— А это что, вкусно?

— Очень, но только в готовом виде. У нее довольно резкий вкус, очень сильный. Поэтому нужен сахар. А со сливками — просто божественно. Сочетание двух этих красок...

— Я ни разу не пробовал дамасскую сливу.

По пути домой, проезжая по дорожкам, по выпуклым тропинкам через осенние поля, мимо ветряка, окруженного льном, я все время думала: "Бедное маленькое ничтожество. Бедное-несчастное самодовольное надутое ничтожество. Что же надо было сделать, чтобы из тебя такое выросло? Или, может, ты таким уже родился?"

— Ну уж нет, — пообещала я, — дамасскую сливу ты у меня, голубчик, попробуешь.

С этими словами я набрала номер его спартанских теток и сообщила им, что в воскресенье мы приглашаем Клауса на обед. *Отобедать*, — произнесла я в трубку (а вы пропалывайте свои лобелии и завидуйте!).

— *Отобедать?!* — повторили они ошеломленно и восторженно. — У вас?!.. В 12 30. Это так мило с вашей стороны! У нас самих совсем нет времени заниматься такими вещами, особенно сейчас, когда столько хлопот с урожаем. Прямо даже неловко.

— И что же в меню? — бодро спросил меня муж. — Английская классика? Пятнистый Дик с заварным кремом? Еще какой-ни-

будь пудинг? Имбирный? Мясной пирог с почками? Правильно, пусть бедолага привыкает к школьной жизни.

— Ничего подобного. Вот увидишь. Совсем наоборот!

— А что будет пить наш юный друг? Нальем ему винца или купим пару банок колы?

— Я, честно говоря, думала, что вино.

— Придется сходить в супермаркет. До другого у него нос не дорос.

— А как насчет нас с тобой?

— Ну, это другой разговор. Надеюсь, приличное вино хоть как-то поможет скрасить ситуацию. Я только одного не понимаю, зачем разводить всю эту канитель, если, по твоим словам, он чудовище. Подумать только, вообще ничем не интересоваться, и это в четырнадцать-то лет! Уму непостижимо!

— А вдруг все не так страшно? Ладно, попытка — не пытка.

— Так что же у нас завтра подают? — осведомился мой муж накануне торжественного обеда, собираясь провести ревизию винного погреба. — Ты хочешь сказать, у нас будет и мясо, и рыба?! И это, по-твоему, обычный воскресный обед?!

— А еще сырная тарелка. И пудинг. И открытый пирог с терносливами. А на закуску я сделаю тарталетки с паштетом. Так, потом рыба. Правильно, рыба. Потом ростбиф с йоркширским пудингом, он ведь об этом даже не слышал, а на гарнир потушу цуккини и брокколи с травками под соусом на фазаньем бульоне с вином и настоящей английской горчицей с бальзамическим уксусом. И боливийский кофе. А потом он останется на чай.

— Послушай, а ты, часом, не влюбилась?

— Да меня от него с души воротит! Но ему я нос воротить не дам. Он приехал в Англию учиться, так что пусть выучит, что у нас умеют готовить. Такой урок я ему с радостью преподам.

На обед были купленные у Кэвеллов морские языки с лимонным соком, горячие, хрусткие, обжаренные в панировке до изогнутой корочки. Потом шотландская говядина, филейная часть, нежная и сочная, словно запеченная в тесте, с зелеными овощами и маленькими морковками, приправленными сливочным маслом с петрушкой и мелко порубленным сырым лучком. Картофель, естественно, дезире, я отварила до полуготовности и сунула на семнадцать минут в духовку на самый верх запекаться, предварительно сбрызнув оливковым маслом.

— Масло первого холодного отжима, — сказала я, а когда Клаус спросил "Что значит холодный отжим?", а муж ответил: "Наверное, это отжим без любви", Клаус искренне расхохотался.

Отжим без любви превратил подрумянившиеся в печке картофелины в золотистые хрустящие цветки с мягкой сердцевинкой. Потом был сорбет из красной смородины (знаменитая суррейская смородина из Рушам-Фарм), а к открытому пирогу с терносливами я выставила на стол кувшин густых желтых сливок из Соллей-Фарм; благодаря этому месту Ворс упоминается в мишленовских справочниках. И сыры: чеддер (я потратила уйму времени, чтобы выбрать из пяти отличных видов самый-самый), местный шевр из козьего молока и отменный дабл глостер.

Слоеное тесто для открытого пирога мне удалось на славу. Я заранее охладила нож, миску и воду до ледяной температуры, и оно получилось хрустящим и тающим во рту, распадающимся на полупрозрачные чешуйки, а внутри, погруженные в застывшее вязкое озерцо из пунцового сиропа, нежились темнобокие терносливы, ни дать ни взять пышнотелые негритяночки на курорте. Сверху вся эта красота была присыпана коричневыми кристалликами тростникового сахара.

Клаус ел и ел. И мы ели. Он сидел молча, порозовевший, погруженный в себя. На последнем головокружительном вираже гостеприимства я метнулась в кухню и через мгновение вернулась с испеченным для него блинчиком, политым кленовым сиропом. Когда я выкладывала его со сковородки на горячую тарелку Клауса, он соскользнул туда с шелестом, словно падающий кленовый лист.

Мы спросили, не хочет ли он вина к мясу, и он медленно и серьезно осушил два бокала.

— О, Шоссань-Монраше, — произнес он, обращаясь к мужу. — Благодарю вас, сэр.

Он выпил бокал английского вина со льдом и сказал, что оно очень хорошее и "очень похоже на рислинг".

— Будь ты постарше, — улыбнулся муж, — я бы угостил тебя рюмочкой барсака, под сливы это французское вино идет замечательно.

— Я бы с удовольствием, спасибо большое, — ответил Клаус. — И возраст тут совсем ни при чем. Мой отец научил меня пить, не теряя головы. Он был виноторговцем.

— Но когда же он успел? — озадаченно спросила я. — Он ведь умер, когда ты был маленьким.

— Совершенно верно. Мне было девять. Думаю, я прогуляюсь до дома пешком. И вам не нужно меня отвозить, мне хотелось бы слегка освежиться перед возвращением в "Сливовый коттедж".

Мы немного прошлись вдоль моря, откуда открывался вид на темно-синие берега Франции. День стоял удивительно яс-

ный, но в воздухе пахло дождем. Я, желая пошутить, сказала, что Франция сегодня открыто заявляет о себе, но Клаус пропустил метафору мимо ушей. Не прошли мы и нескольких шагов, как он спросил:

— А вы действительно собирались пригласить меня на чай? Я ни разу не пробовал настоящий английский чай.

— А как же твоя мама-англичанка? — спросили мы с мужем в один голос.

— У нее был один сад в голове.

Я не просто собиралась пригласить его на чай, я, можно сказать, для этого работала не покладая рук, и на столе стояли толстенькие треугольные ломтики ржаного хлеба с маслом, тоненькие треугольные ломтики белого хлеба с маслом, сконы с маслом и к ним вазочка домашнего клубничного варенья с ягодами, зависшими в прозрачном сиропе, словно рубиновые подвески. У нас была пышная воздушная буханочка Сэлли Ланн, достойная пера Джейн Остин, и бисквит с прослойкой из джема, покрытый белой сахарной глазурью. У нас были свежайшие корзиночки с лимонным заварным кремом и тарталетки с малиной, крошечные, размером с пятачок, и тающие во рту. У нас был бисквитный рулет с начинкой не из хилых липких вишен, а из горького шоколада. И вот уж верно, что охота пуще неволи, хоть я и убила на это пять часов, и Пасха была давно позади, на столе красовался настоящий фруктовый симнел-кекс, утопавший в сладком как мед и свежем как воздух нежнейшем марципане.

А потом мы, с Божией помощью, доставили мальчика теткам.

— Нет, хоть ты у нас и правда чокнутая, — подвел черту мой муж по дороге домой, — но теперь на белом свете есть хотя бы один швейцарец, который навсегда запомнит, с каким трепетом англичане относятся к еде. Для международной общественности это должно быть откровением. Другой вопрос, сможет ли он написать экзаменационное сочинение. Рискну предположить, что нет. Срежется.

Но Клаус не срезался. По счастливой случайности одна из экзаменационных тем по выбору звучала как "Радости застолья", и, насколько я понимаю, его сочинение вылилось в перечисление названий необычных блюд, рецептов и краткий этнологический трактат. Экзаменатор, которого Клаус по праву должен считать своим добрым ангелом, должно быть, несколько оторопел. Клаусовы дяди-тети прислали мне вместе с оплатой за труды гигантское растение в горшке, а от ученика я получила очень официальное благодарственное письмо. Он вырос, стал в своей Швейцарии адвокатом, и мы, как водится,

долгие годы поддерживали отношения на уровне рождественских открыток, а потом и открытки сошли на нет, и о Клаусе благополучно забыли.

И вот прошлым летом, отдыхая в Женеве, мы узнали из газет, что его назначили кантональным судьей. Игнорировать подобную новость было негоже, мы послали Клаусу поздравление, и уже на следующий день он звонил нам в отель. А потом мы получили приглашение на ужин.

Боже, какой излучающий благоволение великан вышел нам навстречу! В нем чувствовалась стать, достойная Мафусаила. Как он раздался в высоту и ширину, бледный, исполненный важности, неторопливый. Взвешивающий каждое слово. Голос его звучал пронзительно, словно писк летучей мыши, но это очевидно профессиональная особенность всех кантональных судей, ведь им приходится выступать в пустых залах суда[1] — такова единственная швейцарская несообразность, про которую мне доводилось слышать, но, надо полагать, несообразность весьма серьезная.

Он познакомил нас со своей супругой, и мы отправились ужинать в самый-самый из всех женевских раззолоченных ресторанов, где меню было под стать швейцарцам: коротенькое, богатое (калориями) и предсказуемое до зевоты. Вино по вкусу очень напоминало наше белое сухое из Шонбургера, но упомянутое мною название сорта "Сент-Николас в Аше" вызвало у Клауса неопределенную полуулыбку, призванную замаскировать непонимание. Хотя, с другой стороны, чего было ждать, если прошло тридцать лет!

Конечно же, мы рассыпались в благодарностях, и круглолицая хохотушка-жена Клауса сказала, как они рады, что смогли доставить нам удовольствие. И прибавила, как мы, должно быть, рады, что смогли вырваться в Швейцарию: сбежать от английского климата и английской еды.

— Сама-то я у вас ни разу не была, — улыбнулась она, — но мне рассказывали. Из уст, как говорится, в уста.

Я заверила ее, что климат в наших краях отличается восхитительным разнообразием и совсем не похож на то, что ей

1. В большинстве кантонов проведение гражданского судебного процесса возможно только после согласительной процедуры, рассматриваемой так называемым мировым судьей. Мировой судья может также иметь полномочия разрешать несущественные судебные тяжбы. Во всех основных кантонах суд второй инстанции — это профессиональный суд, состоящий из нескольких членов, которые занимают равное положение. Суд второй инстанции называется кантональным или Верховным судом. В основном он рассматривает дела по апелляциям, ходатайства об аннулировании и иногда действует как суд первой инстанции. (*Прим. перев.*)

наговорили. И еще я ждала, что Клаус скажет хоть полслова о еде. Смотрела на него и ждала.

Конечно же, минуло столько лет, но хоть что-то, хоть какой-то пустяк должен был шевельнуться в памяти, ведь должен же? Морские языки от Кэвеллов, божественный йоркширский пудинг, тарталетки, блинчик с кленовым сиропом, Сэлли Ланн, отменные сыры, нежащиеся в сиропе негритяночки? Хоть тень воспоминания должна была остаться в подкорке этого унылого рассудительного гурмана, где-то же прятался голодный мальчишка, получивший в дар один упоительный, сладостный английский день!

— Я потом там больше ни разу не был, — сказал Клаус. — Но об Англии кое-что помню. В Кенте росли такие прелестные маленькие сливы. Где я мог их видеть, Лиззи? В вашем саду? Да, такие красивые, темно-синие, и на вкус, кстати, просто прелесть. Но, по-моему, это не английский сорт. Откуда они? С Ближнего Востока? Да, из Дамаска.

Мертвые дети

ЕЖЕВИЧНЫЕ кусты были, как всегда, в октябре: непролазные, с гирляндами серебристых, черных, фиолетовых и красных ягод. Ягод на ветвях оставалось полным-полно, но многие, подернувшись плесенью, висели готовые сорваться вниз, или уже усыпали дерн крохотными шиншилловыми комочками. С той поры, как она гуляла на этой пустоши с детьми, тогда еще совсем маленькими, чего только здесь не приключалось: и пожар бушевал, и трава на корню жухла от какой-то хвори, и даже ураган налетал, так что деревья валились направо-налево, словно сметенные с доски шахматные фигуры, и лежали, поверженные и униженные, бесстыже задрав к небу вывороченные пласты земли, облепившей корни.

Но ежевике все было нипочем, и она покрывалась и покрывалась новыми побегами на радость новым поколениям сборщиков, блуждающих в зарослях с полиэтиленовыми пакетами и лиловыми от сока ладонями. Детские одежки так изменились, какие-то комбинезоны, джинсы, неуклюжая спортивная обувь, не разберешь, мальчик перед тобой или девочка. Ее дети были в платьицах и шортиках, в сандаликах и белых носочках. Давно. Тридцать пять лет назад.

С годами Алисон Эйвори подсохла, чуть одряхлела, походка замедлилась, но чувствовала себя прежней, в чем-то даже

легче и счастливее, потому что жить стала свободнее. Незачем было собирать ежевику, незачем торопиться домой к мужу, потому что мужа уже не было, и в отсутствии этих отвлекающих факторов она в свои восемьдесят два могла по-настоящему быть самой собой.

Ежевика, слыханное ли дело! Дома и без ежевики хватает беспорядка. В подарок ее не сваришь: друзья-знакомые в таком возрасте, что варенье предпочитают без зернышек. Тазы для варки давно были розданы по детям, внукам и благотворительным организациям. В пору самой получать сваренное кем-то варенье — или, как теперь говорят, конфитюр. Миссис Эйвори всегда с содроганием ждала, что придет день, когда и ей начнут дарить маленькие разноцветные баночки.

Но пустошь она любила, любила ежевичник с его пружинистыми изгибами ветвей и пыльными лазами у корней. Недавно в самой его гуще, на крохотном пятачке травы, между кустами, установили скамейку в память о собаке, которая "столько лет тут рыскала". Эти слова, кличка пса и даты его жизни были выбиты на табличке, прибитой к спинке. Поставили скамейку в марте, и, кажется, до сих пор никто о ее существовании так и не проведал.

Когда миссис Эйвори привозила сюда детей, они расстилали на этой заповедной полянке скатерть для пикника и усаживались вокруг. Теперь она медленно опустилась на дощатое сиденье и перевела дух.

Здесь она была полностью отрезана от мира.

Кого только ни заносило на пустошь с той давней поры пикников: бродяг, онанистов, развратников, грабителей, даже убийца был! О месте пошла дурная слава. Узнай кто, что она сидит здесь в одиночестве, какой бы поднялся переполох! "Престарелая Титания под сенью леса", — улыбнулась она.

Сегодня было по-особому тихо. Время обеда прошло, чай пить рано, школьники все еще за партами, а малыши мирно спят. Никто в целом свете не знает, где она. Прикрыв глаза, миссис Эйвори вслушивалась в тишину.

"После этого безобразного обеда, — думала она, — после всей этой боли..."

Обед пришлось посвятить делам будущего. Сама-то миссис Эйвори твердо верила, что размышлять о будущем вредно. Равно как и о прошлом, если уж на то пошло. Пусть вокруг все становилось более и более зыбким, тут она была непоколебима. Эта дремотная осенняя пустошь, эти ежевичины, такие тучные, такие плодоносные, бесконечно воскресающие к жиз-

ни, бесконечно наливающиеся соком, бесконечно падающие на землю, этот бесконечный звон детских голосов, когда они, невидимые, несутся по гаревой дорожке к ветряной мельнице...

— Отдай!

— Сама отдай!

...значит, уроки уже закончились.

— Идите сюда немедленно! Только попробуйте мне изгваздаться!

— Смотри, что я нашла!!!!

— Я кому сказала?! Нам же еще...

— Миллион миллионов ежевик!!! Миллион миллионов!!!

— Говорю же вам, нам пора. Господи, куда же я дела эти ключи? Где собака? Где ее черти носят?

Она слышала, не слушая, пропуская голоса сквозь себя, словно воду. "Пусть текут вокруг бедной моей головы. Глупой моей, дурной моей головушки".

Обед затеяли из-за завещания. Ее дети, Пит и Энни, приехали издалека и с тщательно спланированной одновременностью возникли на пороге точно в назначенное время, назначенное в ходе длительных обсуждений, поскольку это была не первая, и даже не вторая попытка собраться на семейный совет. Вопросы наследования предстояло обсуждать в ресторане роскошного отеля "а-ля шато", выросшего на пустоши и слывшего местом для избранных.

Туда они и пошли. Мимо неглубокого пруда, через великолепные новые ворота прямо к вылизанному до блеска парадному входу, где обнаружили расставленных у каждого столба официантов с надутыми физиономиями, лоснящиеся шторы из стеганого атласа с фестонами и подборами, а также весьма немногочисленных посетителей, сидевших на леденящем душу расстоянии друг от друга. Половина из них оказалась японцами, застывшими, оцепенелыми от всеобщего молчания и, казалось, горько сожалеющими о том, что их занесло сюда из центра Лондона.

Когда Пит и Энни были маленькими, на этом месте стоял дом престарелых. Как-то раз Энни пробралась на территорию со стороны парка, начинавшегося сразу за усадьбой: вскарабкалась по насыпи, потом залезла на террасу, огороженную цепями (а теперь ласкавшую взор белой садовой мебелью и искусственными растениями), и прижалась носом к садовым окнам, чем до смерти напугала тех обитателей, которые еще были в состоянии реагировать на сигналы из внешнего мира.

— А зачем они спят сидя? Сели в кружок и спят. А у одного слюни прям на губе висят.

— Просто они очень старенькие, — объяснила дочери миссис Эйвори.

Энни глубоко задумалась. Ей было пять лет. Круглое, как солнышко, личико терялось в пылающем солнечном нимбе золотых волос, блестящих и шелковистых. Глаза, поднятые на мать, были доверчиво и изумленно распахнуты. Миссис Эйвори понимала, что ее дочь впервые столкнулась с тем, что человек смертен.

— Я тоже буду старенькая?

— Конечно, но это совсем не страшно.

По дороге домой Энни спросила:

— И ты станешь старенькая?

— Да, но не такая, как они. Я тебе обещаю. Слово даю: я состарюсь по-другому. И ты тоже.

— И папа? И Пит? Они тоже по-другому?

— Ну конечно!

Энни уселась в коляску и мигом заснула, уютно завалившись на бок. Они медленно тащились домой, подгоняя канителящуюся собаку, которая отказывалась идти куда надо, а потом путалась под ногами и под колесами. Пит накрыл своей маленькой теплой ладошкой ее пальцы, лежавшие на ручке коляски.

— Знаешь, мам, мы, наверно, все состаримся.

Вспоминая милое серьезное личико своего шестилетнего сына, миссис Эйвори все никак не могла взять в толк, откуда же взялась его нынешняя свирепость? Пит сегодняшний не вызвал бы у того малыша ничего, кроме ужаса. Хотя вот уже много лет миссис Эйвори была знакома с этим оскалившимся чужаком, взять это в толк у нее не получалось.

В ресторан, очищенный от патины времен и прямо-таки источавший чувство превосходства, весьма, кстати, сомнительного, Пита не пустили, потому что он был в джинсах. И не при галстуке.

— Да как вы смеете, сегодня, в конце концов, суббота, еще утро, и потом, у нас же заказан столик!!!

— Таковы наши правила, сэр.

И даже Энни, главе окружного совета, несмотря на дорогой дизайнерский костюм, отличный жемчуг и авторитет, основанный на удачном замужестве, удачном разводе и четырех прелестных и весьма удачных детях, не удалось тронуть сердце метрдотеля, недалекого и холодного как сосулька, не желавшего знать ничего, кроме службы.

А посему Алисон Эйвори, Питу и Энни пришлось повернуть назад, пройти через пустошь и, чувствуя себя неуместно рас-

франченными, сесть за испещренный следами от стаканов с пивом столик в местной забегаловке, где здоровенные недоросли со щетинистыми подбородками и волосатыми подмышками орали что-то друг другу, пытаясь перекричать музыку, а заплеванный газончик перед входом был усеян пустыми стаканами, стеклянными и бумажными. Пит и Энни кипели от злости.

— Как здесь можно жить, я не понимаю? Кругом одни мещане, пошлые, малообразованные нувориши, — фыркнул Пит, — и иностранцы к тому же!

— Но мы-то переехали сюда, потому что здесь все было так дешево, — вздохнула его мать, — и как-то очень безыскусно. Настоящая эдвардианская идиллия. Вы только-только родились. Как сейчас помню, я все время думала: "Будем каждый день гулять с ними на пустоши. Они каждый божий день будут бегать по траве!" После Лондона здесь было так спокойно, так тихо...

— Зато сейчас тут о-очень даже громко, — огрызнулся Пит. — Разговаривать придется где-то в другом месте. Ну что, вернемся домой? Или, может, ну его? Как-нибудь в другой раз?

— Что, опять? Ну уж нет, — возмутилась Энни. — Сколько можно переносить? И не будет у меня другого раза, по крайней мере, до Рождества.

— Но до Рождества еще целых три месяца, — подняла глаза мать.

— Именно. Но я, смею заметить, работаю, — отрезала Энни.

Пит, живущий загадочной жизнью свободного художника, при этом ни в чем себе не отказывающий (его джинсы были от знаменитого римского кутюрье), заявил сестре, что нельзя стремиться всегда все делать самой. Пора переучиваться.

— И не подумаю, — отозвалась она. — Да, я все сама! И только благодаря этому добилась всего, что имею!

— Вот с этого места хотелось бы поподробнее!

— Дети, пожалуйста, — простонала миссис Эйвори, ковыряя лежавший перед ней на тарелке брусочек лазаньи с черной фасолью.

— Мы, конечно, можем вернуться домой и поговорить там, но ведь нам троим в твоей квартире просто не на что будет сесть. Может, поговорим на пустоши? Чем плохо? Найдем какое-нибудь местечко...

— Не нужно, — ответил Пит, — правда, не стоит. Для меня, если честно, это Божий промысел. Неловко было говорить, раз уж все пошло наперекосяк, но для того, чтоб приехать, мне пришлось в Лондоне кое-что отменить. Кое-что очень важное. Если можно, давайте-ка на сегодня поставим точку. Мне действительно пора, так я, может, еще успею. Мамуль, ты же не со-

бираешься прямо сегодня умирать? Выглядишь ты замечательно. Мы повидались, пообедали вместе, это ведь тоже важно, правда? А теперь давай-ка мы проводим тебя домой.

В голосе его слышались умиротворяющие и радостные нотки. Потом он метнул свирепый взгляд на сестру, ожесточенно листавшую ежедневник. Миссис Эйвори отложила вилку в сторону.

— Знаете, я на самом деле тоже за то, чтоб разойтись. Как-нибудь в другой раз я с удовольствием выберусь к кому-нибудь из вас в гости, например, к тебе, Энни, а ты, Пит, к нам присоединишься, ведь правда? Проведем весь вечер вместе, времени будет много. Мне так хочется скоротать с вами обоими целый вечер, чтоб никуда не спешить.

— А что если сразу договориться с поверенным на определенное время, а для мамы заказать такси и привезти ее прямо в Темпль, в Грейс-инн, — предложил Пит.

— Я категорически против! — отрезала Энни

— Почему, позволь спросить?

— Потому что это бесчеловечно, как будто речь идет только о цифрах! Как же можно вот так говорить о завещании? И потом, мы-то с тобой все-таки ни в чем не нуждаемся.

— И слава Богу, — подняла глаза Миссис Эйвори.

Она чувствовала странный прилив нежности.

Энни внимательно посмотрела на мать.

— Мамочка, давай-ка мы отведем тебя домой, а то ты совсем устанешь.

— В разговорах о завещаниях нет *ничего* бесчеловечного, и мне бы *хотелось* обсудить кое-какие цифры. У нас есть Смитсон. Он отличный поверенный и в курсе всех наших дел. Мне нужна профессиональная консультация. Я доверяла его отцу, доверяю ему. Но мне бы хотелось, чтобы вы присутствовали при нашем разговоре. Я знаю, что вы разумные люди, но мне хочется быть уверенной, что потом не будет никаких недоразумений. Давайте на этом и порешим. Договоритесь о встрече со Смитсоном, скажем, через месяц. Энни, умоляю, выкрои время! Я обязательно приеду, так что мы совсем скоро встретимся... — После еле заметной паузы миссис Эйвори продолжила: — ...но только, пожалуйста, не на Рождество.

Все трое обменялись понимающими улыбками. Материнское неприятие Рождества давно стало у них притчей во языцех.

— У меня на счету сорок рождественских праздников, — произнесла (заученно) миссис Эйвори. — И все их я вынесла на своих плечах, без чьей-либо помощи. Так что с меня хватит. При одной только мысли о Рождестве мне становится

тоскливо и страшно. Но в любое другое время я с удовольствием приеду погостить на денек.

В воздухе висело какое-то противостояние, от которого всем троим было неловко.

Но у машины Энни, припаркованной перед домом миссис Эйвори, дети расцеловались с матерью почти ласково. От провожаний вверх по лестнице на третий этаж мать отказалась.

Все трое посмотрели вверх, на ее окна.

— Я прекрасно дойду сама, — произнесла она.

— Уверена? Может все-таки, мы тебя забросим?

— Я абсолютно уверена. И потом, я пока не иду домой. Мне хочется погулять на пустоши.

— Это не опасно?

— Господи, я же гуляю там каждый день всю свою жизнь!

— Только не заходи в дебри, — улыбнулся Пит. — Держись ближе к краю.

Энни и Пит сели в машину, опустили окна и какое-то время безрадостно глядели перед собой в преддверии предстоящей дороги, предстоящего вечера.

— Или в поисках утраченных чувств, — подумала миссис Эйвори. — Думают, что они вот переменились, а я все та же, хотя это полный вздор. Им неприятно про меня думать. Но это ненадолго, это пройдет. Отомрет. Умрет. Вместе со мной.

Лица детей показались ей измученными.

— Нелегко им, — подумала миссис Эйвори, заметив вдруг в волосах дочери непрокрашенную седину.

Энни открыла очешник и водрузила на нос очки.

Лицо Пита было обращено в профиль. Залысина на лбу стала глубже.

— Сардонический медальон, — произнесла миссис Эйвори.

— Что-что? — переспросил Пит.

— Я молчу.

У него между бровями, над переносицей, залегли две глубокие вертикальные морщины. Она дотронулась до них пальцами. Сын отпрянул.

— Ты всегда так делал.

— Ты тоже. Всегда мне говорила: "Будешь хмуриться, они так и останутся". Ты говорила, что я хуже Хватая. У него вся морда была в морщинах. Так и говорила: "Ты же хуже собаки!" Честное слово, мам, ты прямо так и говорила, что я хуже *собаки*, представляешь?

— Но я же любя! И собаку я любила.

— Морщины были не у Хватая, а у Биддулфа, — вмешалась Энни.

И под споры об умерших собаках автомобиль рванул с места.

— Не заходи далеко, а то заблудишься, — доносилось из окна.

— Я позвоню, — махал рукой Пит. — Жаль, что так все получилось. Жуткий вышел обед. Ладно, до связи. Ужасно обидно.

Потом ей захотелось дойти до ежевичника. Она пошла назад мимо пруда, мимо кафешки, где они обедали, мимо отеля-шато и дальше, за гаревую дорожку терренкура. Прошла мимо последних участков, где на границе полей для гольфа застыли дома, словно готовые бороздить волны галлеоны. Прошла через первые деревца пустоши. Раньше, чтоб не утомлять короткие детские ножки, весь этот долгий путь приходилось проделывать на машине. Ее сухопарое старческое тело чуть кренилось вперед, голова опущена, лицо повернуто в сторону, словно уклоняясь от порывов пронзительного, холодного ветра.

Она поплотнее запахнула пальто и почувствовала прилив удовольствия. Ей неизменно доставляла удовольствие мысль о собственной фигуре, о том, какую стройность и элегантность удалось сохранить, несмотря на возраст. Узкие ступни высохших ног ступали осторожно, стараясь не споткнуться.

Позади душистый ракитник, росший под еловыми лапами вдоль высохшего ручья, и вот наконец ежевичная поляна с ее приветной новенькой скамейкой.

Она села.

Усталости не было. Все свою жизнь она терпеть не могла слез, а вот теперь, к вящему неудовольствию, плакала.

Она плакала по мертвым. Не по мужу, давно ставшему для нее тенью, не по матери, уже нет, и, конечно же, не по отцу, которого потеряла еще школьницей. Не по старым друзьям минувших лет. Не по юному своему телу, не по молодому лицу.

— Не по свежести желаний, не по стройным лодыжкам, — всхлипывала она, — не по моим знаменитым бровям треугольничками, похожим на французские диакретические знаки над гласными. Кто-то ведь так и называл их, accents circumflex, а пятилетняя Энни говорила "мои ненаглядные домики". Не по любовникам, не по утраченным кумирам, нет. Я плачу только по своим детям. Моим мертвым детям. Господи, верни мне их!

Они вылезли, пригибаясь, из ежевичных зарослей. Оборки на платьице Энни были заляпаны соком ягод. Она заметила миссис Эйвори и испуганно схватила Пита за руку. Дети застыли на месте.

— Я же совсем забыла, какая у него макушка, — подумала миссис Эйвори.

Мальчик и девочка в старомодных костюмчиках рассматривали миссис Эйвори, тянувшую к ним руки.

— Я помню это платьишко, — сказала она Энни. — Сок так и не удалось вывести.

— Нет, — отозвался Пит. — Она его только сегодня надела. Мама пока про сок ничего не знает. И вы не можете знать.

— А вот и знаю.

Протянутые к ним руки распахнулись еще шире.

— Я правда знаю. Ну, подойдите же ко мне!

— Нет, — отрезала Энни.

— Нам мама не велит, — поддержал ее брат.

— А я вам сказку расскажу.

Дети заколебались.

— Спасибо, — сказал Пит. — Нам мама всегда сказки рассказывает. Она тут рядом, за кустами, просто ее не видно. Она ключи от машины не может найти. Нам надо помогать искать, а то она уже вообще дошла.

— Господи, — думала она, — и коленки его я забыла. И то, что у нее был прямой пробор.

Она слышала свой молодой голос, зовущий к себе детей. Пит и Энни сжались и метнулись в лаз под ежевичными ветками.

Из последних сил она крикнула вслед:

— Возле машины поищи. Ты обронила их, когда вылезала. Только не паникуй, сейчас ключи найдутся, и вы поедете домой, я даю вам слово, вы доедете, и все будет замечательно.

Энни должна была высадить Пита на Слоун-сквер. Автомобиль замер на двойной желтой линии, они сидели и ждали, пока поток машин не иссякнет, чтобы можно было открыть дверь и выйти.

— Она прекрасно себя чувствует, — сказал Пит.

— Да, крепкая, подвижная. Вот пятна на руках — это, конечно, ужас.

— Еще бы не пердела.

— Как ты можешь! Газы у каждого бывают. У тебя тоже. И у меня.

— Господи ты, Боже мой!

Их соединяла вместе близость разговора, в котором не смог бы участвовать третий.

— А по поводу денег — как всегда, сплошная непонятица, — вздохнул Пит. — Ой, не знаю, сколько еще лет пройдет, пока мы до чего-то договоримся. Ее ничто не берет. Она вечная. Это, я думаю, результат тоскливой жизни. Ужас, а не жизнь.

— Ужас, а не день, — отозвалась Энни. — А на пустоши хорошо, да? Помнишь, как мы однажды от нее удрали? Ну, пом-

нишь, она еще ключи от машины не могла найти. Кстати, с возрастом, если вдуматься, она стала много собраннее.

— Да, давали мы ей жизни.

— Не скажи. С нами особых хлопот не было. Я знаю, что говорю, у меня есть, с чем сравнить.

— А помнишь старуху, на которую мы наткнулись в ежевичнике? Она нам еще сказала, где искать ключи от машины.

— Ага. Я так ее испугалась! Мы никогда про нее не говорили. Даже друг с другом.

— И маме ничего не сказали. Ни слова. А мы ведь тогда все ей рассказывали. Абсолютно все. Я по крайней мере.

— Я тоже, — пожала плечами Энни.

Пит прищурился, глядя куда-то вдаль

— В ежевичнике, — сказал он, — это было в ежевичнике. Славная такая старуха. И точно в эту пору. Господи, иногда мне кажется, что все это было даже не вчера, а сегодня.

Адам Торп

Наемный солдат

Перевод Сергея Ильина

БОЛЬШИМ храбрецом Стюарт не был, однако солдат из него получился неплохой. Его отличало присутствие духа, остававшееся при нем даже в полной неразберихе боя. Люди, знавшие Стюарта, понимали, что в его темноватом прошлом ему доводилось совершать поступки далеко не заурядные; но вообще говоря, его репутация целиком зиждилась на событиях слишком давних, и нынешние знакомые Стюарта ничего о них знать не могли, даже по слухам. Прошлое Стюарта представляло собой лежащую в потайном ящичке закрытую книгу, а факты общеизвестные сводились к тому, что он служил на Суэце, в Адене и Конго, что получил довольно серьезное лицевое ранение, оставившее шрам, который тянулся от рта до левого уха и, когда Стюарт улыбался (а улыбался он, отдадим ему должное, довольно часто), перекашивал все лицо, — и что он хладнокровно убил человека.

Последнее было не слухом, а фактом и потому не имело мрачного романтического обаяния, присущего домыслам подобного рода: это был факт нимало не зловещий и ничем особо не примечательный, да к тому же и сообщал о нем сам Стюарт — после того как выпивал в пабе "Красный лев" опре-

Reprinted by permission of Aitken Alexander Associates Ltd. Between Each Breath © Adam Thorpe 2007
© Сергей Ильин. Перевод, 2012

деленное количество кружек, — причем сообщал с таким постоянством, что и бармена, и завсегдатаев паба сказанное повергало скорее в тоску, чем в ужас.

— Я убил человека, — вдруг, ни с того ни с сего произносил Стюарт, подбочениваясь одной рукой и поворачиваясь на табурете, — локоть оттопырен, глаза не отрываются от лица ближайшего соседа справа или слева, другая рука так и сжимает керамическую кружку, которую в пабе держат специально для него, на крючке, что торчит из стены над ящичком с мелочью, и на которой изображена старинная сельская усадьба, никем пока не опознанная (некоторые, правда, уверяли, будто это Чатсуорт, но по той лишь причине, что видели по телевизору снятый там фильм). — Хладнокровно убил человека. Война.

Последнее слово произносится негромко и, как считают некоторые, для того чтобы успокоить нервы слушателя, каковым неизменно оказывается человек, заглянувший в паб впервые. Лицо Стюарта, хоть и добродушное, портит не только неспособность улыбаться, не кривясь, но и то, как посажены на нем глаза, а посажены они слишком глубоко, чтобы можно было толком различить их грубовато-прямой взгляд. Глаза у него зеленые, но иногда темнеют. Никто не может с полной уверенностью объяснить, почему Стюарт, несклонный, как правило, распространяться о своем солдатском прошлом, вдруг открывает (при определенном градусе опьянения) свои карты, да так грубо и резко, точно нажимает на кнопку выкидного ножа. И ведь ничего больше он на эту тему не говорит — лезвие ножа возвращается в рукоять, и на смену ему приходят, какие бы вопросы ни задавал Стюарту его случайный собеседник, общие дубоватые рассуждения о политике и о том, что миру, мол, нужна хорошая встряска, форс-мажор ему нужен, вот что, да резкие выпады по адресу нынешней молодежи.

Друзей у Стюарта нет — но это тоже факт скорее предположительный, чем достоверно известный. Отслужив в Конго (наемником, как думают многие), он вернулся домой и застал мать при смерти, а сестру беременной — от кого, она не знала. Мать умерла, сестра перебралась на север Шотландии, живет там теперь с ребенком и рабочим-бурильщиком (не отцом ребенка), а Стюарту достался в наследство дом. Дом этот, стоящий несколько в стороне от затененной листвой скромной гравийной дороги, за низкой изгородью, образованной тщедушными кустами кипарисовика, понемногу обрастает оснасткой: недаром хозяин целыми днями возится в спальне для гостей со всякими электронными штучками. Впрочем, гостей у Стюарта не бывает, да и сам он редко где-либо задерживает-

ся, хотя по вторникам, четвергам и субботам его всегда можно увидеть неподалеку от дома, в "Красном льве", который он окидывает таким взглядом, точно маленький этот мирок — его закадычный, пожизненный товарищ, привычное пристанище.

Тем завсегдатаям паба, что выпивали с ним — а скупостью он не отличался, — Стюарт нравился, но лишь в пределах данной декорации, в пределах паба. В определенном смысле Стюарт был актером — всеми любим, пока не сойдет со сцены, а как только сойдет, ему и доверять перестают, и всячески его избегают. Кое-кто из посетителей, те что повдумчивее, гадали, что, собственно, значит это его "хладнокровно" — сам Стюарт объяснений никаких не давал, а пересуды, которым посетители предавались в его отсутствие, так и не позволили выработать сколько-нибудь удовлетворительного определения, впрочем, бармен рискнул выдвинуть теорию, согласно которой Стюарт застрелил в Конго безоружного "туземца", — эта теория подтвердила для большинства слушателей принципиальную безвредность загадочного поступка, совершенного бог весть когда и обретшего драматичность лишь из-за того, *как* Стюарт о нем рассказывал (или отказывался рассказывать, что, пожалуй, вернее).

О чем не знали те, кому доводилось слышать его заразительный смех и неторопливые разговоры, так это о том, с какой суровостью судил себя он сам. И не в том дело, что ему снились кошмары, плод воспоминаний о летящих по воздуху, окровавленных, оторванных взрывом руках и ногах, о груде детских ботиночек (еще зашнурованных — это было единственное, что осталось от попытавшихся избежать встречи с повстанцами учеников миссионерской школы), о разрозненных бешеных перестрелках, вспыхивавших то там, то сям в гуще гигантских влажных листьев, среди болотных испарений, — такие видения посещали каждого из завсегдатаев "Красного льва", даже тех, кто всегда вел жизнь тихую и безгрешную. Но тот мачете, что рассадил щеку Стюарта, держал в руке конкретный человек, и он убил этого человека единственной пулей, выстрелил в летевшую по лесу широкую спину. Смысл, который Стюарт вкладывал в слово "хладнокровно", был одновременно и у́же, и шире любого определения, какими обменивались в его отсутствие завсегдатаи: он стрелял *в спину*. Да, тот человек желал ему смерти, надолго обратил его рот в способную лишь шлепать губами никчемность, и все же Стюарт какой-то миг еще прикидывал — не пощадить ли его? Сознание Стюарта, потрясенное и внезапным столкновением, и болью, желая, быть может, бежать от кошмара, в кото-

рый обратился вещный мир, отстранилось от горячки боя, от ужаса нападения и спокойно оценило происходившее. Гладкой мускулистой спине потребовалась целая вечность, чтобы зигзагами проскочить плотный подлесок, — не исключено, впрочем, что прошло лишь несколько секунд, прежде чем Стюарт, тщательно взвесив все возможности, нажал на курок и увидел, как бежавший исчез из глаз, точно свалившись в леопардовую ловушку. И в эти секунды холодная кровь омыла сознание Стюарта так же обильно, как омывала ему зубы горячая, бившая изо рта и смешивавшаяся с потом на ключицах.

Теперь, десятилетия спустя, ему представлялось жизненно важным, что холодность того мгновения не согреть никакими объяснениями, и раз в неделю, по меньшей мере, Стюарт поддавался искушению объявить о своем поступке, однако рассказывать что-то еще, приводить доводы, объяснять, означало выпустить вину из своих рук и отдать другим, чтобы ее гладили по спине, играли с ней люди, не имеющие о таких вещах ни малейшего представления, во все годы его отсутствия жившие жизнью дремотной, лишенной событий, такой, как жизнь его матери.

Когда один из случайных посетителей паба отозвался: "Я тоже" — и принялся рассказывать *свою* историю, — запутанную, включавшую в себя вражду каких-то банд и всеобщее пьянство и приключившуюся с незнакомцем когда-то в молодости, в Горболсе, — Стюарт и на эту приманку не клюнул. Дело было лет уж десять назад, но трепет смятения, вызванный ответом незнакомца, и поныне оставался в сознании Стюарта таким, будто все случилось вчера: он был даже ярче, чем воспоминания о Конго, — впрочем, ужас этих воспоминаний тоже пятнал чувства, точно подсохший кровоподтек, мутя то, что еще уцелело в памяти от тогдашних картин.

Проведя вечер в пабе и в меру захмелев, Стюарт твердой поступью возвращался домой, варил суп из пакетика — "Кнорр", обычно томатный, — и добавлял в него шматок масла. Пока услышанные в пабе сплетни оседали или, наоборот, кружили в его голове, за глубоко сидящими глазами, он приканчивал суп и мыл посуду. Все эти действия — прогулка до дома, варка супа, поднесение ложки к поврежденному рту — совершались в медленном, удовлетворенном ритме. Во всем этом сквозил триумф, как если бы что-то снова было задумано им и успешно совершено.

Женщины у Стюарта порой появлялись, но не было ничего, что он мог бы назвать романом, не говоря уж об устойчивых отношениях. Заботило его это, лишь когда он смотрел по телевизору какой-нибудь сентиментальный сериал о семей-

ной жизни, — да и в таких случаях Стюарт ощущал скорее сожаление, чем надежду. У него не было планов зажить с кем-то на пару, или хотя бы попробовать сыграть в эту игру. Он провел двадцать пять лучших своих лет наемником, зарабатывая на жизнь, и считал эти годы достаточной платой за спокойное существование. Стюарт радовался солнечному свету, проливавшемуся в окна его гостиной (где после смерти матери никто ни разу не прибирался), подставлял лицо золотистым лучам и часами сидел так, бесстрастный, точно Будда, — или кошка на ручке кресла, — не ощущая никакой вины. Прогуливался он редко, поскольку окрестности города, плоские и голые, его не привлекали; Стюарт предпочитал заманивать мир к себе домой и потому долгими часами собирал коротковолновые радиоприемники самых разных родов, установил у себя в саду огромную металлическую мачту, которую удерживали в стоячем положении кабели и проволочные растяжки, а крыша его дома щетинилась другими антеннами, напоминавшими птичьи скелеты. Время от времени он связывался с кем-нибудь из радиолюбителей, однако по большей части просто прослушивал эфир — в особенности привлекали его военные самолеты: они бросали ему вызов, и этот вызов Стюарт с готовностью принимал, дешифруя закодированные переговоры или просто прослушивая волну. До местной авиабазы легко было добраться пешком (автомобиля у него не было), и Стюарт регулярно затаивался у ее изгороди с приборчиком, который позволял с пугающей точностью настраиваться на рубки взлетавших или садившихся самолетов.

Он подумывал о том, чтобы взять с собой в один такой поход кого-нибудь из членов клуба коротковолновиков Восточной Англии, в котором состоял и на собрания которого время от времени ездил в Норидж. По большей части они были намного моложе его — настолько, что вполне годились ему в дети, и он некоторое время колебался, прежде чем спросить у Роба, довольно приятного юноши, не желает ли тот в ближайшую субботу побывать у авиабазы.

Душок противозаконности, овевавший эту затею, привлек Роба, и тот с энтузиазмом согласился в ней поучаствовать. Так и случилось, что эти двое, вооруженные всем необходимым для пикника, плюс радиоприемниками, прокрались среди елей к месту, с которого за высокой, находившейся под напряжением изгородью открывался вид на взлетно-посадочную полосу, и укрылись там в густой тени.

Время они провели со своими приборчиками отменно, подслушивая устрашающе непристойную трепотню пилотов, нарочито медлительную — манера американцев, которой Роб

довольно сносно подражал, — и за бутерброды свои принялись в приподнятом настроении. Пока они беседовали, сидя на ковре из еловых игл (беседа сводилась, по преимуществу, к обмену техническими новостями), Стюарт позволил себе пофантазировать, будто Роб — его сын, и вдруг на него навалилось ощущение потери, сильное, как удар, понимание, сколь многого он лишился, совершая определенные поступки и принимая определенные решения. Разговор он продолжал запинаясь, ошеломленный мыслью о тех днях, что еще ждут его впереди, не обещая ни удовлетворения, ни каких-либо побед. Американские истребители, с ревом проносившиеся над их головами, все сильнее подавляли Стюарта, однако он держался, стараясь сосредоточиться на том, что говорил Роб.

— Штуковина компактная, а радиус действия у нее — ярдов восемьдесят. Улитка ползет, и ту слышно. Их уже установили гораздо больше, чем вы думаете. Скоро они везде будут и начнут включать тревожную сигнализацию каждые двадцать секунд. То-то шуму наделают!

Роб замолчал, чтобы налить из термоса чаю, протянул кружку Стюарту и тот, продрогший на восточном ветру, принял ее. Этот дружеский жест юноши, здесь, под шептавшимися ветвями, воскресил сожаления старика, и они резанули его душу, как заступ режет слежавшуюся землю. Обезумевшая спина вновь замелькала среди древесных стволов, рука Стюарта невольно дернулась, и чай обжег кожу. Вскрик боли утонул в реве садившегося за изгородью истребителя, однако Роб понял по лицу своего собеседника, каких усилий стоило ему сохранять самообладание, пока на коже его вздувался и краснел волдырь.

Хилари Мантел

Этажом выше

Перевод Екатерины Доброхотовой-Майковой

ЛЕТОМ, между школой и университетом (учиться мне предстояло в Лондоне), я впервые пошла работать. Мне было уже восемнадцать, я могла бы куда-нибудь устроиться и на прошлые летние каникулы, но пришлось сидеть дома с младшими, пока мама делала свою блистательную карьеру.

До моего шестнадцатилетия мама самоотверженно ухаживала за больным ребенком. Сперва им была я. Сразу после перехода в старшие классы я выздоровела — так сказать, в результате маминого волевого усилия. У меня больше не поднималась температура, а если поднималась, этого не замечали, а если замечали, то говорили: "Пустяки". Мое место в нашем быту занял брат с его одышкой и ночным кашлем. Я ходила в школу изредка, брат не ходил вовсе. Он играл один в саду под тоскливо-серым небом, в котором искрился редкий снежок. Лежал на диване перед орущим телевизором и перелистывал книжки. Как-то вечером мы смотрели новости. Вдруг всю комнату залил неестественный белый свет. Шаровая молния сорвала нижние ветки с тополя и высадила стекло — бабах! Кулак Господень. Вязаное покрывальце брата было все засыпано осколками, собака выла, дождь хлестал на пол через

© Hilary Mantel 2003
© Екатерина Доброхотова-Майкова. Перевод, 2012

выбитое окно, на улице вскрикивали и взволнованно переговаривались соседи.

Вскоре после случая с молнией мама устроилась продавщицей в "Афлек и Браун" — маленький, тесный, старый универмаг в Манчестере. Она шла пешком до станции, ехала на поезде и снова шла пешком до Олдхэм-стрит. Это было странно: я думала, мама так всегда и будет домохозяйкой. Чтобы ходить на работу, ей пришлось завести белые блузки и черные юбки. Она купила их в C&A, и это тоже было очень странно: у нас дома одежда появлялась не из магазина, а в результате сложной череды метаморфоз. Из распущенных кофт получались вязаные береты, споротыми воротничками надставляли подол, рукава для толстых превращались в штанины для худых. В семь лет я носила пальтишко, сшитое из двух старых пальто моей крестной. Карманы, лацканы, всё уменьшили, только пуговицы остались прежние и торчали на моей цыплячьей груди как обеденные тарелки или мишени для стрел.

Мама училась в то время, когда большинство не сдавало школьных экзаменов, так что в анкете при поступлении на работу писать ей было почти нечего. Тем не менее ее взяли, а вскоре на ее начальниц посыпались несчастья, из-за которых им пришлось уволиться. Мама стала замзав, а потом и завотделом. Она обесцветила волосы, сделала прическу вроде пирожного безе, купила туфли на высоченных каблучищах и завела особую наигранную манеру говорить и жестикулировать. Мама советовала подчиненным врать про их возраст, как бы намекая, что врет про свой. Она приходила домой поздно, раздраженная, и вытаскивала из крокодиловой сумочки что-нибудь невероятное. Например, пакетик рифленых картофельных чипсов со вкусом жира и воздуха. Или замороженные бифбургеры — на плите они скворчали, наполняя кухню желтовато-серым манчестерским смогом. Потом на жарку в масле был наложен запрет — чтобы не коптить стены, потому что у нас теперь был "приличный дом". Но к тому времени я переехала к моей подруге Анне-Терезе и о том, что едят другие, старалась не думать.

В семнадцать я была так же не готова к жизни, как если бы все детство пасла коз в горах. Я привыкла гулять среди лесов и полей. Привыкла ходить в Стокпортскую библиотеку и брать за раз по семь толстых книжек про латиноамериканские революции. Потом по часу ждать под дождем автобуса, передвигая пакет с книгами у ног и время от времени прижимая их к груди, когда казалось, что автобус вот-вот придет. С вожделением смотрела на их серые замусоленные обрезы и предвкушала, что найду внутри пометки деревенских чуди-

ков: "НЕ Гватемала!!!", написанные, вернее, вдавленные на полях тупым карандашом, оставлявшим царапины от неровно очиненного края. У нас дома тоже никогда не было точилки. Если надо было очинить карандаш, мы шли к маме, она зажимала его в руке и срезала стружку хлебным ножом.

Такой дикой я выросла не из-за школы: большинство моих сверстниц были вполне нормальные для своего времени и окружения. Просто они, казалось, сделаны из более плотного, более добротного материала. Нетрудно было вообразить, что они станут женщинами в домах с мягкой мебелью и встроенным сушильным шкафом для белья. У меня же ветер гулял между костями, дым стелился между ребрами. Было больно ступать по мостовой. От соли на языке вскакивали типуны. Меня часто беспричинно рвало. Я просыпалась замерзшая и думала, что никогда не согреюсь. Когда в двадцать четыре мне предложили поехать в тропики, я согласилась, радуясь, что не буду больше дрожать от холода.

Что меня возьмут в магазин, было ясно еще до собеседования: кто в "Афлеке и Брауне" отказал бы дочери моей всеми обожаемой мамочки? Однако требовалось подвергнуться формальной процедуре. Приятный дяденька-кадровик в коричневом костюме разговаривал со мной в кабинете до того коричневом, что мне показалось, я прежде не видела этого цвета. Тут был пластик всех оттенков табачной слюны и желчи. Я вошла, свеженькая, как семидесятый год, в ситцевом платьице, но меня затянуло в пятидесятые, в бурый мир карточек социального страхования и пожелтелой памятки Совета по заработной плате на обшарпанной стене. Мне пожелали удачи и вывели в мир людей, на коврик у входа. "Вот коврик, вытри ноги", — сказал голос из-за вешалок.

Он исходил от студенисто-белого лица, обвислых щек, медленно движущейся массы жира, затянутой в черный кримплен так, чтобы было похоже на крутобокую цветочную вазу, от кожи того же мутноватого оттенка, что вода из-под гвоздик, которую не меняли несколько дней. Вонь подмышек, кашель: то была плоть моих коллег. Их здоровье сгубила жизнь в магазинах. У них был хронический насморк от пыли и цистит от грязных туалетов. Они жили на пятнадцать фунтов в неделю. Они не получали процент от выручки, поэтому старались по возможности ничего не продавать. Их насморочная злоба гнала покупателей назад к эскалатору и дальше на улицу.

Дяденька-кадровик определил меня в отдел рядом с маминым, так что я видела ее за работой: она вихрем проносилась по этажу в очередном экстравагантном наряде. Мама теперь не носила строгую, незаметную одежду, а сама выбирала пла-

тья из наших коллекций. Держалась она приветливо, чтобы не сказать снисходительно, притом с некоторой игривостью, которую отрабатывала на потасканных гомиках — других мужчин в магазине не было. Продавщицы — "девочки", как называла их мама, — любили ее за то, что она всегда такая красивая и веселая.

Мамины девочки были не такие убогие, как в нашем отделе, но скоро я поняла, что у всех у них есть свои неразрешимые жизненные проблемы. Маме проблемы ее продавщиц заменяли завтрак, обед и ужин — заменяли в буквальном смысле слова, потому что теперь ей по роли требовалось носить сорок четвертый, но врать, что у нее сорок второй, и таким образом подавать пример всей женской половине человечества. Девочки были разведенные, в долгах, страдали от авитаминоза и болезненных менструаций, маялись с трудными либо больными детьми. Их дома оседали, или обваливались, или оказывались в зоне затопления, или там заводился грибок. У меня было чувство, что все они специализируются на вышедших из употребления болезнях, вроде оспы и почесухи, о которых в наше время слышали только махровые пессимисты вроде меня. Чем хуже им было, тем заботливее мама их опекала. Даже сейчас, тридцать лет спустя, многие поддерживают с ней отношения. "Звонила миссис Д., — говорит мне в таких случаях мама. — ИРА снова взорвала их дом, а старшую дочку унесло в море. Просила передать тебе привет". На Рождество и в дни рождения, когда маме исполнялось не столько, сколько на самом деле, они дарили ей вазочки цветного стекла или атрибуты красивой жизни типа сифона для газировки. Все они как будто жевали слова, а вот мама и другие заведующие говорили, выпячивая губы, чтобы гласные звучали четко.

Я работала не в самом магазине, а в секции "Английская леди", рассчитанной на определенную категорию покупательниц, преимущественно пожилых, которые любили носить то, что там предлагалось: ансамбли, куда входили платье и жакет (я называла их "свадебной униформой"), летние платья и костюмы из синтетики пастельных тонов, которые легко стираются и гладятся. В те времена у многих еще жива была привычка покупать в апреле летние плащи из розовой процентовки или легкой шерсти в неяркую клетку. Еще они покупали блейзеры, блузки, длинные джемперы и брюки, под которые надевали пояса и чулки: пряжки подвязок выпирали сквозь ткань. Зимой "Английская леди" продавала пальто из верблюжьей шерсти, которые владелицы обновляли раз в несколько лет, ища (и находя) в точности такой фасон, как прежде. Зимние вещи нам завезли задолго до того, как я уехала в Лондон. Кро-

ме верблюжьих, у нас были пальто, называемые "лама", — неприятного серебристо-серого цвета и косматые, словно вывернутая наизнанку власяница, только с карманами. На осень имелись щетинистые твидовые комплекты и громоздкие вонючие дубленки, которые мы приковывали к вешалкам цепями, чтобы не украли. Гуртовать их было трудной работой: они протяжно вздыхали, раздувались и дюйм за дюймом отвоевывали себе Lebensraum — жизненное пространство.

Покупательницы в то лето заглядывали редко. За уборкой и утренними сводками о том, как у кого с варикозом, тянулась бескрайняя пустыня времени: дни одуряющей жары, жажды и скуки, без воздуха, без солнечного света, под ртутными лампами, от которых даже самая свежая кожа приобретала трупный оттенок. Иногда я стояла и яростно думала про Французскую революцию — мое тогдашнее увлечение. Иногда мама пробегала по ковру, делала мне ручкой, улыбалась своим продавщицам.

Мою начальницу звали Дафна. За стеклами ее модных выпуклых очков в большой яркой оправе плавали пустые бесцветные глаза. Теоретически они с мамой были подруги, но вскоре я к своему ужасу поняла, что другие начальницы того же ранга маме завидуют и не вредят только потому, что им не хватает ума придумать подходящую гадость. Дафна все лето гоняла меня в хвост и в гриву, выискивая работу, которая не делалась годами: убирать на складе, где слоями лежала пыль и бегали мыши, заталкивать в коробки большие партии проволочных плечиков — они прыгали на меня и царапали руки, словно сбежавшие из зоомагазина крысы. Манчестер в те годы вообще не отличался чистотой; в задних помещениях "Афлека и Брауна" грязь собиралась какая-то особенно злокозненная. Коврики для вытирания ног, толстый полиэтилен из-под одежды, то, что осталось от непроданных платьев, отбывающих пожизненный срок в Бастилии самого дальнего склада, — все обрастало липким пушком, который, словно магнит, притягивал к себе частицы манчестерской атмосферы. Он пачкал руки и размазывался по лицу, превращая меня из "младшего продавца" в штрейкбрехера, сбежавшего из шахты, где забаррикадировались его товарищи. Выныривая со склада, я держала замаранные руки на весу, то ли успокаивая кого-то, то ли предостерегая.

Иногда за вешалкой, полной пожелтевших от времени ситцевых изделий, за штабелем коробок с выцветшими до нечитаемости наклейками, я различала какое-то движение, шарканье ног, приглушенные голоса. "Миссис Соломонс? — окликала я. — Миссис Сигал?" Молчание; только вздохи мохера и

драпа, утробное поскрипывание кожи и замши, жалобный скулеж несмазанных металлических колесиков. Может, это Дафна втихаря за мною шпионила? Но иногда в половине шестого, когда надо было убирать в примерочных, я подходила к задвинутой занавеске в конце ряда и, не отдернув, поворачивала назад — боялась увидеть что-то, чего видеть не положено. Легко было вообразить, что за складками кто-то прячется или что даже несколько часов спустя материя помнит очертания человеческой фигуры.

Мои коллеги, дышавшие на меня мятным запахом желудочных лекарств, были безгранично ко мне добры. Они ахали, какая я бледненькая, и советовали есть говядину, которую сами не видывали даже в праздники. Возможно, их пугала моя отрешенность, когда я стояла в забытьи меж теснящихся жакетов, а если я выныривала из транса и что-нибудь продавала, они пугались еще больше. Я любила подбирать одежду покупательницам, удовлетворяя их невинное желание принарядиться. Любила срывать с проданного платья ярлычок и заботливо вешать пакет на скрюченное артритом запястье. Иногда пожилые дамы пытались оставить мне сдачу — меня это расстраивало. "Я теперь редко сюда прихожу, — говорила одна сгорбленная, любезная старушка, — но, когда прихожу, всегда даю на чай".

Каждый день после работы мы с мамой, взявшись за руки, шли до станции Пикадилли, вверх от Маркет-стрит, мимо закусочных, из которых пахло картошкой фри, и клиники Национальной службы здравоохранения. (Там всегда висели плакаты, призывающие сдать кровь. Я пришла, как только мне исполнилось восемнадцать, и меня живенько развернули). Мне казалось, что вся моя работа заключается в стоянии столбом и что никто такого не заслуживает: стоять, час за часом, стоять, когда покупателей нет и не предвидится, стоять в спертой атмосфере с девяти утра до половины шестого вечера с перерывом на обед, когда выбегаешь на улицу и жадно хватаешь ртом воздух. Ноги уже болят, а ты все стоишь и стоишь, и боль не проходит к следующему утру, когда снова надо стоять. Маме, наверное, приходилось легче, ведь у нее был свой закуток со стулом, где можно было посидеть. С другой стороны, ее туфли на шпильке жали куда сильнее моих замшевых босоножек. Она вообще во всем была уровнем выше.

Раза два в неделю что-нибудь случалось с поездами. Как-то мы прождали на перроне целый час. От голода на нас напала странная дурашливость: мы весело болтали об очередных бедах маминых девочек и по очереди откусывали от яблока, которое она вытащила из сумки. Мы не злились и не чувствовали

себя виноватыми, потому что ничего изменить не могли. Нам было хорошо, радостно, пока мы не вошли в дом и не увидели перекошенную физиономию отчима. Мы разом перестали хихикать: я часто замечала, как угрожающе выглядит повернутая боком человеческая ладонь, занесенная, словно готовый обрушиться топор. Что-то тогда произошло. Уже не помню что именно. Неправда, что злость придает сил. От злости кружится голова и слабеют коленки, но все равно делаешь то, на что не осмеливалась раньше: выкрикиваешь запретное слово, произносишь проклятие, и сказанное идет прямиком от сердца. Эффект, как если бы кроткие после Нагорной проповеди открыли пальбу из автомата.

После этого я на какое-то время ушла из дома. Каждый вечер, дойдя до нашей улицы, мы с мамой расходились в разные стороны. Она больше огорчалась, чем злилась, хотя и злилась тоже: видимо, моя выходка нарушила какие-то ее брачные игры. На подходе к нашей улице мы переставали болтать о "девочках", и мама (как я чувствовала, неохотно) напускала на себя высокомерно-отсутствующий вид. Я поворачивала и шла по дороге вверх, туда, где жила теперь с Анной-Терезой, которая осталась одна в родительском доме: отец с матерью летом развелись, и, вместо того чтобы кому-то съехать, кому-то остаться, съехали оба. Мы не очень-то сравнивали наши семьи, зато перемерили всю одежду в шкафах и переставили мебель. Дом был сборный и несуразный, но уютный: с плитой в гостиной, глубокой эмалированной раковиной и без бытовой техники вроде холодильника, что в семидесятые уже воспринималось как серьезное неудобство.

Анна-Тереза в то лето устроилась на фабрику, где делали пляжные шлепанцы. Выматывающая работа, но Анна-Тереза была крепкая и расторопная. Вечерами, когда я без сил падала на стул в кухне, она обваливала в сухарях отбивные и резала огурцы с помидорами в стеклянную миску. Готовила шарлотку с вишнями. В сумерках мы сидели на крыльце, и пахло розами из соседского сада. Надежды, легкие, как паутинки, скользили по плечам и окутывали наши голые руки, переливаясь в предзакатной синеве. С восходом луны мы шли спать, все еще сонно переговариваясь на ходу. Анна-Тереза хотела шестерых детей. А я — чтобы меня перестало выворачивать наизнанку.

Иногда, бродя по "Английской леди", я воображала, что это лагерь для беженцев, а я — чиновница, отвечающая за его обитателей. Отрывая ярлычок от проданного платья, я говорила себе, что устроила его на постоянное место жительства.

Каждый день начинался и заканчивался инвентаризацией. Берешь листок и расчерчиваешь его на колонки, каждая для

другого вида одежды, чтобы не спутать "двойки" и ансамбли из платья и жакета, хотя и в тех, и в других по два предмета. Придумываешь категории для вещей, которые никак не называются, вроде тех раздвоенных штуковин из ворсистого голубовато-серого твида — что-то вроде лётных комбинезонов для пожилых дам. Они висели у нас уже несколько лет, как Дафна ни старалась от них избавиться: жесткие рукава оттопырены в сторону, штанины завязаны на горле, чтобы не елозили по полу. Придумав категории, идешь вдоль вешалок и считаешь товар. Цифры никогда не сходятся, так что ты отправляешься искать платья, забредшие в соседние отделы, и за шкирку волочишь их обратно. Меня не удивляло, что вещи перемещаются в течение рабочего дня, но как они могли перемещаться ночью? "Привидения", — резонно заключала я. Мне представлялось, что они спускаются из отдела постельного белья на четвертом этаже в белых простынях (*покинув гробы, в саванах*[1]) и примеряют наш товар, всовывают бестелесные руки и ноги в рукава и штанины, шипя от привиденческого азарта.

Я провела так все лето, разговаривая с бродягами в Пикадилли-гарденз, покупая в обеденный перерыв спелую клубнику с тележек, остужая лоб о стальную решетку дверцы товарного подъемника. Когда Дафна ругала меня за всевозможные промахи, я обещала исправиться, а после тайком пинала летные комбинезоны или мучила их, еще туже затягивая штанины на горле и завязывая на вешалке узлом. С Дафной я была самая что ни на есть послушная девочка — не хотела, чтобы маму возненавидели еще больше, чтобы женская злоба незримо вилась вкруг тонких маминых щиколоток, цепляла ее за каблучки, когда я уже давно буду гулять по лондонским улицам.

Однако чем ближе была осень, тем сильнее меня раздражала вся эта история с инвентаризацией. Чтобы наша опись сошлась с накладными, нам приходилось всякий раз дописывать "15 отложено" в колонке "Платья и жакеты", и до меня внезапно дошло, что я, сколько ни убирала, ни разу их не заметила.

— А почему мы всегда пишем "15 отложено"? — спросила я Дафну. — Где они?

— Отложены, — сказала Дафна.

— Но где? — настаивала я. — Я их ни разу не видела.

Дафна зажала губами сигарету. Одной рукой она перелистывала накладные, в другой держала мажущую шариковую ручку. Изо рта у нее сочилась тонкая струйка дыма.

1. У. Шекспир. Гамлет. Акт I, сцена 1. Перевод М. Лозинского. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

— Не куришь еще? — спросила она. — Не тянет попробовать?

Меня удивляло — тогда и потом — как люди стараются "поделиться" дурной привычкой. У нас дома все были воинствующие противники табака.

— Да как-то не думала... Когда родители не курят... И все равно я не могла бы курить дома, из-за брата...

Дафна вытаращилась на меня, не то фыркнула, не то икнула, потом презрительно расхохоталась.

— Не курят! Да твоя мать дымит, как паровоз! Каждый перерыв! Ты что, не видела? Да как это ты не видела?

— Нет, — ответила я. — Не видела.

Тем больше была я обманута[1].

С ручки у Дафны стекла и капнула паста.

— Не надо было говорить?

— Да нет, все нормально, — ответила я, убеждая себя, что всякое знание полезно, от кого бы оно ни исходило.

Дафна глянула на меня без всякого выражения.

— А что с твоим братом, почему при нем нельзя курить?

Я посмотрела на часы.

— У миссис Сигал сейчас начнется перерыв.

Улыбнулась Дафне и пошла в торговый зал, говоря себе: неважно. Маленькая домашняя ложь. Для общей пользы. Даже забавно. Или будет забавно со временем. Пустяки — все равно что загнать под кожу кончик иголки.

Однако чуть позже я принялась искать эти самые пятнадцать "отложенных". Я ввинчивалась в темные закутки, где неведомого происхождения ящики острыми углами били меня по ногам. Дафна так и не отправила коробки, которые я упаковала и завязала бечевкой. Они по-прежнему стояли оседающими штабелями; проволочные вешалки выдирались наружу и кусали меня за икры. Отодвигая громоздкие пальто, сражаясь с "ламами", я проникала в самые дальние щели. *Подай мне заступ и железный лом*[2].

Ни-че-го. Я переписала все вещи, какие нашла, вытаскивая их за шкирку из полиэтиленовых саванов, чтобы посмотреть ярлык, или, если не могла вытащить, собирала полиэтилен в гармошку на горле. Я видела ярлыки, видела платья и жакеты, но не видела тех пятнадцати. Я выбралась наружу, ни разу не оглянувшись, и записала в блокноте: ноль, ничего, пусто. Дырка от бублика. Платьев и жакетов — нисколечко. Если и

1. У. Шекспир. Гамлет. Акт III, сцена 1. Перевод М. Лозинского.
2. У. Шекспир. Ромео и Джульетта. Акт III, сцена 3. Перевод М. Лозинского.

были, то сплыли. Я понимала, как это произошло: их вызвали из небытия, чтобы покрыть какую-то неблаговидную историю, чей-то чудовищный недосмотр или кражу, от которой у отчетности ум зашел за разум. Они — вымысел, возможно, древний, возможно, старше самой Дафны. Поправка к реальности, *повесть, рассказанная дураком*[1] — и я добавила к этой повести строчку-другую.

Я вернулась в торговый зал. Было три. Смурной, расплывчатый день; ни одной покупательницы. Из-за полного отсутствия интереса к себе вещи на плечиках обвисли и стали похожи на лохмотья. В высоком зеркале отразилось мое лицо с размазанной по щеке грязью. Сандалии покрывала ядовитая жижа. Я доковыляла до обшарпанного шкафа, где мы держали дубликаты амбарных книг и запасные пуговицы. Вытащила из ящика тряпку. Скатала ее роликом и тщательно почистила себя всю, как щеткой, затем принялась за вешалки. Я раздвигала вещи и терла стальные перекладины. Остаток дня кое-как истощился. Вечером я наотрез отказалась писать "15 отложены" в колонке "Платья и жакеты". Мои коллеги ужасно расстроились, а одна даже начала задыхаться, так что в конце концов я все-таки вписала эту строчку, но очень бледно, карандашом, с еще более бледным вопросительным знаком в конце.

К началу нового учебного года выяснилось, что брат уже не болеет. Ему исполнилось одиннадцать, и он вполне мог идти в среднюю школу. Мы переварили этот поразительный факт, но почему-то обрадовались совсем не так сильно, как следовало. В следующие несколько месяцев посыпались приглашения от агентств по найму: маму звали производители плащей и поставщики вязаных изделий. Ее отрывали с руками. Она устремилась вверх, как пузырек в бокале шампанского, становясь год от года все более светлой блондинкой, командуя все большими коллективами девочек и вызывая все большую зависть и неприязнь. Дома она хозяйничала, как и прежде, по наитию: мыла ванну порошком для стиральной машины, а когда стиральная машина сломалась, накрыла ее клеенкой и стала использовать вместо тумбочки, а младших научила ходить в прачечную-автомат.

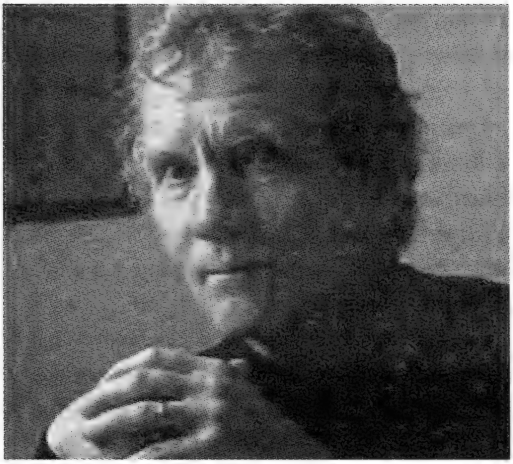
Через несколько лет "Афлек" закрылся, весь район постепенно пришел в упадок. Его захватили продавцы порнографических товаров и торговцы из тех, что предлагают пластмассовые корзины для белья, подозрительные электроплитки и рождественские сувениры вроде прыгающих пирожков и на-

1. У. Шекспир. Макбет. Акт V, сцена 5. Перевод М. Лозинского.

свистывающих ангелов. Само здание осыпалось и обваливалось. Был период, когда его арендовал крупный магазин одежды. Я к тому времени, разумеется, давно переехала, но у меня остались друзья на севере. У кого-то из них оказалась знакомая, которая подрабатывала там по выходным. Новые хозяева торговали только на первом этаже; выше здание было заколочено. Пожарные выходы заперли на замок, эскалаторы убрали, лестницы заложили кирпичом. Однако девушка, подрабатывавшая там по выходным, рассказала, что продавщиц пугают звуки из замурованной пустоты наверху: шаги и женские крики.

От ее рассказа у меня упало сердце и по коже побежали мурашки — я поняла: это самая что ни на есть настоящая история с привидениями. Отрывать пуговицы от платьев и перевешивать жакеты в отдел нижнего белья к нам на этаж спускался не легкомысленный бесенок, а нечто более древнее, гнусное, противоестественное. Но об этом я узнала лишь задним числом. Оглядываясь на себя в возрасте, скажем, от восемнадцати до двадцати трех, я понимаю: все было много хуже, чем я тогда сознавала.

Дэвид Константайн



Чай в "Мидлэнде"

Перевод и примечания Александры Борисенко и Виктора Сонькина

Ветер дул упорно и сильно, частые яростные порывы сотрясали стекла огромных окон, за которыми пили чай женщина и мужчина. Воды бухты были неглубоки, и стремительные мелкие волны косо накатывали с юго-запада. Они вспенивались белыми гребнями где-то вдали, а после ветер и прилив гнали их ряд за рядом, и волны, не встречая никаких препятствий, бежали до тех пор, пока не исчезали совсем. Вечернее зимнее небо было разорвано ветром, и тревожный золотой свет изливался под разными углами, нигде не останавливаясь, вспыхивая и исчезая. Под этим бесконечным расколотым небом, по гребням и складкам волн носились серферы, влекомые воздушными змеями. Можно было подумать, что они красуются перед зрителями, но на самом деле то была чистая радость, разделенная с единомышленниками. Они знать не знали о женщине за стеклом, не старались впечатлить ее или развлечь. Там, вдалеке, они летели вдоль волны, поперек волне, под углом к ней, пробуя свои силы. В грохоте волн и ветра под разорванным небом они наслаждались полнотой жизни и собственным всемогуществом. На-

© David Constantine, 2012
© Александра Борисенко, Виктор Сонькин. Перевод, примечания, 2012

блюдавшей за ними женщине они казались воплощением благодати, той благодати, душа которой — свобода. Ей особенно нравилось, как невидимые нити соединяют их с цветными стремительными полумесяцами. Как это остроумно, как изящно! Бросаешь в воздух что-то вроде носового платка, привязываешь его и летишь, повинуясь порыву. Но не прямо, как хочет *он*, нет: ты меняешь курс, разворачиваешься вправо и влево, описываешь широкий полукруг. Как красиво, думала она. Такая подвижная автономия среди строгих детерминант, координация ума и тела, выносливость, практика, уверенность, сноровка, мастерство, и все это для забавы!

Мужчина почти не замечал серферов. Порывы ветра и яркий свет его только раздражали. Он видел лишь женщину и видел, что ему нет места в ее мыслях. Поэтому он повторил еще раз: педофил есть педофил. Этим все сказано.

При звуке его голоса она вздрогнула от неожиданности. И это раздосадовало его еще сильнее. Она была так далека, так недостижима. Казалось, чтобы увидеть его мир, ей приходится перенастраивать зрение. А, ты опять, сказала она. Прости. Ты не можешь оставить его в покое? — Он не мог, он был унижен и сердит и знал, что не в силах ни в чем ее убедить. — Я думала, тебе здесь понравится, сказала она. Я специально почитала про этот отель. Даже думала, что мы как-нибудь приедем сюда с ночевкой, если ты сможешь вырваться, закажем комнату с большим полукруглым окном, и утром будем смотреть на море. — Он услышал в ее словах упрек. Она не стала продолжать спор, переключилась на его неизменную способность ее разочаровывать. Он, однако, хотел изложить свои доводы, и она чувствовала, даже если он сам того не сознавал или не желал в том признаться, что закипающая в нем враждебность ищет выхода. Ей все было ясно, но она нарочно спросила так, словно они спокойно и разумно обсуждают ситуацию: Тебе бы понравился этот фриз, если бы его сделал не Эрик Гилл? Или если бы ты не знал, что он — педофил? — Дело не в этом, сказал он. Я знаю и то и другое, и поэтому он не может мне нравиться. Ради бога, о чем ты — он спал с собственными дочерьми! — И с сестрами, сказала она. И с собакой. Не забывай о собаке. И, возможно, он думал, что делает это именно ради Бога. Теперь представь себе, что он делал все то же самое, и при этом установил мир на Ближнем Востоке. Ты бы хотел, чтобы, узнав о его частной жизни, люди снова начали убивать друг друга? — Это другое, сказал он. От мира, по крайней мере, есть польза. — Согласна, сказала она. А от красоты — нет. "Навсикая, встречающая Одиссея" не полезна, хотя и стоит кучу денег, надо полагать. — Честно говоря, сказал он, мне эта вещь даже не кажется красивой.

Из-за всего, что я о нем знаю, меня тошнит от одной мысли о том, как он ваял обнаженных мужчин и женщин. — А если б там оказалась девочка или собака, то тебя бы вырвало?

Она отвернулась, снова заглядевшись на волны, на свет и на серферов, но уже не могла сосредоточиться и ненавидела его за это. Он сидел, задыхаясь от гнева. Каждый раз, когда она вот так отворачивалась и молчала, ему яростно хотелось заставить ее слушать, продолжать разрушительный для обоих разговор. Но они сидели за столом, накрытым к вечернему чаю, в отеле с претензией на стиль и благопристойность. И он был бессилен и унижен, он ничего не мог — только затягивать все туже узел своего гнева, своей ненависти к ней.

Потом она сказала тихим ровным голосом, не примирительно, не пытаясь его убедить, просто печально, не отрывая глаз от моря: Если бы я тебя послушалась, то сейчас не могла бы получать удовольствие, наблюдая за серферами: вдруг среди них есть насильники или члены БНП[1]. А может быть, мне даже пришлось бы возненавидеть море, потому что вон там, где сейчас такой красивый золотой свет, погибли несчастные собиратели моллюсков — прилив наступал быстрее, чем они бежали. Мне пришлось бы все время думать о том, как они звонили по мобильникам домой в Китай и говорили близким, что сейчас утонут. — Как ты все умеешь перевернуть, сказал он. — Нет, — ответила она, — я просто пытаюсь мыслить, как ты от меня хочешь, соединяя все воедино, чтобы нельзя было сосредоточиться на одном, не приплетая другое. Когда мы занимаемся любовью и я кричу от радости и наслаждения, я должна думать, что в это самое время другая женщина подвергается страшным пыткам и кричит от невыносимой боли. Раз уж ни о чем нельзя думать отдельно.

Она повернулась к нему. Кстати, что ты на этот раз сказал жене? Какую ложь придумал, чтобы мы могли вместе выпить чаю? Тебе бы следовало написать эту ложь у себя на лбу, чтобы я не забыла об этом, если вдруг ты посмотришь на меня ласково. — Я стольким рискую ради тебя, сказал он. — А я ничем не рискую ради тебя? Кажется, ты думаешь, что мне нечего терять. — Я ухожу, сказал он. А ты оставайся и смотри себе на облака. Я заплачу на выходе. — Уходи, если хочешь, ответила она. Только, пожалуйста, не плати. Это я тебя пригласила, помнишь? Она снова глядела на море. — Одиссей был ужасный человек. Он не заслужил радушия Навсикаи, ее отца и матери. Я

1. БНП (BNP) — Британская национальная партия, крайне правая партия с националистической программой.

помню об этом, когда вижу, как он выходит из укрытия с оливковой ветвью. Я знаю все, что он сделал за эти двадцать лет отсутствия. И я знаю, какие гадости он совершит, когда вернется домой. Но в этот момент — в тот момент, который изобразил Гилл на своем барельефе, — он наг и беззащитен, и молодая женщина приветливо встречает его и знает, что ее отец и мать охотно примут его у своего очага. Разве нам нельзя прочувствовать такие мгновенья? — Я не читал этого, сказал он. — А мог бы и прочитать, сказала она, что тебе мешает? Я даже собиралась — вот дура — почитать тебе вслух отрывки, в одной из этих комнат с видом на море и на горы, покрытые снегом.

В ее глазах стояли слезы. Он стал слушать внимательней. Он чувствовал, что она, может быть, готова сделать первый шаг, помочь ему выбраться из тупика, так, чтобы они оба могли вернуться на более раннюю стадию разговора и направить его в другое русло, огибая возникшее препятствие. — И вот еще что, сказала она. — Что? — спросил он, смягчаясь, показывая ей, что готов быть добрым, если она позволит. — На Схерии был обычай заботиться о моряках, потерпевших крушение, и отвозить их домой, как бы далеко это ни было. Таков был их закон, и они им гордились. — Слезы пролились из ее глаз, потекли по щекам. Он ждал, неуверенно, с проснувшейся вдруг подозрительностью. — И вот их лучшие гребцы, пятьдесят два юноши, ночью отвезли Одиссея домой на Итаку, подняли его, спящего, на берег, вокруг него на песке сложили все дары, которые он получил на Схерии. Разве это не прекрасно? Он просыпается, и вокруг него подарки, и он дома. Но знаешь, на обратном пути, когда их собственный остров был уже виден, гребцы и судно превратились в камень — так отомстил им ненавидевший Одиссея Посейдон за то, что они помогли ему. И тогда царь Алкиной решил умилостивить Посейдона — этого скота, мерзавца, бога-подонка, — велел никогда больше не отвозить домой моряков, потерпевших кораблекрушение. Одиссей, не заслуживший их доброты, оказался последним.

Он встал. Я не знаю, зачем ты мне это рассказываешь, сказал он. — Она вытерла слезы добротной льняной салфеткой, которую принесли вместе с чаем и сконами. — Ты никогда не плачешь, сказал он. Кажется, я никогда не видел, чтоб ты плакала. И вот ты сидишь и плачешь об этих людях из книжки. А я? Я не видел, чтобы ты плакала о нас с тобой. — И не увидишь, сказала она. Клянусь: не увидишь.

Он ушел. Она повернулась и еще раз посмотрела на серферов. Солнце почти закатилось, золотой свет потоками изливался из-под ветхого покрывала набухших облаков. Ветер яростно бился в стекло. А серферы скользили как ангелы,

наслаждаясь прикосновениями к водам земным, едва касались поверхности, иногда поднимались и взлетали, а потом приземлялись в фонтане брызг. Она наблюдала за ними, пока свет не померк, и тогда одна за одной странные черные фигуры стали выбираться на берег со своими досками и воздушными змеями — сложенными, почти невесомыми.

Она расплатилась. Напротив барельефа высокий мужчина стоял на коленях, обняв за плечи маленькую девочку, и объяснял ей смысл изображения. Это история про гостеприимство, — говорил он. Для островитян каждый чужестранец был священен. Они одевали и кормили его, даже не спросив его имени. Неслучайно мы видим эту картину здесь, на суровом морском берегу. Вот эта тетя сказала путешественнику, что хочет выйти за него замуж, но у него дома уже была жена. И они отвезли его домой.

Примечания

Отель "Мидлэнд" существует на самом деле и находится в маленьком приморском городке Моркамб на северо-западе Англии. Построен он был в 1933 г. по проекту Оливера Хилла — здание в стиле ар-деко, с морскими коньками на фасаде, стоящее у самого моря.

Эрик Гилл (1882—1940) — скульптор, художник, гравер, каменщик, типограф — тоже существовал на самом деле и принимал участие в оформлении отеля. Это он изваял морских коньков, а также нарисовал фреску с русалками и создал знаменитый барельеф, изображающий встречу Одиссея и Навсикаи (стоимость этого барельефа сейчас оценивается в 2 млн. фунтов). У этого шедевра бурная биография — он дважды исчезал со стены вестибюля, причем во второй раз в поисках принимал участие Интерпол. Сейчас, однако, барельеф водворен на место и висит позади стойки регистрации.

Эрик Гилл был необыкновенно талантливым и разносторонним художником, участником Движения искусств и ремесел. Он был глубоко религиозен, хотя, по всей видимости, его религиозные взгляды были довольно необычными. Гилл вел подробный дневник, в котором описывал свои сексуальные отношения с собственными детьми, с сестрой и с собакой. Эти подробности его личной жизни стали широко известны после публикации в 1989 г. биографии, написанной Фионой Маккарти. Гилл послужил прототипом одного из героев в недавнем романе известной британской писательницы А. С. Байетт "Детская книга" ("Children's Book", 2009).

Увы, погибшие собиратели моллюсков тоже не выдуманы — более двадцати китайских наемных рабочих утонули в 2004 г. на побережье Моркомба во время прилива.

Пенелопа Фицджеральд

Хирухарама

Перевод Екатерины Кузнецовой

МИСТЕР Тэннер непременно желал объяснить, как так получилось, что у них в семье оказался свой юрист, а потому, когда они решили распродать имущество и уехать из Новой Зеландии, им было на кого положиться в деловых вопросах.

Чтобы все стало понятно, сперва нужно было сказать пару слов о дедушке мистера Тэннера: он рано осиротел, и из родного Стэмфорда в Линкольншире его послали за море, к богатым хозяевам, жившим к северу от Окленда, — предполагалось, что в подмастерья, а на деле вышло, что в слуги. Он чистил ножи, ходил за лошадьми, прислуживал за столом, рубил дрова. Там, в Окленде, приехав как-то раз за покупками, он познакомился с Китти, бабушкой мистера Тэннера. Китти приплыла из Англии, надеясь устроиться гувернанткой, и тоже обнаружила, что на самом деле нужна как прислуга. Ей было шестнадцать лет; Тэннер попросил ее подождать три года, пока он накопит денег и сможет жениться. Разговор этот происходил на методистском благотворительном чаепитии всего через пару недель после их знакомства. “У тебя в Англии много родни?” — спросила Китти. “Только сестра”, — ответил Тэн-

© Penelope Fitzgerald, 1992
© Екатерина Кузнецова. Перевод, 2012

нер. “Старшая или младшая?” — “Старшая”. Наверное, думает, я уже выучился ремеслу. Наверное, думает, я хорошо устроился в жизни. “А ты ей давно не писал?” — “Давно”.

— Ну, теперь ты лучше напиши, — сказала Китти, — сообщи, что мы женимся. Я буду рада новой родственнице, своих у меня, можно сказать, нет.

— Я над этим подумаю, — сказал он.

Китти поняла, что он неграмотный.

Поселиться им пришлось в глуши. В те времена земля в окрестностях Окленда стоила десять шиллингов за акр — треть суммы шла на постройку новых школ и церквей; но к северу от Аванyи, где обосновались Тэннер и Китти, ни школ, ни церквей не было, а потому жить оказалось дешевле. Даже не пришлось покупать жилье: они нашли брошенный участок, а на участке то, за что другой заплатил бы добрую тысячу фунтов: водозаборную колонку с чистой родниковой водой. Как бы то ни было, прежние хозяева уехали и оставили свой дом: слишком уж глухая местность и слишком уж бедная страна. Не подумайте, впрочем, что это была жалкая лачуга. Нет, там оказалось две комнаты — в одной плита, в другой остов кровати; и еще каморка, которую приспособили под овощной склад. Тэннер стал выращивать корнеплоды и дважды в неделю запрягал телегу, чтобы отвезти их на рынок в Аванyи. Китти оставалась смотреть за хозяйством: они завели две сотни кур и немало поросят.

Тэннер все думал, что ответит жене, когда та скажет, что ждет ребенка. Когда она и в самом деле об этом сказала, года через два после свадьбы, он поначалу ничего не расслышал: дул северный ветер и докричаться друг до друга было попросту невозможно. Потом, сумев наконец разобрать слова, он запряг телегу и поехал в Аванyи. Доктор как раз ушел на обед; обедал он в пансионе в начале главной городской улицы. Дождавшись, пока он вернется в приемную, Тэннер спросил, какой на Северном острове процент выживаемости.

— Вы хотите сказать “процент смертности”? — уточнил доктор.

— Можно и так сказать, — ответил Тэннер.

— У нас не умирают, разве что спиваются или тонут. В провинции Таранаки три тысячи человек, и за последние шестнадцать лет — ни одних похорон. Да и больных всего двадцать четыре человека. Можно сказать, сижу без работы.

— А когда рожают? — спросил Тэннер.

Но доктор не стал распространяться насчет смертности среди рожениц. Вместо этого он строго взглянул на Тэннера и спросил, на каком сроке его жена.

— Так, понятно, не знаете. Только не спрашивайте меня, близнецы у вас или нет. Подобное знание природой не предусмотрено. — Он принялся что-то писать в блокноте. — Где вы живете?

— Сначала поедете по дороге на Хаухору, через двенадцать миль свернете направо...

— Как называется место?

— Хирухарама.

— Не знаю такого. И слово не маорийское.

— Кажется, оно означает Иерусалим, — сказал Тэннер.

— В округе есть еще женщины?

— Нет.

— Кто-то должен помочь вашей жене по хозяйству, пока она не оправится после родов. Кто ваши соседи?

Тэннер сказал, что соседей у них нет никаких, кроме Бринкмана. Он иногда заглядывает в гости, а сам живет миль за десять, в Стоуни-лоаф.

— Он женат?

— Нет, и часто на это жалуется. Но какая женщина согласится жить в тех краях?

— Женщина, — сказал доктор, — согласится жить где угодно. Осмелюсь заметить, он большой чудак.

— Он мечтатель, — отозвался Тэннер. — Да, пожалуй что мечтатель.

— Я-то говорил о том, чтобы постирать пеленки и что там еще по хозяйству. Раз нет соседей, вы сами сможете хоть что-то сделать?

— Много чего смогу, — сказал Тэннер.

— Не пьете?

Тэннер покачал головой, попутно задумавшись, а не пьет ли сам доктор. Затем спросил, привезти ли жену на осмотр, когда он следующий раз поедет в Авануи. Доктор выглянул в окно, оглядел расхлябанную телегу с железными ободьями на колесах.

— Не надо.

Он вырвал из блокнота страничку с рецептом.

— Это для вашей жены, раствор хлористого кальция. Как буду нужен, пошлете за мной. Но главное, не волнуйтесь. Бывает, что пока я приеду, уже и без меня справились.

На веранде, на деревянных скамейках, уже ждали другие пациенты. Некоторые принесли пустые пузырьки из-под лекарств — для новой порции. Был там человек с перевязанной рукой, несколько матерей с детьми и какая-то женщина, с виду вроде здоровая, но сильно заплаканная. Да, вот так и жили в поселках.

Потом Тэннер пошел на почту — там можно было бесплатно воспользоваться пером и чернильницей — и написал письмо сестре. Постойте, он ведь не знал грамоте. Стало быть, уже выучился. Это было влияние Китти: она хоть и была девушка тихая — очень тихая, — но Тэннер догадывался: замуж за неграмотного не пошла бы.

"Дорогая сестрица, — писал он. — Так случилось, что в нашем семействе ожидается прибавление: то ли мальчик, то ли девочка. Хорошо бы ты послала нам какую-нибудь книгу по этому вопросу. А в хозяйстве у нас сотня кур, и вдобавок сотня несушек, и картошки хороший урожай". Отправив письмо, Тэннер зашел купить мыла, иголок, ниток, рыбных консервов, чаю и сахару. На выезде из Авануи он остановился у последней фермы, где жил его знакомый, некий Пэрриш, державший гоночных голубей. Некоторые из них как раз возвращались на голубятню. Окошки в голубятне были настолько узкими, что птицам приходилось буквально протискиваться внутрь, задевая при этом специально подвешенный колокольчик — так хозяин узнавал об их возвращении. Все голуби были пятнистого сизого окраса — только таких, заявил Пэрриш, и держат порядочные люди. Тэннер объяснил, в чем дело, и попросил одолжить ему пару птиц. Пэрриш согласился: Хирухарама, где жил Тэннер, находилась по пути из Авануи на станцию Те Паки, и голуби были приучены летать в этом направлении.

— Живи вы в другой стороне, ничем не мог бы помочь, — сказал Пэрриш.

Голубей обучал маорийский мальчик. С четырех месяцев он начинал выпускать их в пробные полеты — сначала на три мили, потом на десять, потом на двадцать, причем только в одном направлении, к северо-западу от Авануи.

— То есть пятнадцать миль они пролетят, — сказал Тэннер.

— Они все двести пятьдесят пролетят.

— А за какое время пролетят пятнадцать?

— При хорошей погоде — за двадцать минут, — сказал Пэрриш.

Мальчик-маори выбрал двух голубей и положил их в крытую корзину. Тэннер закрепил корзину на козлах.

— Они у вас меченые? — спросил Тэннер.

— Мне их метить незачем, — сказал Пэрриш. — Я и так всех знаю.

Он добавил, что голубям нужна каменная соль, так что Тэннеру пришлось ехать обратно в город за этой солью и мешком проса. Когда он вернулся в Хирухараму, со всех сторон уже подступила ясная летняя ночь. Надо было взять тебя с собой в город, сказал он Китти. Китти сказала, что все у нее

хорошо. А вот у него не все хорошо — беспокоился. Значит, ты чего-то не привез, сказала Китти. Тэннер достал из телеги голубей — они все возились и тихонько бормотали в своей корзинке.

— Я привез больше, чем ты просила, — сказал он.

Они поселили голубей на чердаке, над овощным складом. "Сизые пятнистые" стали украшением дома.

Сестра Тэннера и в самом деле прислала книгу, правда, шла посылка почти год. Да и все равно практическим вопросам была посвящена лишь одна глава, а так книжка оказалась религиозного содержания. Тем не менее Китти и сама не ошиблась в подсчетах: схватки начались тогда, когда их и ждали, причем довольно сильные, так что Тэннер послал за доктором. Голубям он смастерил гнезда из коробок. По-хорошему их надо было каждый день выпускать, но у Тэннера не получалось. Тем не менее выглядели голуби неплохо: пожалуй, чересчур взъерошенные, однако не так, чтобы это бросалось в глаза. Было четыре часа, дул ветер, но совсем легкий. Тэннер вынес птиц на свежий воздух, даже здесь, вдали от побережья, хранивший запах морской соли. Как выпускать голубей, он не имел никакого представления: открыл корзину, не успел даже сообразить, что делать дальше, — а птицы уже в небе. Тэннер с ужасом смотрел, как, достигнув определенной высоты, голуби принялись наворачивать круги, словно замешкались или заплутались. Потом, видимо, высмотрев что-то на горизонте, они решительно развернулись и полетели в сторону Авануи. Так, минут двадцать голубям — долететь до Пэрриша. Десять минут Пэрришу или его слуге-маори — дойти до доктора. Два с половиной часа доктору доехать, при том, что он может заплутать по дороге. Потом еще полминуты — вылезти из двуколки и достать инструменты.

В пять часов Тэннер вышел покормить кур и свиней. В шесть Китти была все в том же состоянии. Она лежала тихо, с головы до ног покрытая испариной. "Слышишь, кто-то едет", — сказала она, причем, судя по звукам, ехали не из Авануи, а по главной дороге. Наверное, Бринкман, подумал Тэннер. "Ну да, он ведь ровно полгода как не приезжал", — сказала Китти, словно беседуя с кем-то. В самом деле, кто еще мог ехать по главной дороге? На ней с обеих сторон были глубокие колдобины, так что экипаж то и дело норовил завязнуть. Тэннеры слышали, как скрипит и громыхает старая коляска: два колеса провалятся, два — выберутся. "Остановился у сточного колодца, поит лошадь, — сказала Китти. — Дальше придется ехать шагом". — "Дальше придется поворачивать и ехать домой", — сказал Тэннер.

Была у них где-то фотография этого Бринкмана, но мистер Тэннер не знал, куда она задевалась, да и все равно, помнится, снимок вышел непохожим. Само собой, раз уж сосед проехал восемь миль по неровной дороге, нельзя было не предложить ему зайти.

Подобно многим одиноким людям, Бринкман был все время погружен в свои мысли — они казались ему куда реальней внешней суматохи. Направившись прямо в комнату, он остановился перед осколком зеркала, висевшим над умывальником, и пристально поглядел на свое отражение.

— Знаете, Тэннер, сегодня утром я заметил у себя первую седину.

— Сочувствую.

Бринкман оглядел комнату:

— А стол, я вижу, не накрыт.

— Не подумайте только, что мы не рады вам, — сказал Тэннер, — но Китти нехорошо. Она велела просить вас зайти и отдохнуть, но самой ей нехорошо. По правде говоря, она рожает.

— Выходит, она не будет готовить обед?

— Так вы думали остаться к обеду?

— Именно, к нашему с вами традиционному обеду, раз в полгода, как же.

— А какое сегодня число? — спросил Тэннер первое, что пришло в голову. Он едва сознавал, что Бринкман вообще есть на свете. Сосед словно бы явился откуда-то издалека, он казался иностранцем, не знающим ни языка, ни местных порядков.

Бринкман же и не думал уходить: "В прошлый раз мы начали с консервов из тохероа[1]. Помню, ваша жена поставила их прямо передо мной. Не скажу, однако, что они пошли на пользу моему кишечнику. Затем мы ели яичницу и восхитительное свекольное желе, пили чай и "бово"[2], кто что выберет, а еще вы подавали хлеб с маслом и в избытке — патоку. Я все это описал в дневнике. Впрочем, не подумайте, что я приехал только ради обеда. И даже не ради прогулки — хотя всегда приятно полюбоваться пейзажем и прочесть несколько страниц из книги Природы. Нет, сегодня, как и прежде, я приехал к вам в надежде услышать женский голос.

Не замечал ли Тэннер, продолжал гость, что в этих краях не водится певчих птиц? Тут из соседней комнаты послышал-

1. Тохероа — вид моллюска (*маор.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. "Бово" — новозеландский горячий напиток наподобие бульона, побочный продукт при изготовлении мясных консервов.

ся то ли плач, то ли вопль. Такого звука Тэннер еще никогда не слышал: ни при кораблекрушении — а ему в свое время довелось пережить кораблекрушение, — ни на скотобойне.

— Обо мне не беспокойтесь, — сказал Бринкман. — Я тут посижу и подожду, пока вы не вернетесь выкурить трубочку.

Приехал доктор; он привез с собой овдовевшую родственницу, сестру жены. Родственница эта жила в семье доктора и была сиделкой — по крайней мере, когда-то в прошлом. Тэннер вышел из спальни весь в крови, как мясник. Он сообщил доктору, что сумел принять роды; ребенка, девочку, завернул в полотенце и положил в корзину для белья. Доктор повел Тэннера обратно в спальню и заставил сидеть спокойно. Родственница поставила свои вещи на пол и принялась искать банку с чаем. Бринкман сидел все на том же стуле — столь же невозмутимый, как стул.

— Вам, должно быть, непонятно, кто я такой, — сказал он. — Я сосед, приехал к обеду. Думается, мне в этом доме всегда рады.

— Как знаете, — отвечала родственница.

Тут появился доктор — он, против обыкновения, спешил.

— Пожалуйста, пойдите обмойте роженицу. Я должен посмотреть послед. Отец его выбросил.

Вот тут Тэннер, конечно, оплошал. Потому что это был никакой не послед, а еще одна девочка, только поменьше. Как же так вышло, что, хотя родились две девочки, у мистера Тэннера осталась та же фамилия? Ну, потом-то Тэннеры родили еще девятерых детей, среди которых были и мальчики, в том числе отец мистера Тэннера. В тот вечер доктор пришел со двора с грязным комком в руке. Войдя на кухню, он сдавил этот комок, словно выжимал белье, в открытый ротик хлынул поток прохладного воздуха — и девочка стала жить. С тех пор Тэннеры повесили на стену табличку с девизом: "Ничего не выбрасывай!" Подобные жестяные таблички продавались тогда в скобяных лавках. Так вот, собственно, к чему мистер Тэннер все рассказывал — если первая из близняшек ничего особенного в жизни не добилась, то вторая, маленькая, выросла и стала юристом, открыла свою контору в Веллингтоне и вообще очень хорошо устроилась.

Все это время Бринкман так и просидел за столом, покуривая трубку. Теперь в мире двумя женщинами больше! Если и дальше так пойдет (должно быть, думал он) — глядишь, в конце концов и для него какая-нибудь отыщется. Ну и потом, подадут же ему когда-нибудь обед.

Кристина Россетти

Портрет Кристины Россетти написан Данте Габриелом Россетти в 1848 г.

Вирджиния Вулф
“Я – Кристина Россетти”

Эссе

Перевод Маши Лукашкиной

ПЯТОГО декабря 1930 года Кристина Россетти отпразднует свой столетний юбилей, или, правильнее сказать, праздновать этот юбилей будем мы — ее читатели. Чествование со всеми подобающими речами вызвало бы у Кристины чувство острой неловкости, потому как женщиной она была робкой. Тем не менее юбилея не избежать; время неумолимо; говорить о Кристине Россетти мы должны. Перелистаем страницы ее жизни; почитаем ее письма; вглядимся в ее портреты; посудачим о ее болезнях, кои отличались великим разнообразием; наконец, погремим ящиками ее письменного стола — большей частью пустыми. Не начать ли с ее биографии — что может быть занятнее, чем биография писателя? Многие испытали на себе очарование таковых. Откроем книгу “Жизнь Кристины Россетти”, написанную компетентной мисс Сандерс, — и с головой погрузимся в прошлое. Будто в распечатанном черном ящике иллюзиониста, мы увидим кукол — уменьшенную во много раз копию тех, кто жил сто лет тому назад. Все, что от нас потребуется, это смотреть и слушать, слушать и смотреть — и куклы, возможно, начнут двигаться и говорить. И тогда мы примемся расставлять их и так, и этак, между тем как, будучи живыми людьми, они не сомневались, что могут идти куда им захочется; мы будем видеть в каждом их слове особенный смысл, о каком они сами и не подозревали, говоря первое, что приходит им в голову. Что поделаешь, читая биографию, мы всё видим несколько в ином свете.

Итак, мы в Портленд-плейс, на Хэлем-стрит, году так в 1830-м; а вот и Россетти — итальянское семейство, состоящее из отца с матерью и четырех маленьких ребятишек. Хэллам-стрит того времени нельзя назвать фешенебельной, и на доме лежит отпечаток бедности, однако это ровным счетом ничего не значит для Россетти, ведь их, итальянцев, нимало не за-

© Маша Лукашкина. Перевод, 2012

ботят условности и правила, которыми руководствуется так называемый средний класс Англии. Россетти живут обособленно, одеваются, как считают нужным, принимают у себя бывших соотечественников, среди которых шарманщики и нищие, сводят концы с концами уроками и сочинительством, а также другим случайным заработком. Мы видим и Кристину — чем старше она становится, тем дальше отстоит от узкого семейного круга. И дело не в том, что ребенок она тихий, склонный к созерцанию, — будущий писатель со своим особенным миром, умещающимся в его голове, — гораздо большую роль здесь играет чувство преклонения, которое она испытывает перед прекрасно образованными старшими братьями и сестрой. Но вот приходит время наделить Кристину подругами и сказать, что она... она питает отвращение к балам. Она не любит наряжаться. Ей симпатичны друзья, бывающие у ее братьев, а также сборища, на которых молодые художники и поэты обсуждают будущее устройство мира. Порой их разговоры забавляют ее, ведь степенность причудливо сочетается в ней с эксцентричностью, и она не упустит случая посмеяться над тем, кто самовлюбленно считает себя важной персоной. И хотя она пишет стихи, в ней нет и следа той тщеславной озабоченности, которая присуща начинающим поэтам; стихи складываются в ее голове сами собой, и ее не беспокоит, что скажут о них другие, ведь в том, что эти стихи хороши, она уверена и так. Ее восхищают родные: мать, такая спокойная и простая, искренняя и проницательная, старшая сестра Мария, не имеющая склонности ни к рисованию, ни к сочинительству, но, может быть, оттого столь энергичная и хваткая в житейских делах. Даже отказ Марии посетить Египетский зал в Британском музее, вызванный опасением, как бы ее посещение ненароком не совпало с Днем Воскресения, когда посетителям Египетского зала неприлично будет глазеть на мумии, обретающие бессмертие, — даже эта рефлексия сестры, пусть и не разделяемая Кристиной, кажется ей замечательной. Конечно, нам, находящимся вне черного ящика, слышать такое смешно, однако Кристина, оставаясь в нем и дыша его воздухом, расценивает поведение сестры, как достойное высочайшего уважения. Если бы мы могли, мы бы увидели, как в самом существе Кристины зреет что-то темное и твердое, как ядро ореха.

Это ядро, несомненно, вера в Бога. Мысли о божественной душе овладели Кристиной, когда она была еще ребенком. Тот факт, что все шестьдесят четыре года своей жизни она провела на Хэллам-стрит, в Эйнсли-парк или на Торрингтон-сквер, не более чем видимость. Настоящая ее жизнь протека-

ла в другом, весьма причудливом, месте, где душа стремится к невидимому Богу — в случае Кристины это был Бог темный, Бог жестокий, Бог, объявивший, что ему ненавистны земные удовольствия. Ненавистен театр, ненавистна опера, ненавистна нагота; оттого художница мисс Томсон, подруга Кристины, вынуждена была сказать, что обнаженные фигуры на ее картинах нарисованы "из головы", а не с натуры. Кристина простила обман, пропустив его, как и все, что происходило в ее жизни, через клубок душевных мук и веры в Бога, гнездившийся у нее в груди.

Религия вмешивалась в жизнь Кристины до мелочей. Религия подсказывала ей, что играть в шахматы нехорошо, а вот в вист или крибидж — можно. Религия вмешивалась и в те важные вопросы, которые должно было решать ее сердце. Художник Джеймс Коллинз, любивший ее и любимый ею, был романо-католиком. Она согласилась стать его женой, лишь когда он примкнул к англиканской церкви. Терзаясь сомнениями, будучи человеком ненадежным, он накануне свадьбы все же вернулся в римско-католическую веру, и Кристина разорвала помолвку, пусть это разбило ее сердце и бросило тень на всю ее последующую жизнь.

Годы спустя новая — лучше первой — перспектива семейного счастья замаячила перед Кристиной. Ей сделал предложение Чарльз Коули, но — увы! — этот эрудированный господин в застегнутом не на те пуговицы платье, который перевел для ирокезов Евангелие и справлялся у дам на званых вечерах, знают ли они, что такое Гольфстрим, а в качестве подарка преподнес Кристине заспиртованную полихету колючую ("морскую мышь") в баночке, — этот господин, разумеется, был вольнодумцем. Ему, как и Джеймсу, Кристина отказала. И пусть, по ее признанию, "не было женщины, которая любила бы мужчину сильнее", стать женой скептика она не могла. Ей, обожавшей "курносых и мохнатых" — вомбатов, жаб и всех мышей на Земле, называвшей Чарльза "мой канюк бескрылый" и "мой любимый крот", невозможно было разрешить кротам, канюкам, мышам или чарльзам коули подняться на свои небеса.

В тот черный ящик можно глядеть долго. Нет конца странностям, причудам и курьезам, заключенным в нем. Но стоит только задуматься, какую трещинку этого ящика мы еще не исследовали, нам даст отпор сама Кристина Россетти. Представьте себе, что рыба, непринужденной грацией которой мы любуемся, заплывает в заросли тростника или нарезает круги вокруг камня, вдруг, встретив на своем пути стекло, разбивает его. Подобное случилось во время чаепития у миссис

Тэббс — в числе гостей там оказалась Кристина Россетти. Что послужило поводом, мы в точности не знаем. Возможно, кто-то в легковесно-небрежном тоне, который пристал подобным чаепитиям, отозвался о поэзии или поэтах. Как бы там ни было, к удивлению собравшихся, маленькая женщина в черном платье поднялась с кресла, вышла на середину комнаты и, торжественно объявив всем "Я — Кристина Россетти!" — возвратилась на свое место.

Слова сказаны — стекло на наших глазах разбилось. "Да, — означают эти слова, — я поэт. А вы, делающие вид, будто отмечаете мой юбилей, нисколько не лучше тех, кто пил чай у миссис Тэббс. Вы интересуетесь ничего не значащими подробностями моей жизни, гремите ящиками моего письменного стола, смеетесь над Марией, над мумиями и над моими сердечными делами, а между тем все, что я хотела бы вам о себе рассказать, находится здесь, в этом зеленом томике. Это избранные мои стихи. Купите их за четыре шиллинга и шесть пенсов. Прочитайте", — и она снова усаживается в кресло.

Какие непримиримые идеалисты эти поэты! Поэзия, они утверждают, не имеет ничего общего с жизнью. Мумии и вомбаты, Хэлем-стрит и омнибусы, Джеймс Коллинз и Чарльз Коули, полихета колючая, миссис Тэббс, Торрингтон-сквер и Эйнсли-парк — все это, включая религиозные догмы, весьма относительно, не имеет ценности, мимолетно, эфемерно. Существует только Поэзия, вопрос лишь в том, хороша она или плоха. И ответить на него возможно не сразу, а лишь по прошествии времени. Не так уж много путного сказано о Поэзии с тех самых пор, как она существует. Современники, как правило, ошибаются в своих оценках. Почти все стихотворения, включенные в собрание сочинений Кристины Россетти, были когда-то отвергнуты редакторами. Годовой доход, который она имела от стихов, на протяжении многих лет не превышал десяти фунтов, тогда как книги Джин Инджлоу[1], о которых она отзывалась саркастически, выдержали восемь пожизненных переизданий. Были, разумеется, в окружении Кристины Россетти поэты и критики, к суждениям которых можно было и прислушаться, но даже они подходили к стихам Кристины с весьма различной меркой.

"Ничего лучше в поэзии создано не было!" — восклицает об этих стихах Суинберн, а относительно "Новогоднего гим-

1. Джин Инджлоу (1820—1897) — поэтесса, прозаик. Пользовалась широкой популярностью как автор книг для детей. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

на" говорит, что он жжет, как огонь, и проливается лучами солнечного света, звучит, как шум морских волн со всеми их аккордами и каденциями, недоступными ни арфе, ни органу, а также отдает многократно усиленным эхом, доносящимся с небес.

За Суинберном дадим высказаться профессору Сейнтсбери[1], который подвергнет всестороннему изучению главное произведение Кристины — поэму "Базар гоблинов" — и сделает вывод, что метр его правильнее всего будет определить как скельтонический, с примесью так называемых дурных стишков, и в котором присутствуют разные стихотворные размеры, известные со времен Спенсера и пришедшие благодаря Чосеру и его последователям на смену деревянному грохоту силлабического стиха. Сейнтсбери обратит наше внимание и на нерегулярность стихотворных строк поэмы, свойственную пиндарическим стихам конца XVII — начала XVIII века, а также безрифменным стихам Фрэнка Сейерса[2] и Мэтью Арнольда.

Выслушаем и уважаемого сэра Уолтера Рэли[3]. "О такой совершенной поэзии невозможно читать лекцию, как невозможно долго говорить о воде, лишенной примесей. Лекции надо читать о поэзии поддельной, застойной или мутной от песка. Единственное, на что я способен, читая совершенные стихи, это плакать".

Что ж, приходится признать, что существуют, по крайней мере, три критические школы. Первая учит вслушиваться в музыкальный рокот поэтических волн, вторая исследует их метр, третья предлагает плакать от восторга. Следование сразу трем школам заведет нас в тупик. Не лучше ли сосредоточиться на самих стихах и описать, пусть второпях и запинаясь, что вы сами ощущаете после их прочтения? В моем случае это: "О Кристина Россетти, я должна со стыдом признать, что, хотя знаю многие твои стихи наизусть, я не прочла все твои книги от корки до корки. Я не подражаю тебе в своей литературной работе и ничего не знаю о том, как оттачивалось твое мастерство. Я сомневаюсь даже, оттачивалось ли оно вообще. Ты была из тех поэтов, что послушны лишь инстинкту. Ты смотрела на мир под определенным углом. Ни годы, ни общение с мужчинами, ни чтение книг ни в малей-

1. Джордж Сейнтсбери (1845–1933) — английский писатель и критик.
2. Фрэнк Сэйерс (1763–1817) — поэт, оставивший занятия медициной и наукой ради литературы.
3. Уолтер Рэли (1552(?)-1618) — английский придворный, путешественник, государственный деятель.

шей степени не поколебали твоей точки зрения. Ты откладывала в сторону книгу, которая не согласовалась с твоей верой, ты избегала людей, которые могли бы пошатнуть ее. Наверное, в этом была своя мудрость. Твои чувства были столь непоколебимы, чисты и сильны, что благодаря им ты создавала стихи, ласкающие ухо, как мелодии Моцарта или напевы Глюка. И при всей своей гармонии твои стихи были сложны: в звуках твоей арфы слышалось одновременное звучание нескольких струн. Как все пишущие инстинктивно, ты остро ощущала красоту окружающего мира. Твои стихи были наполнены "золотой пылью", "огоньками сладчайшей герани", твой глаз подмечал и "бархатные макушки" камыша, и "стальные доспехи" ящерицы. Сама того не сознавая, ты воспринимала мир с чувственностью, достойной прерафаэлитов и несвойственной той англо-католичке, какой ты была. Впрочем, ты расплатилась с той католичкой сполна постоянством и печалью своей музы. Та сила, с какой давила на тебя вера, не давала упорхнуть ни одной из твоих песен. Своей цельностью твой литературный труд обязан, должно быть, этой вере. Печаль, сквозившая в твоих стихах, обязана ей же: твой Бог был жестоким Богом, твой венец был терновым. Как только ты начинала славить красоту, что открывалась твоему глазу, твой разум напоминал тебе, что красота тщетна и преходяща. Смерть, страх забвения, желание отдохнуть накатывали на твои песни темной волной. Однако в этих песнях мы слышим и радостный смех, и шум дождя, и топоток звериных лап, и гортанные выкрики грачей, и сопенье-пыхтенье-хрюканье "курносых и мохнатых". Ты вовсе не была святой. Ты сидела, вытянув ноги, ты щелкала кого-то по носу. Тебе ненавистны были пустословие и отговорки. Ты была скромна и вместе с тем решительна, ты не сомневалась ни в своем даре, ни в правильности своего видения. Твердой рукой ты правила рисунок своих стихов, придирчивым ухом вслушивалась в их музыку. Ничто несовершенное, лишнее или неуместное не портило впечатления от твоей работы. Словом, ты была художником. И потому, даже когда ты бренчала колокольчиками просто так, чтобы отвлечься, тебя навещала пламенная гостья, благодаря которой слова в твоих стихотворных строчках плавились, становясь единым целым, так что выудить их оттуда не сумела бы ничья рука.

Так уж странно устроен мир и такое чудо эта Поэзия, что некоторые из стихов Кристины, написанные в маленькой задней комнате, не понесут никакого урона, в то время как мемориал принца Альберта покроется пылью и обратится в прах. Будущие поколения будут петь:

“Когда я умру, мой милый...”

или

“Мое сердце — поющая птица...” —

в то время как на месте Торрингтон-сквер вырастет коралловый лес и рыбки будут сновать в окне, у которого Кристина стояла когда-то, и на бывших мостовых будет расти трава, а вомбаты и крысы забегают на своих мягких лапках по зеленому ковру там, где прежде были проложены железнодорожные рельсы.

Размышляя о том и возвращаясь к биографии Кристины: будь я на чаепитии у миссис Тэббс, при виде маленькой пожилой женщины, поднявшейся со своего кресла и вышедшей на середину комнаты, я бы совершила нечто из ряда вон — сломала бы нож для разрезания бумаг или разбила чайную чашку в неуклюжем порыве восхищения, когда она сказала: “Я — Кристина Россетти”.

Кристина Россетти

Стихи

Перевод Маши Лукашкиной

Мужество

Я смерти не боюсь... Труднее жить.
С терпением галерного раба
Грести, грести, стирая пот со лба,
Но руки на себя не наложить,
Не броситься в глубокий водоем,
Желая одного: навек уснуть...
Имея нож, себе не ранить грудь —
Вот подвиг, в понимании моем.

Шагнуть с обрыва — миг. Терпеть длинней.
Но разве торопливые сердца,
Лишившие себя остатка дней,
Отважней тех, кто слабость превозмог?
И разве не герой, кто до конца,
До капли чашу жизни выпить смог?

© Маша Лукашкина. Перевод, 2012
Рисунки к стихам — Артура Хьюза.

Восхождение

Тропою горной, а потом и тропкой
По каменным холмам... Весь этот путь
Он одолел, не вправе отдохнуть,
Спеша поймать заката отблеск робкий.
Все время вверх — с усильем, понемногу...
Настала ночь, на гору пала мгла.
Теперь подмогой путнику была
Любовь. И воля. И молитва Богу.
На ощупь — вверх. На ощупь — к небесам.
Вот так — нечеловеческим трудом —
Он покорил тот пик, он выиграл бой.
И навзничь пал, хватая воздух ртом.
И не поверил поутру глазам,
Увидев только Солнце над собой.

Собирают яблоки

Весною, украшая свой наряд,
Я обрывала яблоневый цвет,
А осенью, придя с корзиной в сад,
Увидела: на ветках яблок нет.

С пустой корзиной возвращалась я,
Держалась от других чуть-чуть поодаль.
Соседи дружно славили меня,
Подружки меж собой шутили вдоволь.

Победно распевая на ходу,
Шли две мои сестры — Джанет и Милли.
Их яблоки — крупнее всех в саду! —
Так ароматны, так прекрасны были!

Гертруда — неохватные бока —
Окликнула меня, смеясь мне в спину.
Мужская, очень сильная рука
Несла ее тяжелую корзину.

Ах, Вилли, Вилли, неужели те
Обычные плоды былого лета
Ты предпочел любви и красоте,
Не помнишь больше яблоневого цвета?

По этой же тропинке мы брели
В душистые цветы упрятав лица...
Но яблони давно уж отцвели —
И это время вновь не повторится.

Похолодало к ночи... Надо мной
Сова ночная ухала, кружила.
Все возвратились парами домой.
А я... Я возвращаться не спешила.

Из цикла сонетов "Вторая жизнь"

Полярная звезда, нависшая над льдами,
И Сириус, что разливает свет,
Летя на колеснице меж планет, —
Две избранные ноты в звездной гамме.

Одна, желая путнику помочь,
Встает все в той же точке небосвода,
Другой непреходяще, год от года,
Своим сияньем озаряет ночь.

Как жаль, что встреча им не суждена!
Порядок не изменят небеса:
Вовеки с места не сойдет она,

Не обернется он в полете гордом...
И всё же их ночные голоса
Звучат неутихающим аккордом.

Из цикла "Сонеты, полные любви"

Когда бы день припомнить я могла,
Когда ты на меня впервые глянул!
Мной не отмечен, он бесследно канул,
Как просто день, которым нет числа.

Как я была слепа, не замечая
Твоих, за мною следующих глаз!
Когда Судьба соединила нас:
В конце зимы или в начале мая?

Припомнить бы тот день! Под сердца стук
Воздать ему по праву... Наслажденье
Испить до дна, до головокруженья...

Но память рвется птицею из рук...
Когда бы я припомнила, мой друг,
То первое твое прикосновенье!

Беспечность

Уносит лодку в море, а матросы
Уснули, не убравши паруса...
Из огненной дали меж тем без спроса
Ползет гроза.

Стог сена посреди большого поля
И два глупца, заночевавших в нем,
Меж тем как от снующих в небе молний
Светло как днем.

Судьба непостоянна и жестока...
Беспечность не кончается добром...
Пригонит ветер тучи ненароком,
И грянет гром.

Превращенье

Возможно ли такое превращенье?
Пять лет всего прошло — а не узнать!
Ее ли это тон, осанка, стать?
Достоинство в любом ее движенье,
Где раньше были искренность и пыл!
Спокойствие, присущее мадонне...
И голос стал чуть суше, монотонней,
И тверже взгляд, что прежде робок был.

Не судит, не спешит давать совет,
Как будто бы дала себе зарок...
Мы встретимся спустя какой-то срок
И вновь она окажется иною...
В глазах ее небесный вспыхнет свет,
И крылья обретутся за спиною.

Сестрицы

— Ты не видела, сестрица, —
Хоть случайно, невзначай! —
Голубя в моем окошке?
Что смеешься?.. Отвечай!
Вечером, а может, ночью,
Перед самою грозой?
В клюве он держал колечко
С голубою бирюзой.

— Да, я голубя видала...
Мне пришлось его пугнуть,
Чтобы он в окно не бился,
Чтобы ты могла уснуть.

— Ты добра ко мне, я знаю...
Так ответь, моя душа,
А собаку ты видала,
Что косматa и рыжа?
Вдоль ограды пробежала
И обнюхала крыльцо...
У нее на шее лента,
А на ленте — письмецо.

— Да, сестрица, та собака
Выла ночью под ветлой.
Я, покой твой охраняя,
Прогнала ее метлой.

— А хорошенькому пажу
Ты не открывала дверь?
Что, и не припомнишь даже?
Не приходит он теперь.
Плащ его богат и ярок.
На плече венок из роз.
Он мне приносил подарок —
Дивный гребень для волос.

— Как же, я его видала...
И отвадила скорей,
Чтоб тебя не беспокоил
Скрип несмазанных дверей.

— Стой, не убегай, сестрица,
Не криви в усмешке рот...
Незнакомого мужчину
Ты видала у ворот?
Он придет ко мне сегодня,
Чтоб просить моей руки!
Я люблю его всем сердцем,
Наши чувства глубоки!

— Незнакомца я видала...
Но тебе не все ль равно?
Я, вздохнув, ему сказала,
Что ты замужем давно.

— Ложь! Вот это ложь, сестрица!
Ты разбила сердце мне...
Как ты можешь веселиться?..
Чтоб тебе гореть в огне!

Побегу за ним вдогонку,
За него приму и смерть...
Ах, завистница лихая,
Как же ты могла посметь?!

— Что ж, беги за ним, коль хочешь...
Вот что я тебе скажу:
Ты семьи не опорочишь...
Я тебя опережу.

У *моря*

О чем это море шумит неустанно,
О чем неустанно вздыхает оно?
Отторгнуто неба причудою странной,
Изрезано берега линией бранной
И мучиться жаждою обречено...

А там, в глубине, мир сверкающе-зыбок,
А там, в глубине, мир исполнен чудес:
Подводной скалы неприступная глыба,
И стайки пугливых оранжевых рыбок,
И девственно-белый коралловый лес.

Морские ежи, эти Аргуса слуги,
Толпой обступили причудливый грот...
И каждый, в пучине рожденный без муки,
Неслышно кружит в этом призрачном круге,
И так же неслышно умрет в свой черед.

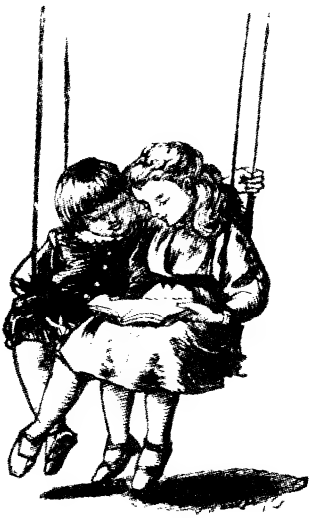
Моей кузине Лоле, читающей книгу вверх тормашками

Лола, ангел озорной
С детскими замашками,
Силится прочесть мою
Книгу вверх тормашками.

Водит пальцем не спеша
По неясным строчкам —

Этим перевернутым
Буковкам и точкам.

Носик сморщен, голова
Подперта рукою...
“Что дает твоей душе
Чтение такое?



Неужели правильно
Прочитать нельзя?..”
Лола на мгновение
Подняла глаза...

Удивление лишь в них.
И – внезапный луч.
Точно солнце невзначай
Вышло из-за туч.

Этот лучик чудный,
Явленный на миг,
Знания дороже
И важнее книг.

Взгляд открытый и прямой,
В пику поучению...
Лола, ангел озорной,
Возвращайся к чтению!

Постигай страницу,
Разбирайся в ней.
Да, я знаю больше...
Но ты меня умней.

Сон

Он снова мне покоя не дает,
Я разгадать его была бы рада,

Тот сон, как, отдыхая от забот,
Сидела я на берегу Евфрата.
Ничто не омрачало небосвод,
Ни тучки на него не находило...
Вдруг вспенилась река... И в глуби вод
Зашевелилось что-то...
Крокодилы!
Они всплывали медленно со дна,
И маленькие, и большие тоже.
Рубинами была испещрена
Их глянцевая новенькая кожа.
Браслеты на их скрюченных ногах
Тряслись в экстазе медленного танца,
А золотые броши на хвостах
Сияли, как доспехи новобранца...
Прервусь на время... Удручает вас
Мой страшный сон... Но то лишь сон, не так ли?..
Поэтому продолжу свой рассказ.
Поверьте,
В нем нет вымысла ни капли.
Так вот, о крокодилах...
Главный, тот,
В короне и со скипетром алмазным,
Всех оттеснивши, выступил вперед
Походкой семенящей, безобразной.
И властным взглядом поглядел вокруг,
И прохрипел какое-то заклятье...
До солнца ростом вымахал — и вдруг
Стал жадно пожирать своих собратьев.
Струился сок из алчных уст его...
Толпа редела с каждою минутой...
Когда же не осталось никого,
Себя схватил за хвост он в злобе лютой.

И начал уменьшаться на глазах,
И покатился кубарем со склона,
Весь в жалких крокодиловых слезах...
И обратилась в прах его корона.
Он мне подал неясный знак рукой...
Но что меня особо поразило,
Над мигом присмиревшею рекой
Ладья, волн не касаясь, заскользила.
Виденьем белоснежным пронеслась,
Как будто унося мои печали...
И сердце успокоилось тотчас.
И звуки арфы тихо зазвучали.
Как сладко мне под них тогда спалось...

И что мой сон вещает?..
Вот досада! —
Мне разгадать его не удалось...
Но рассказать о нем была я рада.

Мария Карп
Оруэлл в Испании

“*После Испании я знал, что мне делать...*”

ЛЕТОМ 1936 года в Испании началась гражданская война. На выборах 1936 года победил Народный фронт – объединение левых партий разного толка, а через пять месяцев правые, под руководством генерала Франко, подняли мятеж и республиканскому правительству пришлось обороняться. Фашистов поддержали монархисты и сильное в Испании католическое духовенство, а правительство – анархисты, социалисты и немногочисленные тогда коммунисты. События в Испании всколыхнули весь мир. Год спустя Оруэлл писал “Когда 18 июля разгорелись бои, в Европе, наверное, не было антифашиста, в чьем сердце не затрепетала бы надежда. Казалось, что наконец-то демократия попытается противостоять фашизму”[1]. Тысячи европейцев и американцев ринулись в Испанию добровольцами. Оруэллу, заканчивавшему работу над книгой “Дорога на Уиган-Пир”, удалось это сделать только в декабре.

Тогда считалось, что ехать воевать в Испанию можно, лишь заручившись поддержкой какой-нибудь левой партии, и поскольку генеральный секретарь Британской компартии Гарри Поллит Оруэллу в такой поддержке отказал, тот попросил рекомендации у руководителей Независимой лейбористской партии. НЛП была связана в Испании с тамошней Рабочей партией марксистского единства (Partido Obrero de Unificación Marxista) – ПОУМ. Эта партия возникла незадолго перед тем, в 1935 году, в результате объединения Рабочекрестьянского блока сторонников Бухарина с Коммунистической левой партией Испании. ПОУМ, так же как и британская НЛП, резко осуждала сталинские показательные процессы. Возглавлял ее Андрес Нин, который девять лет (с 1921-го по 1930-й) прожил в Советском Союзе. Вернувшись в

© Мария Карп, 2012

Испанию, он пытался объединить антисталински настроенных коммунистов, был связан с Троцким, однако вскоре порвал с ним, объединившись со сторонниками Бухарина — так и образовалась ПОУМ.

В ходе революции, в сентябре 1936 года, в автономной Каталонии сформировалось новое правительство (Генералидад). Осуществившие революцию и практически с июля правящие в Каталонии анархисты решили пойти на компромисс с правительством, находившимся у власти с февраля. Таким образом в новом правительстве объединились: Левая республиканская партия (ее лидер, Луис Компанис, был бессменным главой Генералидада), две организации анархистов: Национальная конфедерация трудящихся (СНТ) и Иберийская федерация анархистов (ИФА), а также другие партии Народного фронта, в частности, коммунисты, представленные двумя враждующими партиями — антисталинской ПОУМ, поддерживавшей анархистов, и просталинской ПСУК (Partit Socialista Unificat de Catalunya — Объединенная социалистическая партия Каталонии).

В это время, в конце сентября, характер войны в Испании стал радикально меняться — из гражданской война превратилась, по выражению крупнейшего британского историка Энтони Бивора, в "мировую войну по доверенности"[2]. Невзирая на заключенный в августе 1936 года "пакт о невмешательстве", в Испанию начало поступать оружие из-за границы: франкистам его посылали Гитлер и Муссолини, республиканцам — Сталин.

Поначалу отнесшийся к гражданской войне равнодушно, Сталин к сентябрю сообразил, как обратить испанский конфликт себе на пользу и приобрести при этом внутреннюю и международную поддержку[3]. Главной задачей Сталина было превратить Испанию в свой плацдарм, а для этого добиться усиления Испанской компартии в правительстве Испании настолько, чтобы республика послушно выполняла волю Москвы[4]. При этом он хотел и выглядеть антифашистом в глазах мира, и свести счеты с собственными политическими противниками, и не напугать западные демократии — Францию и Великобританию, которые сохраняли нейтралитет.

СССР был единственным поставщиком оружия республиканскому правительству, и потому оно вынуждено было с ним считаться, а часто и просто подчиняться ему. Советскому послу Розенбергу благодаря симпатизировавшим ему членам правительства удалось стать чем-то вроде заместителя премьер-министра и принимать участие в заседаниях Совета министров[5]. В стране постоянно находилось 700—800 военных советников

из Советского Союза (в общей сложности в Испанию их было направлено 2044) и большое количество сотрудников спецслужб[6].

Однако для полного успеха Сталину необходимо было убрать с пути своих противников. Анархисты ускользали от влияния коммунистов, но главное — Сталину активно противостояла ПОУМ. Еще до революции, в феврале 1936 года, всего через пять дней после победы Народного фронта на выборах, секретариат Коминтерна отдал распоряжение компартии Испании повести "энергичную борьбу против контрреволюционной троцкистской секты"[7]. Троцкистской сектой называли ПОУМ, нимало не смущаясь тем, что Троцкий решительно осуждал политику своего бывшего сторонника Андреса Нина и не желал иметь с возглавляемой им партией никакого дела.

16 декабря 1936 года "Правда", может быть, несколько преждевременно сообщила, что "в Каталонии началось уничтожение троцкистов и анархо-синдикалистов: их будут истреблять до победного конца с той же энергией, с какой их истребляли в СССР"[8]. В тот же день под давлением коммунистов из Каталонского правительства исключили Нина.

Оруэлл, приехавший в Испанию через девять дней после исключения Нина, ничего этого не знал. Более того, он не имел никакого понятия о различиях между испанскими левыми партиями, и многочисленные аббревиатуры вызывали у него только раздражение. Но его покорила революционная атмосфера, царившая в декабре в Барселоне. За восхитительное чувство всеобщего равенства, которое он испытал там в первые дни, стоило сражаться, ради него стоило терпеть тяготы фронта. Тяготы, надо сказать, практически не сопровождались реальными боями — на Каталонском фронте не было современного оружия. Оружие, присылаемое из СССР, направлялось в Мадрид — посылать его в автономную Каталонию, где влияние коммунистов тогда было еще незначительным, Сталин боялся.

"Бить фашистов", о чем мечтал Оруэлл, в таких условиях было невозможно. Раздосадованный медлительностью ПОУМ и разделявший в тот момент точку зрения коммунистов "сначала война, потом революция", Оруэлл готов был перевестись в коммунистические Интербригады и сражаться на Мадридском фронте. Однако для того чтобы это осуществить, надо было с фронта вернуться в Барселону, а отпуск все откладывался и откладывался, не в последнюю очередь, очевидно, именно потому, что Джон Макнэр, руководивший отрядом британцев, посланным Независимой лейбористской

партией, опасался, что, если Оруэлл перейдет в Интербригаду, за ним последуют и другие, а это могло бы нанести немалый урон престижу НЛП[9]. Хотя в ополчение Оруэлл записался под своим настоящим именем — Эрик Блэр, — его товарищи знали, что рядом с ними воюет писатель Джордж Оруэлл, и гордились этим. Долгожданный отпуск был разрешен только в конце апреля.

Две главы из биографии, публикемые ниже, рассказывают о том, как в сознании Оруэлла произошел перелом, определивший его дальнейшую политическую и литературную позицию.

Барселонские перемены

В Барселоне и Оруэлл, и его товарищи сразу поняли, что происходит что-то не то. Революционная атмосфера конца декабря улетучилась. Это был обыкновенный город, слегка потрепанный войной, к которой гражданское население почти не проявляло интереса. Но, главное, исчезли все признаки равенства людей, столь пленившие Оруэлла в его первый приезд. Снова, как до революции, нарядно одетые богачи ели в дорогих ресторанах, а бедняки стояли в нескончаемых очередях за хлебом, снова появились нищие. Почти исчезли революционные формы обращения: "ты" и "товарищ", вернулись "вы" и "сеньор". Снова всюду давали чаевые, а продавцы в центральных магазинах обращались к покупателям с угодливостью, невиданной даже в Англии.

Но это еще было не самое страшное:

> За внешним обличьем города со всей его роскошью и растущей нищетой, за кажущейся оживленностью улиц с цветочными лотками, разноцветными флагами, агитационными плакатами и напирающими толпами безошибочно угадывалось страшное политическое соперничество и ненависть[10].

Борьба коммунистов с анархистами и ПОУМ вступала в завершающую стадию. Уже в марте Каталонское правительство издало указ о роспуске военных патрулей, контролируемых анархистами, и создало правительственные внутренние войска, подчинявшиеся министру безопасности, — по сути, жандармерию. 16 апреля министром юстиции стал коммунист Хуан Коморера, глава промосковской партии ПСУК. В конце апреля произошел ряд политических убийств лидеров разных партий. Всякий раз массовые похороны превращались в мощ-

ные уличные протесты. В этой обстановке Генералидад, с согласия анархистов, счел разумным отменить первомайские демонстрации во избежание кровопролития. "Революционная" Барселона, изумлялся Оруэлл, была, быть может, единственным городом во всей нефашистской Европе, где не отмечали Первомай. Однако кровопролитие началось через два дня.

* * *

Днем 3 мая 1937 года правительственные внутренние войска попытались захватить Барселонскую телефонную станцию, которая с июля 1936 года находилась под контролем анархистов, зачастую прослушивавших правительственные разговоры. Попытка не удалась — жандармов встретил град пуль. В накаленной атмосфере города это немедленно привело к перестрелке и в других районах, а также к строительству баррикад, для чего горожане, наученные опытом предыдущего года, вытаскивали булыжники из мостовой. Поскольку было ясно, что жандармы попытаются захватить и здания, с начала революции принадлежавшие ПОУМ, Оруэлл и другие его товарищи — отпускники с фронта, бросились туда.

Обнаружив, что около трех десятков жандармов забаррикадировались в кафе под названием "Мока", рядом со зданием Исполкома ПОУМ, с явной целью его захватить, командир Оруэлла, Копп*, демонстративно вытащил свой револьвер и положил его на землю. Два сопровождавших его испанских офицера из ополчения сделали то же самое. Безоружные, они пошли навстречу жандармам. "Я бы за двадцать фунтов этого не сделал", — отмечал Оруэлл, восхищенный мужеством и самообладанием Коппа. Коппу удалось договориться с жандармами, что те не станут стрелять первыми — такое же обязательство взяли на себя и поумовцы. Но все же решено было отправить небольшой отряд на крышу кинотеатра "Полиорама", расположенного напротив здания ПОУМ, чтобы в случае чего отразить нападение. На этой крыше Оруэлл и провел следующие трое суток.

Я был вне опасности и ничего, кроме голода и скуки, меня не мучило, однако это был один из самых невыносимых эпизодов моей жизни. Мало что может сравниться по мерзости, ощущению отчаяния и, наконец, просто по нервотрепке с этими ужасными днями уличных боев[11].

* Жорж Копп (1902, Петербург — 1951, Марсель). Один из главных героев книги "В честь Каталонии". Выдавал себя за бельгийца, хотя приехал в Бельгию из России в возрасте 10 лет.

В барселонских боях погибло 400 (по другим данным 500) человек, более тысячи были ранены. 7 мая правительственные войска получили подкрепление в 5 тысяч человек, присланных в Барселону специально для наведения порядка. Стрельба стихла, баррикады стали разбирать, однако главным политическим результатом нескольких дней боев стало укрепление промосковских коммунистов и поражение их противников.

В Барселону, якобы для расследования беспорядков, были посланы офицеры НКВД, действовавшие в Испании под руководством Александра Орлова*. Их отчет был составлен в лучших советских традициях:

> Расследуя мятеж в Каталонии, органы государственной безопасности обнаружили крупную организацию, занимающуюся шпионажем. В этой организации троцкисты тесно сотрудничали с фашистской организацией "Фаланга Эспаньола". Сеть имела свои ячейки в штабе армии, в военном министерстве, в Национальной республиканской гвардии и т. п. Используя секретные радиопередатчики, эта организация передавала врагу сведения о планируемых операциях республиканской армии, о передвижении войск, о дислокации батарей и направляла воздушные удары, используя световые сигналы[12].

Дальше следовали подробности об обнаруженном у одного из захваченных шпионов плане Мадрида, на обороте которого невидимыми чернилами, да к тому же шифром, было написано письмо, адресованное генералу Франко. В расшифрованном виде текст письма якобы выглядел так: "Ваш приказ о просачивании наших людей в ряды экстремистов и ПОУМа исполняется с успехом. Выполняя Ваш приказ, я был в Барселоне, чтобы увидеться с Н. — руководителем ПОУМа. Я ему сообщил все Ваши указания. Он обещал мне послать в Мадрид новых людей, чтобы активизировать работу ПОУМа. Благодаря этим мерам ПОУМ станет в Мадриде, так же как и в Барселоне, реальной опорой нашего движения"[13].

Под Н. в тексте письма, естественно, имелся в виду Андрес Нин. В начале 90-х доживший до наших дней один из сотрудников республиканской полиции, сочинявший под руководством Орлова эту фальшивку, рассказал о своем участии в ее

* А. М. Орлов (1895, Бобруйск — 1973, Кливленд, США) — советский разведчик, майор госбезопасности (1935), резидент НКВД и советник республиканского правительства по безопасности в Испании (1937–1938).

изготовлении Каталонскому телевидению. Но в 1937 году, благодаря, в частности, стараниям Михаила Кольцова, корреспондента "Правды" и тайного представителя Сталина в Испании, она получила широкое распространение[14]. Вслед за советскими и испанскими газетами многие другие газеты мира подхватили обвинение ПОУМ в фашизме.

В самой Барселоне в те дни, как рассказывает Оруэлл, агенты ПСУК распространяли следующую карикатуру: фигура снимает маску с серпом и молотом, а под ней оказывается мерзкая рожа маньяка со свастикой — это ПОУМ. На этом фоне ПОУМ была объявлена зачинщицей барселонских боев.

Дальше все шло по уже отработанной сталинской схеме — поскольку министром юстиции Каталонии был коммунист Коморера, а у анархистов и ПОУМ практически никакого влияния в правительстве не осталось, коммунистам ничего не стоило провести решение о создании нового "спецтрибунала по делам о шпионаже и измене родине", который предъявил обвинения тысячам человек за участие в "майских событиях". Притом что еще в сентябре в Каталонии были созданы две секретные организации, которые находились под непосредственным контролем НКВД и составляли списки лиц, подлежащих устранению[15], сделать это тоже было несложно. Политических заключенных часто держали вместе с обычными преступниками, но порой направляли и в специальные тайные тюрьмы, и в трудовые лагеря, которые насчитывали до двадцати тысяч человек[16].

Однако одних арестов поумовцев и анархистов коммунистам было недостаточно. ПСУК призывала к полному запрету ПОУМ. Одновременно в Советском Союзе надеялись, что удастся сместить и тогдашнего премьер-министра Испании Ларго Кабальеро, давно опасавшегося коммунистической инфильтрации и пытавшегося ей сопротивляться. 9 мая 1937 года Генеральный секретарь испанской компартии Хосе Диас восклицал: "'Пятая коллона' разоблачена... теперь ее следует уничтожить. Некоторые из них называют себя троцкистами — это имя замаскировавшихся фашистов, которые пользуются языком революции для того, чтобы породить путаницу. Я спрашиваю: если все это знают, если правительство это знает, почему же с ними не обращаются как с фашистами и не уничтожают их беспощадно?"[17].

15 мая министр-коммунист потребовал, по указанию Москвы, чтобы Кабальеро объявил ПОУМ вне закона и арестовал ее лидеров. Кабальеро отказался, заявив, что не собирается запрещать рабочую партию, не имея никаких доказательств предъявляемых ей обвинений. Кабальеро

поддержали анархисты, однако правые социалисты (среди которых был и будущий премьер-министр Хуан Негрин) и либералы готовы были поддерживать коммунистов — отчасти потому, что их привлекало предлагаемое коммунистами усиление центрального правительства, а отчасти потому, что они по-прежнему боялись потерять присылаемое из Москвы оружие.

17 мая Кабальеро вынужден был уйти в отставку и премьер-министром Испании стал давно намечавшийся на этот пост Москвой Хуан Негрин. Одним из первых его распоряжений стал приказ о закрытии газеты ПОУМ "Ля Баталья", и партия лишилась возможности публично отвечать на обвинения. Да и вся ситуация радикально изменилась. Один из руководителей ПОУМ, Хулиан Горкин, писал впоследствии: "Через несколько дней после формирования правительства Негрина Орлов действовал уже так, как будто считал Испанию страной-сателлитом. Он явился в Генеральное управление безопасности и потребовал у полковника Ортеги, которого уже рассматривал как одного из своих подчиненных, ордера на арест членов Исполнительного комитета ПОУМ"[18].

* * *

Таким оборотом событий — обвинением ПОУМ в фашизме — Оруэлл был потрясен до глубины души.

Он пытался встать на точку зрения коммунистов: ПОУМ выступала за немедленную революцию, что, по мнению коммунистов, было ошибкой. Хорошо, возможна и такая позиция. Коммунисты утверждали, что пропаганда ПОУМ нарушает единство проправительственных сил и тем самым "объективно" мешает выиграть войну — с этим можно спорить, но допустимо. Но потом коммунисты заявили, что ПОУМ ведет к расколу проправительственных сил не потому, что она ошибается, а потому, что таков ее замысел! Поумовцы мешают республике выиграть войну потому, что они просто-напросто замаскировавшиеся фашисты, которым платят Франко и Гитлер.

И все десятки тысяч рабочих, и в том числе восемь или десять тысяч солдат, мерзнущих в окопах, и сотни иностранцев, приехавших в Испанию сражаться с фашизмом, часто жертвовавших источником дохода или гражданством — все это просто предатели, оплачиваемые фашистами. И это распространяется по всей стране с помощью плакатов и т. п., и повторяется снова и снова в коммунистической и прокоммунистической прессе во всем мире. <...> Вот, стало быть, что про нас говорили: троцкисты, фашисты, пре-

датели, убийцы, трусы, шпионы и так далее. Должен признаться, это было неприятно, особенно если представлять себе тех, *кто* это говорил. Тяжело было видеть пятнадцатилетнего испанского мальчика, которого несли на носилках, видеть его отрешенное бледное лицо, высовывавшееся из-под одеяла, и думать о всех этих лощеных господах в Лондоне и Париже, которые пишут памфлеты, доказывающие, что этот мальчик — замаскировавшийся фашист[19].

Ощутив трагизм ситуации и понимая, что ПОУМ вот-вот объявят вне закона, Оруэлл немедленно принял три важных решения. Первое — он сообщил "приятелю-коммунисту", о котором он упоминает в книге "В честь Каталонии", что переходить в коммунистические Интербригады он не собирается. Дело в том, что, и уезжая в отпуск, и в первые дни в Барселоне, Оруэлл был убежден: на Арагонский фронт он уже не вернется. Ему так хотелось попасть в Мадрид, что он даже отказался от мысли идти в близкое ему анархистское ополчение — потому что тогда он мог бы угодить в Теруэль, а стремился только в Интербригады, поскольку именно они воевали на Мадридском фронте. Макнэр, которому очень не хотелось терять Оруэлла и его товарищей, уговорил их подождать с переходом до первомайского празднования. Но как престижно иметь на своей стороне писателя, понимал не только он.

Барселона была наводнена коминтерновскими агентами, пытавшимися склонить иностранных добровольцев к вступлению в Интербригады. Один из них, Уолтер Тапселл, видный британский коммунист, ставил себе в заслугу, что ему удалось переманить Оруэлла (возможно, он и был тем "приятелем-коммунистом", который упоминается в книге "В честь Каталонии"). Во всяком случае, в своем отчете, посланном и в штаб НКВД, расположенный в испанском городе Альбасете, и Гарри Поллиту в Лондон, Тапселл писал:

Самая заметная личность и самый уважаемый человек в контингенте [Независимой лейбористской партии] в данный момент — Эрик Блэр. Этот человек — Писатель, который написал несколько книг о жизни пролетариата в Англии. Политического чутья у него мало. Партийной политикой не интересуется и приехал в Испанию как антифашист сражаться с фашизмом. Однако в результате своего фронтового опыта он невзлюбил ПОУМ и ждет теперь увольнения из их ополчения. В разговоре 30 апреля Блэр поинтересовался, помешают ли ему связи с ПОУМ записаться в Интербригаду. Он хочет сражаться на Мадридском фронте и заяв-

ляет, что через несколько дней, когда оформит увольнение из ПОУМ, официально подаст заявление к нам[20].

Барселонские бои и атака на ПОУМ сделали этот шаг для Оруэлла невозможным. Более того, из естественного чувства справедливости он уже стал жалеть, что в свое время не вступил в ПОУМ. Но в то же время он понял, что перед лицом наступавшего вранья его долг — описать то, что происходило в действительности, как он это видел. И потому вторым его решением было сразу после прекращения боев — 9 мая 1937 года — послать письмо Виктору Голланцу*. Любезно поблагодарив издателя за якобы только что прочитанное его предисловие к "Дороге на Уиган-Пир", — на самом деле, оно дошло до него в марте и понравиться никак не могло, но спорить с Голланцом сейчас было не время, — Оруэлл пообещал представить ему новую книгу, в которой собирается написать правду о войне к началу следующего, 1938 года.

И наконец, третье решение — возвращение на фронт. В Барселоне шли повальные аресты. Уезжать в этот момент из Испании (что, очевидно, было бы самым благоразумным) и оставлять друзей в беде Оруэллу не хотелось. Тучи сгущались и над ним. "Вы все время испытывали омерзительное чувство, что вот сейчас кто-то, кого вы до сих пор считали своим другом, выдает вас тайной полиции"[21], — писал он позже. Чутье Оруэлла не обманывало: к нему, к его жене Айлин, к Джону Макнэру и к Жоржу Коппу был приставлен шпион, направленный Коминтерном. Это был молодой лондонец Дэвид Крук, учившийся в Америке, а затем отправившийся воевать в Испанию (в отличие от Оруэлла, с благословления Гарри Поллита) и в феврале, после ранения на Мадридском фронте, завербованный агентом Коминтерна Жоржем Сориа. Крук проходил подготовку к своим "спецзаданиям" в Альбасете, где размещался штаб НКВД и где его обучал испанскому языку Рамон Меркадер, будущий убийца Троцкого[22].

Приехав в Барселону 27 апреля (на день позже Оруэлла), Дэвид Крук познакомился с общительной Айлин и вскоре стал своим человеком в штабе Независимой лейбористской партии, где Айлин работала секретаршей Джона Макнэра. В обеденный перерыв, когда Макнэр и другие выходили пообедать в кафе "Мока", Крук проникал в пустые комнаты, рылся в столах, брал нужные ему документы, относил их в Советское

* Виктор Голланц (1893–1967) — английский издатель, создатель "Книжного клуба левых", опубликовавший "Дорогу на Уиган-Пир" Оруэлла.

посольство, где их фотографировали, и клал на место до возвращения Макнэра с друзьями[23]. Кроме того, Крук писал в НКВД, что на 90 процентов уверен в том, что у Айлин роман с Коппом, который всячески опекал ее в Барселоне — в НКВД его учили, что подобного рода информация дает агентам власть над их жертвами.

Информация передавалась Круком через еще одного лондонца, Хью О'Доннелла, тоже работавшего на Москву и направленного в Барселону непосредственно Гарри Поллитом. И еще одного коммунистического агента, не подозревая о том, привезла чуть позже в Барселону Гвен О'Шоннесси, невестка Айлин, прибывшая ее навестить, — это был Дэвид Уикс, тоже как будто прибывший в Испанию на помощь республиканскому правительству. Его информация о Блэрах тоже передавалась советской разведке в Альбасете и, очевидно, послужила основой выдвинутого вскоре против них обвинения в измене[24].

Не имея, конечно, никакого представления о конкретных подробностях происходящего, Оруэлл безошибочно ощущал общую атмосферу тех дней:

> Тот, кто был в Барселоне тогда или многие месяцы спустя, никогда не забудет чудовищную обстановку, создаваемую страхом, подозрительностью, ненавистью, подцензурными газетами, переполненными тюрьмами, длиннющими очередями за продуктами и рыскающими по городу вооруженными отрядами[25].

Через три дня после окончания барселонских боев Оруэлл вместе с товарищами по неудавшемуся отпуску отправился обратно на фронт. Но и фронт изменился — вместо Ленинской дивизии они теперь служили просто в 29-й, потому что, как того давно добивались коммунисты, ополчение ПОУМ было включено в общую "Народную армию". Вернулись и воинские чины и звания — Бенжамен Левински, командир Оруэлла, вот-вот должен был стать капитаном, Копп — майором, а сам Оруэлл — лейтенантом. Вернулась и разница в жалованьи, которое получали военные, — на первых порах офицеры, правда, намеревались отдавать свою надбавку в общий котел.

Не успели они доехать до фронта, как их настигло новое ошеломляющее известие — арестовали их фронтового товарища Боба Смилли, внука легендарного шахтера, Роберта Смилли, который уже направлялся в Англию. В тюрьму к нему никого, в том числе и адвоката, не допускали; выяснить, за что он арестован, тоже не представлялось возможным, и тут Оруэлл впервые обнаружил, что в странах, где нет такой

привычной и естественной для англичанина вещи, как хабеас корпус*, человека можно держать в тюрьме не то что без суда, но и без предъявления обвинения неопределенно долго. И хотя говорили, что Боб Смилли арестован за ношение оружия, никто не сомневался, что реальной причиной была его связь с ПОУМ и нежелание коммунистов, чтобы за пределами Испании распространялась какая-то другая версия недавних событий, кроме официальной. Арест этот стал для всех тяжелым ударом. И все-таки ошельмованные и обвиняемые в связях с фашистами поумовцы вернулись на фронт, чтобы продолжать биться с фашизмом. Оруэлл, правда, — ненадолго.

* * *

Часть, в которой он служил, стояла около Уэски — почти там же, где он ее и оставил. На десятый день пребывания Оруэлла на фронте, 20 мая в пять часов утра, пуля фашистского снайпера пробила ему горло — очевидно, при его росте, даже находясь в окопе, он резко выделялся на фоне светлеющего неба — окопы рыли под невысоких испанцев. Чудом он остался жив — пуля прошла в миллиметре от сонной артерии, повредив только голосовые связки и задев нервы на затылке, отчего правая рука оставалась некоторое время парализованной. Описание ранения в книге "В честь Каталонии", так же как описание боя, у Оруэлла бодрое и энергичное, хотя он признается, что первые несколько минут думал, что его убили, а потом испытывал сильнейшую боль, особенно когда его несли на носилках и везли в госпиталь.

24 мая Айлин отправила телеграмму его родителям в Саутволд: "ЭРИК ЛЕГКО РАНЕН БЫСТРО ПОПРАВЛЯЕТСЯ ПЕРЕДАЕТ ПРИВЕТ БЕСПОКОИТЬСЯ НЕ О ЧЕМ АЙЛИН" Но одновременно она попросила Коппа подробно поговорить с лечащим врачом мужа и описать все симптомы ее брату, крупному врачу, доктору Эрику О'Шоннесси, мнением которого она очень дорожила. Копп послал подробное письмо, отметив мимоходом, что чувство юмора у пациента не пострадало, и присовокупив подробный рисунок раненного горла. Ясно было одно — воевать Оруэлл уже не будет и потому в Испании ему больше делать нечего.

После нескольких переездов из одного госпиталя в другой Оруэлла как выздоравливающего перевели в санаторий "Мау-

* Хабеас корпус — гарантия личной свободы. Понятие английского права, которое постоянно применялось с XV в.

рин" под Барселоной, принадлежащий ПОУМ. Там его навещали Айлин и Копп, оттуда 8 июня он написал письмо своему давнему приятелю — еще по начальной школе и по Итону — Сирилу Конноли, тоже ставшему литератором и тоже побывавшему в Испании. В письме Оруэлл сообщал, что намеревается вернуться домой недели через две, как только получит увольнение из армии; что, невзирая на предсказания врачей, все же надеется, что голос его восстановится; что собирается написать книжку о войне и что в Испании он впервые по-настоящему поверил в социализм. Ужас того, что происходило вокруг, заставлял его из-за всех сил держаться за те чувства воодушевления и товарищества, которые он испытал в ополчении.

На следующий день — 9 июня — они с Айлин отметили первую годовщину свадьбы, а еще через несколько дней Оруэлл отправился собирать бумаги, необходимые для увольнения и последующего отъезда домой. Еще слабому после ранения, ему пришлось пять дней ездить по госпиталям, разбросанным по Каталонии, на медленных испанских поездах, которые и в лучшее-то время никогда не ходили по расписанию. Измученный, он наконец получил все нужные справки и, вернувшись 20 июня вечером, решил не ехать обратно в пригородный санаторий, а пойти в барселонский отель "Континенталь", где жила Айлин.

Айлин ждала его в фойе. Со светской улыбкой она, небрежно поднявшись с дивана, подошла к мужу, обняла его и прошипела в ухо "Уходи!" Он не понял. Тогда она повела его к выходу. По дороге — на лестнице и у лифта — еще два человека, завидев его, сказали, что нужно немедленно уходить. Он все не понимал. Только выведя его на улицу, Айлин сообщила, что ПОУМ запрещена, ее здания захвачены, и все, кого могли арестовать, — арестованы, а некоторые уже и расстреляны.

Выяснилось, что 15 июня, в день, когда Оруэлл поехал собирать справки, Андреса Нина арестовали прямо у него в кабинете. На следующий день, 16 июня, ПОУМ была объявлена вне закона, а принадлежавшие ей помещения конфискованы (то, что Оруэлл не вернулся в санаторий "Маурин", оказалось большой удачей). Еще через пару дней все сорок членов исполкома партии были в тюрьме, а всего только в одной Барселоне было арестовано не меньше четырехсот поумовцев — на самом деле, размышлял позднее Оруэлл, число их наверняка было гораздо больше. Полиция даже забирала раненых ополченцев из госпиталей. На свободе оставались Джон Макнэр и фронтовые товарищи Оруэлла, бывшие с ним в санатории, Роберт Уильямс и Стаффорд Коттман.

Почти всех остальных знакомых Оруэлла в Барселоне, как рассказывала Айлин, "взяли".

Взяли генерала Хосе Ровира, командовавшего 29-й дивизией. Взяли Гарри Милтона, американца, который нес Оруэлла на носилках, когда того ранили. Взяли Жоржа Коппа. В это Оруэлл никак не мог поверить — он знал, что Копп уехал в Валенсию, где находилось правительство республики. Оказалось, что его друг вернулся накануне и привез из военного министерства письмо полковнику, руководившему техническими операциями на Восточном фронте. Зная, что ПОУМ вне закона, он все же, очевидно, не предполагал, что его арестуют во время исполнения срочного военного задания, и зашел в "Континенталь" за вещами. Айлин в отеле не было, а сотрудники отеля, задержав его какой-то болтовней, быстро вызвали полицию.

Айлин, работавшую в штабе Независимой лейбористской партии, связанной с ПОУМ, не арестовали, очевидно решив использовать ее как "наводку" для последующего ареста не только ее мужа, но и Макнэра.Тем не менее 18 июня шесть человек в штатском пришли под утро в ее номер с обыском. Обыск длился два часа. Забрали дневники Оруэлла, письма читателей с откликами на "Дорогу на Уиган-Пир", вырезки из газет, все книги. Однако паспорта и чековая книжка, предусмотрительно спрятанные Айлин под матрасом, остались целы, поскольку Айлин во время обыска лежала в постели, и то ли застенчивость, то ли благородство помешали осуществлявшим обыск испанцам потревожить женщину, да к тому же иностранку. Оруэлл узнал позднее, что все его вещи, оставленные в санатории Маурин, тоже были взяты — включая сверток с грязным бельем. Очевидно, шутил он позднее, они думали, что там что-то написано невидимыми чернилами.

Однако пока Айлин рассказывала ему о том, что произошло, ему было не до шуток — похоже было, что нужно скрываться.

Эта перспектива показалась мне отвратительной. Невзирая на бесчисленные аресты, я никак не мог поверить, что мне грозит опасность... Кому нужно меня арестовывать? Что я сделал? Я даже не был членом партии ПОУМ. Конечно, во время майских событий я был вооружен, но точно так же вооружены были еще примерно сорок или пятьдесят тысяч человек. Кроме того, мне очень хотелось как следует выспаться. Я готов был рискнуть и вернуться в отель. Жена и слышать об этом не хотела. Терпеливо она объясняла мне ситуацию. Неважно, сделал я что-то или нет. Речь идет не об облаве на преступников, а о терроре. Ни в чем конкретном я вино-

вен не был, но я был виновен в "троцкизме". Одно то, что я служил в ополчении ПОУМ, уже было достаточным основанием, чтобы меня посадили. Английское представление о том, что ты в безопасности, покуда не нарушаешь закон, теряло всякий смысл. Здесь законом становилось то, что пришло в голову полиции[26].

Опыт бродяжничества помог Оруэллу найти убежище на ночь в разрушенной церкви. На следующий день, встретившись у Британского консульства с Макнэром, специально вернувшимся из Франции, чтобы не оставлять товарищей в беде, и восемнадцатилетним Стаффордом Коттманом, ускользнувшим из санатория "Маурин", он узнал новые страшные известия. Двадцатидвухлетний Боб Смилли был мертв — позднее объявили, что он умер от аппендицита, что для здорового молодого человека могло означать только одно: ему не оказали никакой медицинской помощи. Потом стала известна и другая версия: его убили в тюрьме — забили насмерть ударами в живот[27]. Гибель Смилли, "смелого и талантливого мальчика, бросившего университет в Глазго, чтобы сражаться с фашизмом"[28], при таких ужасных обстоятельствах навсегда осталась для Оруэлла самым ярким примером чудовищности происходящего.

В этот же день пришла и весть о гибели Андреса Нина. Как выяснилось позднее, испанская полиция передала лидеров ПОУМ в руки сотрудников НКВД, которые отвезли их в тайную тюрьму в Мадриде. Затем Нина похитили из тюрьмы и еще несколько дней пытали, вынуждая признаться в сотрудничестве с фашистами. Организатором похищения и руководителем пыток был генерал НКВД Александр Орлов, впоследствии автор знаменитой книги "Тайная история сталинских преступлений". Этот эпизод, известный под кодовым названием "Операция Николай", он в своей книге по понятным причинам не описывает. Но в архивах НКВД сохранился его отчет о похищении, написанный 24 июля 1937 года, в котором упоминается его помощник по прозвищу Юзик — Иосиф Григулевич, позже засылавшийся в Мексику для организации убийства Троцкого и в Югославию для убийства Тито.

Об участниках дела "Николая". Основные участники — это 1) Л. и 2) А. Ф. И. М. был самым косвенным пособником. Когда он приносил кушать в арестное помещение и ему открывали ворота, наши люди прошли во двор... Полтавский должен был вам сообщить из Парижа о выезде к вам последнего участника операции — Юзика... Он служил мне переводчиком по этому делу, был со мной в машине у самого помещения, из которого мы вывозили объекта...

Его значком полицейского мы избавлялись от слишком внимательного осмотра машин со стороны дорожных патрулей, когда мы вывозили груз[29].

Нин даже и под пыткой отказывался признавать себя виновным в связях с фашистами. Тогда, посоветовавшись с Москвой, Орлов принял решение его убрать. Главу ПОУМ расстреляли на шоссе около Алькала-де-Энарес под Мадридом и зарыли в поле в ста метрах от дороги — об этом тоже свидельствует направленная в Москву записка, хранящаяся в архиве НКВД[30].

Однако убить Нина сотрудникам НКВД было мало, им надо было еще это скрыть. По одной из версий, они организовали небольшой спектакль, в ходе которого немецкие товарищи из Интербригад, переодевшись в форму гестаповцев, ворвались на виллу, где пытали Нина, якобы с тем, чтобы прийти ему на помощь. "Улики", подтверждавшие атаку гестаповцев — немецкие документы, фалангистские значки и банкноты франкистов, — были затем разбросаны по дому. Официальная линия компартии, опубликованная в газете "Мундо обреро", гласила, что Нин был освобожден фалангистами и скрывается в Бургосе, где размещался штаб Франко. И под надписями "Где Нин?", тайно появлявшимися на стенах домов, коммунисты еще долго приписывали "Саламанка иль Берлин", намекая на то, что он жив и помогает фашистам[31].

Оруэлла угнетало и то, что известия о запрете партии не сообщались войскам, и ополченцы ПОУМ гибли на фронте от фашистских пуль, притом что газеты в тылу называли их фашистами. С другой стороны, в тылу полиция арестовывала офицеров с важными военными заданиями, не спрашивая на то разрешения у командования армии. Собственно, так был арестован Копп, которого Оруэллу с женой удалось навестить в тюрьме. Копп встретил их в толпе арестованных, где были и раненые, вытащенные из госпиталей, и дети, и бодро сказал: "Нас всех расстреляют". Кроме того, он рассказал им, что письмо из военного министерства, которое он вез на фронт, у него забрали, и теперь оно находится у начальника полиции.

Недолго думая, Оруэлл, оставив жену на свидании с Коппом, выскочил на улицу, схватил такси и помчался к полковнику, которому письмо было адресовано, — в надежде его разыскать и восстановить таким образом репутацию Коппа. Была половина шестого, и, опасаясь, что скоро полковник уйдет, Оруэлл спешил из-за всех сил. После долгих поисков он

наконец получил аудиенцию у адьютанта полковника, которому, задыхаясь, еще не полностью восстановившимся голосом, на плохом испанском изложил ситуацию. Терпеливо выслушав его, адъютант спросил, где служил Копп. Оруэллу пришлось ответить: в ополчении ПОУМ, из чего офицер сделал естественный вывод, что и Оруэлл служил там же. В тот момент арест показался Оруэллу неминуемым.

Однако после двадцатиминутного разговора с полковником адъютант направился к начальнику полиции, велев Оруэллу следовать за собой. Разговор с начальником велся за закрытыми дверями на повышенных тонах, но из его кабинета офицер вышел с письмом. Поколебавшись, он пожал Оруэллу руку. Ничего больше сделать он не мог, и никакой роли героический поступок Оруэлла в судьбе Коппа не сыграл. Он оставался в тюрьме еще много месяцев и, как выяснилось позже, подвергался жестоким пыткам. Некоторое время вместе с ним сидел — и даже присутствовал при визите Блэров — Дэвид Крук, арестованный специально для того, чтобы и в тюрьме продолжать следить за Коппом.

Английское консульство между тем оформило паспорта четверым британцам, и 23 июня Оруэлл с Айлин, Макнэр и Коттман сели в поезд, увозивший их из Испании. В отличие от дороги туда, в декабре 1936 года, когда пограничники-анархисты не хотели впускать тех, кто выглядел слишком буржуазно, на обратном пути только буржуазный вид "британских туристов" спас их от ареста — по поезду беспрестанно шныряли сыщики. "Мы начали как героические защитники демократии, а закончили, тайно выскользнув за границу, когда полиция уже дышала нам в затылок"[32], — с горечью писал Оруэлл другу сразу по приезде.

Выскользнули они вовремя. Первая же газета, попавшаяся им на глаза во Франции, сообщала, несколько поторопившись, об аресте Макнэра. А 13 июля 1937-го, наоборот, запоздавший Барселонский трибунал по делам шпионажа и измены родине сформулировал обвинение Эрику и Айлин Блэр: "Их переписка свидетельствует о том, что они — оголтелые троцкисты... связные между Независимой лейбористской партией и ПОУМ... принимали участие в майских событиях"[33]. Оставшись в Испании, Блэры вряд ли избежали бы расстрела.

На границе с Францией спутники на радостях обнялись и расстались: Макнэр и Коттман поехали прямо домой в Англию, а Оруэлл с женой решили, как давно мечтали, устроить себе небольшой отпуск на море. Они вышли из поезда в первом же от границы приморском городке Баньюль-сюр-Мер и

остановились там на три дня. Но отпуск не получился — море было тусклым, штормило, и Испания их не отпускала — мысли об убитых и арестованных товарищах не давали говорить ни о чем ином. Так Оруэлл встретил свой тридцать четвертый день рождения.

Возвращение

"В Испании стало понятно, что можно быть правым и потерпеть поражение, что сила может одолеть дух, что бывают времена, когда мужества недостаточно. Именно этим, без сомнения, объясняется то, что столько людей по всему свету воспринимают драму Испании как личную трагедию"[34]. Эти слова Камю, безусловно, можно отнести к Оруэллу, но для него личной трагедией дело не исчерпывалось. Благодаря цепи случайностей — то, что он оказался в ополчении ПОУМ, а не в Интербригаде, воевал на Арагонском, а не на Мадридском фронте и оказался в Барселоне в дни майских боев и разгрома ПОУМ — Оруэлл воочию увидел в Испании самое страшное явление XX века — тоталитаризм, понял, что задача — его разоблачать, в каком бы обличье он ни выступал и какой бы ложью ни прикрывался, и нашел в себе талант и смелость это сделать.

Противники Оруэлла — а их немало и по сей день — утверждают, что Оруэлл преувеличил и роль маленькой партии ПОУМ, и значение того, что она была подавлена, тогда как гражданская война в Испании была крупнее, сложнее и длилась еще долго после мая 1937 года. Но хотя Оруэлл и сам говорил, что он, как и любой другой, видит только одну сторону, судьба ПОУМ помогла ему разглядеть и причины краха революционных надежд, и механизмы манипулирования человеческим сознанием. Без его каталонского опыта не было бы ни "Скотского хозяйства", ни "1984". После Испании, писал он позднее, он знал, что ему делать.

Возвращаясь поездом в знакомую, зеленую, сонную Англию, с афишами, объявляющими о спортивных матчах и королевских свадьбах, красными автобусами и синими полицейскими[35], он понимал, что ему, в отличие от большинства соотечественников, довелось увидеть прообраз наступающего зла и он должен кричать о нем, предупреждая других, пока оно не настигло их тоже.

Однако первое, с чем он столкнулся по приезде, — это с нежеланием слушать. "Ты не можешь представить себе тот ужас, который происходит в Испании, — писал он другу, едва вернувшись. — Это настоящий террор. Под предлогом борьбы с фа-

шизмом устанавливают фашизм, людей бросают в тюрьмы, буквально, сотнями и держат месяцами без суда, газеты запрещаются. И т. д., и т. п. Но самое омерзительное это то, как освещает все это так называемая антифашистская пресса в Англии"[36].

Еще из Франции он послал телеграмму в самый, как ему казалось, правдивый журнал того времени "Нью стейтсмен энд нейшн" с предложением написать о том, что он увидел в Каталонии. Предложение было принято. Однако через несколько дней, когда статья "Очевидец в Барселоне" была готова, почтенный редактор "Нью стейтсмена", Кингсли Мартин, печатать ее отказался. Как объяснял Оруэлл в письме другу, отказался именно потому, что в ней описывался разгром ПОУМ. "Чтобы подсластить пилюлю, — продолжал Оруэлл, — они послали мне на рецензию очень хорошую недавно вышедшую книжку "Испанская арена", которая без дураков описывает то, что там происходило, и опять — рецензию не напечатали... но предложили за нее заплатить, просто, чтобы я заткнулся!"[37].

Отказ печатать статью прозвучал по телефону, но относительно рецензии Кингсли Мартин 29 июля 1937 года написал Оруэллу письмо. Начиналось оно так:

> Дорогой мистер Оруэлл! К сожалению, мы не сможем использовать Вашу рецензию на "Испанскую арену". Причина в том, что она слишком уж противоречит политическому направлению нашего журнала. Она написана очень бескомпромиссно и, по сути дела, опровергает все сообщения наших испанских корреспондентов[38].

Оруэлл был взбешен. Он понимал, что ложь, распространяемая коммунистами в Испании, проникла и в Англию, но надеялся, что здесь, по крайней мере, ее можно будет оспорить. Одновременно с отказом Кингсли Мартина он получил отказ и от своего издателя Виктора Голланца, связанного с ним контрактом — правда, только на художественные произведения. Начав сразу по приезде работать над книгой "В честь Каталонии", Оруэлл в первую же субботу позвонил в издательство, пытаясь выяснить, готов ли Голланц, которого он предупредил о своих планах еще из Испании, ее печатать. Голланца на месте не оказалось, он поговорил с его коллегой. В ближайший понедельник, 5 июля, узнав от коллеги в чем дело и даже не сочтя нужным разговаривать с Оруэллом, Голланц написал ему, что книгу публиковать не будет, поскольку боится, что "она повредит борьбе с фашизмом".

Это была господствующая среди британских левых точка зрения. Голланц, по крайней мере, был связан с коммуни-

стами, но даже те, кто не имел к ним никакого отношения, все равно постоянно опасались, что правда о коммунистах или о Советском Союзе неминуемо будет "лить воду на мельницу врага". Британская пресса в основном была профранкистской, и левым казалось, что любые выступления против коммунистов — на руку фашистам, поэтому, чтобы не подвести республиканское правительство, лучше помалкивать.

Оруэлл эту логику не принимал и в многочисленных статьях и рецензиях, которые все-таки были опубликованы, хоть и в менее престижных изданиях, чем "Нью стейтсмен энд нейшн", высказывался так резко, как только мог. Вот что он писал летом 1937 года:

Вот самое главное, что выяснилось в результате всей этой истории: сегодня коммунистическая партия (вероятно по соображениям русской внешней политики) — контрреволюционная сила. Вместо того чтобы влиять на испанское правительство, пытаясь сдвинуть его влево, коммунисты резко подтолкнули его к правым... А между тем общественное мнение по всей Европе по-прежнему считает коммунистов либо красными злодеями, либо героическими революционерами — смотря по убеждениям[39].

Столкнувшись с иностранными пособниками Франко, они [республиканское правительство] вынуждены были обратиться за помощью к России, и, хотя количество оружия, поставляемого русскими, сильно преувеличено... самый факт этих поставок привел коммунистов к власти.

Русские... не только получали деньги за свое оружие, но и ставили условия. В самом общем виде условия эти звучали так: "Задушите революцию, а то не получите вооружений"... Коммунисты, конечно, отрицают, что русское правительство оказывает на них какое-то давление. Но это, даже если б было правдой, никакой роли не играет, поскольку можно не сомневаться — все компартии всех стран выражают позицию русского правительства.

В конце концов, нас ждет режим, в котором все оппозиционные партии и газеты будут запрещены, а всякий сколько-нибудь значительный диссидент окажется в тюрьме. Разумеется такой режим будет фашистским. Он будет не таким, как фашистский режим Франко, он будет лучше, чем у Франко, — даже до такой степени лучше, что за него будет иметь смысл сражаться, — но это будет фашистский режим. Но поскольку его установят либералы и коммунисты, называться он будет иначе[40].

* * *

Помимо многочисленных статей и рецензий Оруэлл лихорадочно писал "В честь Каталонии". Как он объяснял позднее в статье "Зачем я пишу", написать эту книгу его заставила ярость, оттого что невинных людей оболгали[41]. На самом деле, его книга — гораздо больше, чем политический памфлет. Как хорошо понимал сам автор, "она содержит много такого, что настоящим политикам покажется совершенно несущественным. Я не могу да и не хочу отказываться от взгляда на мир, обретенного мной в детстве. Покуда я жив, меня волнует слог и стиль прозы, я люблю земную поверхность и наслаждаюсь разными вещами и обрывками бесполезной информации. ...Моя книга о гражданской войне в Испании, "В честь Каталонии", — конечно, откровенно политическая книга, но и она, по большей части, написана с определенным отстранением и вниманием к форме"[42].

Именно начиная с этой книги Оруэлл и сделал, как намеревался, политическую прозу искусством"[43]. Но отличается "В честь Каталонии" и от "Скотского хозяйства", и от "1984" тем, что в ней, как ни странно, есть и оптимизм, и надежда. "Удивительным образом все происшедшее оставило во мне не меньше, а только больше веры в порядочность человеческих существ"[44], — пишет Оруэлл на предпоследней странице своей книги. Отчасти это радостное чувство связано, конечно, с тем, что в Испании он был среди единомышленников, объединенных сознанием, что они выступают на стороне добра и борются со злом. Счастлив он был и тем, что люди, окружавшие его, относились к нему как к равному — с таким же уважением, но без всякой сервильности, с каким он относился к ним. Но он видел в этом и политический смысл:

Здесь, на Арагонском фронте, ты находился среди десятков тысяч людей по большей части, хотя и не только, рабочего происхождения, живущих на одном уровне и общающихся между собой на основе равенства... В некотором смысле можно сказать, что это было предчувствие социализма... Многие из обычных мотивов жизни в цивилизованном обществе — снобизм, жажда наживы, страх перед начальством и т. д. — просто перестали существовать... Ты был в обществе, где надежда встречалась чаще, чем апатия или цинизм, где слово "товарищ" означало товарищество, а не было обманом, как во многих странах. Ты дышал воздухом равенства.

Я знаю, сейчас принято отрицать, что социализм имеет какое-то отношение к равенству. Во всех странах мира существует огромное племя аппаратчиков и аккуратных профессоришек, которые "доказывают", что социализм — это ничто иное, как государствен-

ный капитализм с системой планирования, при том что человеческий инстинкт наживы остается тем же самым, что и всегда. Но, к счастью, существует и другое видение социализма.

То, что влечет к социализму обычного человека и заставляет его ради него жертвовать своей шкурой — это идея равенства. В этом и заключается "загадка" социализма. Социализм — для подавляющего большинства людей — означает бесклассовое общество[45].

Похоже, что такое понимание социализма оставалось у Оруэлла до самого конца. "Каждая строчка серьезных работ, написанных мною с 1936 года, направлена прямо или косвенно против тоталитаризма и за демократический социализм, как я его понимаю"[46], — писал он в 1946 году. Оговорка, "как я его понимаю", свидетельствует о том, что Оруэлл продолжал надеяться на возможность какого-то другого социализма — не такого, какой был в Советском Союзе или описан им самим в "1984", где "Ангсоц" — "английский социализм" — является идеологией тоталитарного государства.

* * *

Летом 1937 года Оруэлл неожиданным образом столкнулся и с "реальным" — советским — социализмом. Как рассказывает в своей статье "Английский писатель в стране большевиков" Арлен Блюм[47], 31 мая 1937 года главный редактор журнала "Интернациональная литература", знаток западноевропейской литературы, шекспировед Сергей Динамов отправил Оруэллу письмо с просьбой прислать в Москву роман "Дорога на Уиган-Пир", по рецензиям показавшийся ему интересным. В архивах Блюм обнаружил перевод ответного письма Оруэлла, написанного в первую же неделю по возвращении из Испании:

2 июля 1937

Дорогой товарищ,

простите, что не ответил ранее на Ваше письмо от 31 мая. Я только что вернулся из Испании, а мою корреспонденцию сохраняли для меня здесь, что оказалось весьма удачным, так как в противном случае она могла бы потеряться (то есть, имеет в виду Оруэлл, исчезнуть при обыске в Барселоне, как исчезли другие отклики читателей. — *М. К.*). Отдельно посылаю Вам экземпляр "Дороги на Уиган-Пир". Надеюсь, что Вас могут заинтересовать некоторые части книги. Я должен признаться Вам, что в некоторых

местах второй половины романа речь идет о вещах, которые за пределами Англии могут показаться несущественными. Они занимали меня, когда я писал эту книгу, но опыт, который я приобрел в Испании, заставил меня пересмотреть многие мои взгляды.

Я до сих пор еще не вполне оправился от ранения, полученного в Испании, но, когда я смогу взяться за работу, я попытаюсь написать что-нибудь для Вас, как Вы предлагали в предыдущем письме. Однако я хотел бы быть с Вами откровенным, а потому я должен сообщить Вам, что в Испании я служил в ПОУМ, которая, как Вы, несомненно, знаете, подверглась яростным нападкам со стороны Коммунистической партии и была недавно запрещена правительством; помимо того, скажу, что после того, что я видел, я более согласен с политикой ПОУМ, нежели с политикой Коммунистической партии. Я говорю Вам об этом, поскольку может оказаться, что Ваш журнал не захочет помещать публикации члена ПОУМ, а я не хочу представлять себя в ложном свете.

Наверху найдете мой постоянный адрес.

Братски Ваш
Джордж Оруэлл.

Естественно, что, получив такое письмо (в июле 1937 года!), редакции ничего не оставалось, кроме как обратиться в НКВД:

28 июля 1937 г.

В Иностранный отдел НКВД

Редакция журнала "Интернациональная литература" получила письмо из Англии от писателя Джорджа Оруэлла, которое в переводе направляю к сведению в связи с тем, что из ответа этого писателя выявилась его принадлежность к троцкистской организации "ПОУМ".

Прошу Вашего указания, нужно ли вообще что-либо отвечать Оруэллу и если да, то в каком духе?

P. S. Напоминаю, что я до сих пор не получил ответа на пересланное Вам письмо Р. Роллана.

Редактор журнала "Интернациональная литература" (Т. Рокотов)[48].

Помимо этих двух писем в архиве сохранился и черновик ответа редакции, набросанный по-русски на старом листке отрывного календаря.

Мистер Джордж Оруэлл,

редакция журнала "Интернациональная литература" получила Ваше письмо, в котором Вы отвечаете на п/письмо (очевидно, прошлое или предыдущее. — *Арлен Блюм*) от 31 мая. Характерно, что Вы откровенно поставили нас в известность о своих связях с ПОУМ. Вы этим правильно предполагали, <что> наш журнал не может иметь никаких отношений с членами ПОУМ, этой организацией, как это подтверждено всем опытом борьбы испанского народа против интервентов, <являющейся> одним из отрядов "Пятой колонны" Франко, действующей в тылу Республиканской Испании[49].

Перевод этого слегка подправленного письма датирован 25 августа и хранится в оруэлловском архиве[50]. В переводе сказано: "Вы правы, что были откровенны с нами, Вы правы, что поставили нас в известность..." Но редактор, написавший "характерно" — хоть и случайно, но не ошибся. Честность — самая характерная черта Оруэлла, и, разумеется, представив себе ситуацию в журнале, он решил не "подставлять" обратившегося к нему человека.

Больше никаких контактов между Оруэллом и "Интернациональной литературой" не было, тем более что писавший ему в мае 1937 года Сергей Динамов был в сентябре 38-го арестован и в апреле 39-го расстрелян.

* * *

Британские коммунисты, разумеется, не могли действовать так просто и четко, как их советские товарищи, но они не собирались оставлять появляющиеся в печати резкие нападки Оруэлла без ответа. Опровергать его суждения по существу им было не под силу, но зато они принялись атаковать его лично, надеясь, как предполагал Оруэлл, дискредитировать его настолько, чтобы подорвать доверие к книге об Испании, над которой он работал[51].

Направление было задано, как и положено, руководителем: Гарри Поллит еще в мартовской рецензии на "Дорогу на Уиган-Пир" со свойственной ему враждебностью к Оруэллу написал: "Главное, что беспокоит мистера Оруэлла, это то, как "пахнет" рабочий класс — запахи вообще играют в его книге большую роль"[52]. После этой рецензии обвинять Оруэлла в презрении к рабочему классу стало общим местом, и 20 августа 1937 года Оруэлл счел нужным послать своему издателю, Голланцу, вырезку из коммунистической газеты "Дейли уоркер", сопроводив ее следующим письмом:

Это — подчеркнутые слова — третье, по-моему, утверждение в "Дейли уоркер", что я якобы сказал, что рабочие "дурно пахнут". Как вам известно, я никогда не говорил ничего подобного, а, напротив, сказал нечто противоположное. Как вы, может быть, помните, в восьмой главе "Уиган-Пира" я сказал, что среднему классу с детства *внушают*, что рабочие "дурно пахнут". Мои слова — констатация общеизвестного факта, не более того. Во многих письмах, полученных мною от читателей, эту фразу упоминали, поздравляя меня с тем, что я обратил внимание на это явление. Утверждение или намек, что я сам считаю, будто рабочие "дурно пахнут", — намеренная ложь, рассчитанная на людей, которые не читали ни этой, ни других моих книг, для того, чтобы объяснить им, что я просто заурядный сноб, и таким образом задеть и политические партии, с которыми я связан. Нападки на "Уиган-Пир" в "Дейли уоркер" начались только после того, как Коммунистической партии стало известно, что я служил в ополчении ПОУМ[53].

Дальше Оруэлл говорит, что Голланцу как издателю книги сподручней обратиться в редакцию газеты, чтобы восстановить истину и предупредить ее сотрудников, что при еще одном упоминании о "запахе" рабочего класса он опубликует подробный ответ со всеми цитатами, да к тому же сообщит читателям, что на эту тему сказал Джон Стрэчи (коллега Голланца по редколлегии "Книжного клуба Левых"), провожая его в Испанию, в двадцатых числах декабря 1936 года. Коммунистической партии неприятно будет увидеть это в печати, пригрозил он.

В этом же письме Оруэлл рассказывает Голланцу о преследовании своего фронтового товарища, восемнадцатилетнего Стаффорда Коттмана — того самого, который вместе с Блэрами и Макнэром возвращался из Испании. Коттман до отъезда на войну вступил в британскую Лигу коммунистической молодежи, а когда вернулся домой в Бристоль, местные "комсомольцы" устроили вокруг его дома пикет со знаменами, обвиняя его как бойца ПОУМ в том, что он — "враг рабочего класса". Из "комсомола" Коттман был по возвращении исключен, что, отмечает Оруэлл в письме к Голланцу со свойственной ему скрупулезностью, возможно и оправдано, раз позиции ПОУМ и Компартии настолько расходятся, но его обвинили еще и в том, что он — "на содержании у Франко".

Я, снова пригрозил Оруэлл, собираюсь обращаться к адвокату, поскольку и меня ведь могут обвинить в том, что я на содержании у Франко, так что, если Вам случится говорить с тамошними начальниками, передайте им, пожалуйста, что, если до этого дело дойдет, я без колебаний подам в суд за клевету.

Для убедительности он привел еще одну цитату из "Дейли уоркер", где уже содержался намек, что он "недостаточно вкладывался" в борьбу с фашизмом. "Отсюда, — заключает Оруэлл, — всего один шаг до того, чтобы назвать меня трусом, саботажником и т. п. — и я не сомневаюсь, что эти люди не преминут это сделать, если будут думать, будто им это сойдет с рук"[54].

Расчет Оруэлла, вряд ли собиравшегося на самом деле обращаться в суд, был абсолютно правильным — Голланц немедленно переслал его письмо Гарри Поллиту и нападки лично на него, во всяком случае, на тот момент стихли. Но газета "Дейли уоркер" придумала другую тактику.

* * *

14 сентября 1937 года газета опубликовала статью своего корреспондента Сэма Лессера, основанную на беседе с однополчанином Оруэлла, членом отряда Независимой лейбористской партии, Фрэнком Фрэнкфордом. Фрэнкфорд, по словам газеты, утверждал, что ПОУМ и особенно командир центурии Жорж Копп тайно помогали фашистам на Арагонском фронте и получали от них оружие, чтобы организовать мятеж в Барселоне. "Дейли уоркер" ссылалась на испанскую прессу и цитировала Фрэнкфорда, который, якобы, сказал: "Каждый вечер, около одиннадцати, часовые слышали, что едет подвода, и по свету могли определить, что она движется между нашим левым флангом и фашистами. У нас был приказ никогда в этот свет не стрелять... Около Уэски мы однажды видели, как командир Копп возвращается с фашистских позиций".

Через два дня, однако, "Дейли уоркер" напечатала исправления, которые просил внести Фрэнкфорд: сейчас уже "он не был *уверен*, что подводы действительно пересекали линию фронта, и *сам* он не видел, как Копп возвращается с фашистских позиций".

Газета, однако, умолчала о том, что Фрэнкфорд был арестован в Барселоне за попытку продать картины, украденные из музеев и церквей, и освобожден с помощью английского посредника — скорее всего, того самого Сэма Лессера, который написал о нем статью, — в обмен на то, что подпишет рассказ, порочащий ПОУМ. Позднее, по свидетельству Феннера Брокуэя, лидера Независимой лейбористской партии, "мальчик" (Фрэнкфорду было тогда 24 года) приходил в лондонскую штаб-квартиру НЛП каяться в содеянном и просить прощения.

Ничего об этом не зная, Оруэлл в статье "Загадочная подвода", опубликованной 24 сентября в газете "Нью лидер" и подписанной еще четырнадцатью находящимися в тот момент в Англии членами британского отряда ПОУМ, написал:

"Совершенно ясно, что эти безумные утверждения... вложили в уста Фрэнкфорда барселонские журналисты, а он, чтобы спасти свою шкуру, их подтвердил"[55].

Как ни печально, Фрэнкфорд повторил свои обвинения против ПОУМ и Коппа в интервью биографу Оруэлла, Бернарду Крику 42 года спустя – в 1979 году. Правда, еще через несколько лет, в 1983-м, в телевизионной передаче "Арена", посвященной Оруэллу, он заявил, что вообще ничего не помнит о публикации в "Дейли уоркер". А в 1998-м на вопрос, справедливо ли он обвинял ПОУМ в фашизме, он отвечал, что не знает[56]. Что, однако, он утверждал всегда, и не колеблясь: Оруэлл никогда ему не нравился, поскольку "он презирал рабочих и заявлял, что они дурно пахнут"[57].

* * *

Читая в "Дейли уоркер" заявления Фрэнкфорда: "Если бы я не был настолько политически отсталым, я не позволил бы завести себя так далеко. Но в мае мое невежество было столь глубоким, что я совершил преступление, приняв участие в фашистском вооруженном мятеже против антифашистского правительства"[58], Оруэлл не мог не вспоминать покаянные речи советских показательных процессов и не ужасаться тому, что те же самые слова произносит его соотечественник.

Помимо всего прочего, испанский опыт открыл Оруэллу глаза на то, что ложь – это не только орудие пропаганды, но и способ манипулирования сознанием, основа искажения истории и вообще форма существования тоталитарного режима. Как человек скрупулезной честности он болезненно пережил это открытие:

> Я еще в детстве заметил, что никакой газетный репортаж не в состоянии отразить событие достоверно, но в Испании впервые в жизни я увидел репортажи, которые вообще не имели никакого отношения к фактам, даже того отношения, которое существует в обыкновенной лжи. Я читал статьи о великих битвах там, где в помине не было никаких сражений, и сталкивался с полным молчанием там, где убивали сотни людей. Я видел смело сражавшихся солдат, которых поносили как трусов и предателей, и других, не слыхавших и выстрела, которых превозносили как героев воображаемых побед... Я видел, как история пишется не о том, что случилось, а о том, что должно было бы случиться в соответствии с той или иной "линией партии"[59].

Это из эссе 1943 года "Оглядываясь на испанскую войну". Развивая эту мысль, он там же обозначает принципы тотали-

тарного общества, уже знакомого по Советскому Союзу, которое он опишет через несколько лет в своем главном романе:

Предполагаемой целью такого подхода является кошмарный мир, в котором "Вождь", или какая-нибудь правящая клика, властвует не только над будущим, но и над *прошлым*. И если Вождь говорит про какое-то событие "этого никогда не было" — значит, этого никогда не было. Если он говорит, что дважды два — пять, значит, дважды два — пять. Эта перспектива пугает меня больше, чем бомбы, а после нашего опыта последних нескольких лет — это не пустые слова[60].

Книга "В честь Каталонии" была закончена в срок — к середине января 1938 года и в апреле напечатана издательством "Секкер и Уорбург". Ее выход отметили несколько очень хвалебных рецензий, но в целом эта, несомненно, одна из лучших книг Оруэлла, никакого коммерческого успеха при его жизни не имела — за двенадцать лет было продано всего 600 экземпляров. Возможно, причина была в том, что события в Каталонии потонули в потоке других судьбоносных исторических событий — оккупация Гитлером Чехословакии, пакт Молотова—Риббентропа, Вторая мировая война. А то, что в книге Оруэлла запечатлелся личный опыт человека, пытающегося осознать основные катаклизмы века, осталось незамеченным и открылось только после успеха "Скотского хозяйства" и "1984".

Сам же Оруэлл, выполнив поставленную перед собой задачу, тяжело заболел. Всегдашнее пренебрежение своим здоровьем, усугубленное мучительными условиями жизни на фронте, раной и непрестанной работой, привели к сильному кровохарканью, которое объяснили разрывом старого легочного шрама. Следующие полгода Оруэллу пришлось провести в санатории, а потом — на деньги неизвестного благотворителя — еще и полгода в Марокко.

Примечания

1. George Orwell. Homage to Catalonia. — Penguin Books, 1985. — P. 48.
2. Antony Beever. The Battle for Spain. The Spain Civil War 1936—1939. — Phoenix, 2006. — P. 209.
3. Там же. P. 169.

4. Стефан Куртуа и Жан-Луи Панне.Тень НКВД над Испанией // Черная книга коммунизма / Под ред. А. Н. Яковлева. http://blackrotbook.narod. ru/pages/zz.htm – С. 316.
5. Там же.
6. Там же. С. 318.
7. Там же. С. 320.
8. Там же. С. 321.
9. Gordon Bowker. George Orwell. – Abacus, 2004. – P. 212
10. George Orwell. Homage to Catalonia. – P. 114.
11. Там же. P. 125.
12. РГАСПИ 495/120/261, с. 6. – Цит по: Antony Beevor. The Battle for Spain. The Spanish Civil War 1936–1939. – P. 300.
13 М. Кольцов. Испания в огне. – Т. 2. – М., 1987. – Цит по: В. З. Роговин. Была ли альтернатива? – Т. 4., гл. 53. Барселонский мятеж. – http://web.mit.edu/people/fjk/Rogovin/volume4/xliii.html
14. В. З. Роговин. Была ли альтернатива? Том 4, гл. 53. Барселонский мятеж.
15. Стефан Куртуа и Жан-Луи Панне.Тень НКВД над Испанией. – С. 319.
16. Antony Beevor. The Battle for Spain. The Spanish Civil War 1936–1939. – P. 301.
17. Там же. P. 302.
18. Julian Gorkin. Les Communistes contre la révolution espagnole. - Paris: Belfond, 1978. P. 205. – Цит по: Стефан Куртуа и Жан-Луи Панне.Тень НКВД над Испанией. – С. 322.
19. George Orwell. Homage to Catalonia. – P. 63–64.
20. Walter Tapsell. Report on ILP contingent. – Barcelona: Marx Memorial Library 1937. – Цит. по: Gordon Bowker. George Orwell. – P. 216–217.
21. George Orwell. Homage to Catalonia. – P. 141.
22. Gordon Bowker. George Orwell. – P. 213.
23. Там же. P. 216, 219.
24. Там же. P. 213, 219–220.
25. George Orwell. Homage to Catalonia. – P. 142.
26. Там же. P. 201.
27. George Kopp. Account of events related to my discovery of a file containing various documents on Bob Smillie's case. Greenwich, 30t January 1939, Orwell Archive. – Цит по: Gordon Bowker. George Orwell. – P. 223–224.
28. George Orwell. Homage to Catalonia. – P. 206.
29. Иосиф Григулевич.Биография с сайта http://www.agentura.ru/culture 007/art/lit/grig/kolpak/
30. Там же.
31. Antony Beevor. The Battle for Spain. The Spanish Civil War 1936–1939. – P. 305.
32. George Orwell. Letter to Rayner Heppenstall. CEJL (The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell / Edited by Sonia Orwell and Ian Angus. In 4 volumes. – London: Secker & Warburg. – Volume 1. – P. 279.
33. Документ впервые опубликован в переводе с испанского на английский в Victor Alba and Stephen Schwartz, Spanish Marxism Versus Soviet Communism: A History of POUM. – New York: Transaction Books, 1988. Цит по: Gordon Bowker. George Orwell. – P. 227.
34. Albert Camus // Frederic Benson. Writers in Arms: The Literary Impact of the Spanish Civil War (New York, 1967). – Цит по: Jeffrey

Meyers. Orwell. Wintry Conscience of a Generation. – New York/London: W.W. Norton & Company, 2000. – P 170.
35. George Orwell. Homage to Catalonia. – P. 221.
36. Letter to Geoffrey Gorer. – CEJL. – Volume 1. – P. 281.
37. Letter to Rayner Heppenstall. – CEJL. – Volume 1. – P. 279.
38. Copy in Orwell Archive. – Цит. по: Bernard Crick. George Orwell. A Life. – Penguin Books, 1982. – P. 341.
39. Review of The Spanish Cockpit by Franz Borkenau, Volunteer in Spain by John Sommerfield. – CEJL. – Volume 1. – P. 277.
40. Spilling the Spanish Beans. – CEJL. – Volume 1. – P. 272, 273, 275.
41. George Orwell. Why I Write // http://orwell.ru/library/essays/wiw/english/e_wiw
42. Там же.
43. Там же.
44. George Orwell. Homage to Catalonia. – P. 220.
45. Там же. P. 102.
46. George Orwell. Why I Write.
47. Арлен Блюм. Английский писатель в стране большевиков // Звезда, 2003, № 6.
48. РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства). Ф. 1397. Оп. 1. Д. 867. Л. 29.
49. Там же. Оп. 5. Д. 46.
50. Orwell Archive // Bernard Crick. George Orwell. A Life. – P. 346.
51. Letter to Leonard Moore. – Цит по: Michael Shelden. Orwell. The Authorised Biography. – Politico's, 2006. – P. 310.
52. "Daily Worker" 17 марта 1937 года. – Цит по: Bernard Crick. George Orwell. A Life. – P. 343.
53. Архив Издательства Виктора Голланца. – Цит по: Bernard Crick. George Orwell. A Life. – P. 344.
54. Там же. P. 345.
55. Jeffrey Meyers. Orwell. Wintry Conscience of a Generation. – P. 331–333.
56. Там же. P. 335.
57. Frank Frankford // Arena, BBC. – Ч. 3. – 1984.
58. "Daily Worker" 17 марта 1937 года. – Цит по: Bernard Crick. George Orwell. A Life. – P. 347.
59. George Orwell. Looking Back on the Spanish War. – Penguin Books, 1985. – P. 234.
60. Там же. P. 236.

Анкета “ИЛ”

Дорогие читатели!

По уже сложившейся традиции каждые два года мы предлагаем вам ответить на вопросы нашей анкеты. Ваши отклики, ваши письма, благодарные и критические, помогают нам в работе. Надеемся, что и журнал помогает вам ориентироваться в безбрежном море зарубежной словесности, и надеемся, что какая-то наша публикация стала для вас подлинным открытием, чем-то совершенно новым в мире литературы. С расчетом на читательский интерес мы и стараемся делать наш журнал.

И вот наши вопросы.

1. С какого года Вы читаете “ИЛ”?

2. Считаете ли Вы, что за последние годы журнал стал: лучше, хуже... (Подчеркните нужное или, по возможности, дайте свое определение. Прокомментируйте Ваше мнение.)

3. Предполагаете ли Вы выписывать наш журнал и впредь?

4. Какие публикации двух последних лет (2011—2012), в том числе и малых форм — новеллы, стихи, эссе, — Вы считаете наиболее удачными?

5. Назовите наши наименее удачные публикации.

6. Как Вы относитесь к нашим “Литературным гидам”, к нашим тематическим номерам и номерам, посвященным той или иной национальной литературе?

7. И немного о себе: возраст, пол, образование, профессия и все, что сочтете важным и интересным.

А теперь, дорогой читатель, обращаемся к Вашей литературной эрудиции. Очередное конкурсное задание мы подготовили в соответствии с темой этого номера.

Английская литература — одна из богатейших литератур мира, давшая человечеству и "печальнейшую на свете повесть", и множество других шедевров, не подвластных времени. Знаете ли Вы ее так, как она того заслуживает?

У английской литературы есть одна особенность — в ней работали замечательные мастера юмора и неподражаемые острословы. Их ироническое отношение к действительности, к книгам, к самим себе невольно передалось и нам. Этим и объясняется несерьезность некоторых наших вопросов.

Итак, наш ЕГЭ по английской литературе.

1. Первый английский писатель, удостоенный Нобелевской премии.

2. Назовите английского писателя венгерского происхождения с чисто немецкой фамилией.

3. Назовите четырех английских писателей, работавших секретными агентами.

4. Какой английский писатель собирался приехать в нашу страну, чтобы отметить свое 100-летие, как когда-то в молодости, когда ему исполнилось 75.

5. "Когда я в последний раз посетил Америку, я прочитал не менее девяноста лекций людям, не причинившим мне ни малейшего вреда." Чье это высказывание?

6. Английский поэт, норвежец по происхождению, в прошлом военный летчик.

7. Два известных английских писателя — однофамильцы.

8. Что общего между Чарльзом Диккенсом и дьяволом?

9. Автор романа о клонах.

10. "Бард — живописец смелых душ". Чьи это слова и о каком английском авторе?

11. Какой английский писатель обратился к автору "Улисса" с письмом, в котором обосновывал свое принципиальное неприятие модернизма?

12. Английский писатель, знаток кулинарного искусства и парикмахерского дела.

13. Откуда Теккерей почерпнул название своего главного романа?

14. Кому принадлежат слова: "Весь мир театр, а мы его актеры"?

15. В каком романе английского писателя XX века персонаж превозносит Диккенса?

16. "Скандальная школа". Название какого классического произведения английской литературы скрывается за этим неверным переводом?

17. Назовите двух американцев, которые при жизни стали известными английскими писателями.

18. Приведите названия хотя бы трех произведений классической английской литературы, в которых содержится цитата из Священного Писания.

19. "Сентиментальное путешествие" Стерна — это пародия. На какую книгу какого известного английского писателя, его современника?

20. Какой английский писатель предлагал употреблять в пищу маленьких детей?

21. В каком английском романе остроумно и в то же время сочувственно описаны злоключения британской королевской семьи?

22. Как звали фокстерьера, оказавшегося в лодке с тремя английскими джентльменами, пустившимися в плаванье по Темзе?

23. Какие роман и пьеса в английской литературе XX века написаны по мотивам "Гамлета" Шекспира?

24. Что общего между юмористическим английским поэтом XIX века и героем одной из самых мрачных трагедий в английской и мировой литературе?

25. Кого из английских писателей читала Татьяна Ларина?

26. Произведения каких русских писателей переводила на английский язык Этель Лилиан Войнич?

27. Назовите очень известного английского писателя XX века, чья фамилия рифмуется с русским словом "по́лки".

28. Назовите не меньше трех переводчиков на русский язык "Алисы в Стране чудес".

29. "Не припомню русского романа, в котором хоть один из персонажей посетил бы картинную галерею". Кому принадлежит это высказывание?

30. Английский писатель, писавший под псевдонимом "Лицо без определенных занятий".

31. Переводчик с английского, удостоенный Государственной премии по литературе.

32. Название романа английского писателя, состоящее из трех букв.

33. Название романа английской писательницы, тоже состоящее из трех букв. (Возможны два варианта ответа.)

34. Рассказ какой английской писательницы "Иностранная литература" печатала дважды, но — в разных переводах?

35. Вместо фотографии английского писателя журнал по ошибке поместил фото испанского писателя. Кто этот пострадавший англичанин?

Если Вам удалось ответить хотя бы на половину вопросов, Вы можете рассчитывать на приз: среди читателей, приславших письма с правильными ответами до 1 марта следующего года, мы разыграем десять бесплатных подписок на весь 2014 год. Ведь на 2013-й Вы уже подписались?

Заполненную анкету нужно вырезать и отправить в редакцию; если же Вы, например, читаете журнал в библиотеке, мы охотно примем Ваши ответы и без анкетного бланка, как, впрочем, и ответы на конкурсное задание. Электронная почта тоже работает.

Информация для абитуриентов: победа в этом конкурсе по всей вероятности будет учитываться при поступлении в вуз.

Благодарим Вас за участие.
Оставайтесь с нами.
И счастливого Нового года!

Английская литература на страницах "ИЛ" 2011—2012

2011

Берлин Исайя — *Шостакович в Оксфорде.* Перевод Е. и С. Шабуцких [6]

Оден Уистен Хью — *Стихи и эссе.* Перевод и вступительная статья Григория Кружкова [7]

2012

Боттон Ален де — *Озабоченность статусом.* Перевод Екатерины Доброхотовой-Майковой [1]

Томас Дилан — *Рассказы, интервью, очерк.* Перевод и вступление Ольги Волгиной [1]

Томас Дэвид — *Роковая небрежность. Кто убил Дилана Томаса?* Авторский дайджест книги. Перевод Ольги Волгиной [1]

Беннетт Алан — *Голы и босы.* Роман. Перевод Тамары Казавчинской [4]

Бёрджер Джон — *Два эссе.* Перевод и вступление Анны Асланян [6]

Фоулдз Адам — *Ускоряющийся лабиринт.* Роман. Перевод Марии Фаликман [6]

Уайльд Оскар — *Сфинкс.* Поэма. Перевод, комментарии и послесловие Михаила Матвеева [8]

Содержание журнала "Иностранная литература" за 2012 год

Специальные номера

Вудхауз, Оруэлл, Стоппард et cetera [12]

"Желаний своевольный рой". Эротическая литература на французском языке. XV—XXI вв. [7]

Французская литература сегодня: взгляд из Франции [11]

Япония: мир в капле дождя [2]

Романы, повести, рассказы, пьесы

Антология японской новеллы [2]

Арминио Франко — *Открытки с того света.* Перевод с итальянского Геннадия Киселева [1]

Беннетт Алан — *Голы и босы.* Роман. Перевод с английского Т. Казавчинской [4]

"Время сердца". Переписка Ингеборг Бахман и Пауля Целана. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой, Александра Белобратова. Вступление Александра Белобратова [10]

Гэллико Пол — *Верна.* Рассказ. Перевод с английского Олега Дормана [5]

Ёсида Сюити — *Одиннадцатая женщина.* Новелла. Перевод с японского Марии Григорьевой [2]

Идзуми Кёка — *Операционная.* Новелла. Перевод с японского Ксении Саниной [2]

Исида Ира — *Звезда из фольги.* Новелла. Перевод с японского Лиалы Хронопуло [2]

Ито Сэй — *Праздник жизни.* Новелла. Перевод с японского Елены Байбиковой [2]

Коикэ Марико — *Обеденный стол.* Новелла. Перевод с японского Алексея Чекаева и Икэда Идзуми [2]

Коуту Миа — *Божьи яды и чертовы снадобья.* Роман. Перевод с португальского Екатерины Хованович [8]

Лимпопо, или Дневник барышни-страусихи. Роман. На язык Homo sapiens перевел и подготовил к печати Геза Сёч. Перевод с венгерского и вступление Вячеслава Середы [3]

Мазинани Мухаммад-Казем — *Последний падишах.* Роман. Перевод с фарси Александра Андрюшкина [9]

Мильяс Хуан Хосе — *У тебя иное имя.* Роман. Перевод с испанского Надежды Мечтаевой [1]

Мишон Пьер — *Император Запада.* Роман. Перевод с французского и вступление Марии Аннинской [3]

Мураками Рю — *В парке.* Новелла. Перевод с японского Елены Байбиковой [2]

Нотебоом Сейс — *Гроза.* Рассказ. Перевод с нидерландского Евгении Ярмыш [9]

Окада Тосики — *Свободное время.* Пьеса. Перевод с японского Ирины Мельниковой [2]

Сёно Ёрико — *Там, за Симоотиай.* Новелла. Перевод с японского Елены Байбиковой [2]

Сэвидж Сэм — *Стекло.* Роман. Перевод с английского Е. Суриц [5]

Транстрёмер Тумас — *Из автобиографической книги "Воспоминания видят меня".* Перевод со шведского Александры Афиногеновой. Вступление Алёши Прокопьева [1]

Утерс Жан-Люк — *Путешествие с Люком.* Роман. Перевод с французского Ирины Волевич [4]

Фай Эрик — *Нагасаки.* Роман Перевод с французского Натальи Кисловой [10]

Фоулдз Адам — *Ускоряющийся лабиринт.* Роман. Перевод с английского Марии Фаликман [6]

Хирабаяси Тайко — *Кисимодзин.* Новелла. Перевод с японского Елены Байбиковой [2]

Хюрлиман Томас — *Рассказы.* Перевод с немецкого Анатолия Егоршева. Послесловие Татьяны Баскаковой [6]

Цуцуи Ясутака — *Мой гранпа.* Повесть-сценарий. Перевод с японского Елены Кожуриной [2] Шепард Джим *Рассказы.* Перевод с английского Светланы Силаковой [8]

Малая проза романистов. Антология британского рассказа

Вступление. [12]

Гардем Джейн — *Дамасская слива. Мертвые дети.* Перевод с английского Ольги Новицкой [12]

Константайн Дэвид — *Чай в "Мидлэнде".* Перевод с английского и примечания Александры Борисенко и Виктора Сонькина [12]

Мантел Хилари — *Этажом выше.* Перевод с английского Екатерины Доброхотовой-Майковой [12]

Торп Адам — *Наемный солдат.* Перевод с английского Сергея Ильина [12]

Фицджеральд Пенелопа — *Хирухарама.* Перевод с английского Екатерины Кузнецовой [12]

Роман и его автор [11]

Мишон Пьер — *Рембо сын.* Перевод с французского Нины Кулиш [11]

"Мне нравится сотрясать смысл и самому трястись от страха его потерять". Избранные интервью с Пьером Мишоном. Перевод с французского Александры Лешневской [11]

Эшноз Жан — *Молнии.* Перевод с французского Ирины Волевич [11]

Жан Эшноз: "Я ищу новое пространство". Интервью с писателем. Перевод с французского Александры Лешневской [11]

Бассман Лутц — *Орлы смердят.* Перевод с французского Валерия Кислова [11]

Антуан Володин: "Изменить мир чуть слышным шепотом". Интервью Альет Армель с писателем. Перевод с французского Александры Лешневской [11]

Стихи

Долин Александр — *Мир в капле дождя* [2]

Из современной немецкой поэзии. Перевод с немецкого и вступление Марины Науйокс [5]

Из японской поэзии [2]

Лацфи Янош — *Стихи.* Перевод с венгерского и вступление Юрия Гусева [9]

Поэты гэндайси. Перевод с японского Александра Долина [2]

Поэты танка первой половины XX века. Перевод с японского Александра Долина [2]

Поэты хайку первой половины XX века. Перевод с японского Александра Долина [2]

Транстрёмер Тумас — *Стихи.* Переводы со шведского Александры Афиногеновой, Алёши Прокопьева [1]

Хини Шеймас — *Стихи из книги "Цепь человеческая".* Перевод с английского и вступление Григория Кружкова [3]

In memoriam

Вислава Шимборская — *Карта.* Перевод с польского и вступление К. Старосельской [4]

Дебют

Видеман Адам, Хонет Роман — *Стихи.* Перевод с польского и вступление Анастасии Векшиной [8]

Хонет Роман — См. Видеман Адам [8]

Из классики XX века

Борхес Хорхе Луис — *Стихи разных лет. Борхеизмы.* Перевод с испанского Павла Грушко [4]

Братич Радослав — *Ты куда, Моисей?* Рассказ. Перевод с сербского Василия Соколова [4]

Ёкомицу Риити — *Прозаические миниатюры.* Перевод с японского и вступление Людмилы Ермаковой [2]

Томас Дилан — *Рассказы, интервью, очерк.* Перевод с английского и вступление Ольги Волгиной [1]

Томас Дэвид — *Роковая небрежность. Кто убил Дилана Томаса?* Авторский дайджест книги. Перевод с английского Ольги Волгиной [1]

Литературное наследие

Базиле Джамбаттиста — *Сказка сказок.* Перевод с итальянского и вступительная статья Петра Епифанова [8]

Вулф Вирджиния — *"Я – Кристина Россетти"*. Эссе. Перевод с английского Маши Лукашкиной [12]

Нобре Антониу — *"Когда родился он, родились мы все"*. Стихи. Перевод с португальского и вступление Ирины Фещенко-Скворцовой [9]

Россетти Кристина — *Стихи*. Перевод с английского Маши Лукашкиной [12]

Цзи Чэн — *Устроение садов*. Фрагмент трактата. Перевод с китайского, вступление и комментарии Е. Кузьминой [6]

Культурное наследие

Из книги Псалмов. Перевод с древнееврейского, комментарии и вступление А. Э. Графова [3]

"Желаний своевольный рой". Эротическая литература на французском языке. XV–XXI вв.[1]

"В ласках неги сокровенной..." (Пьер де Ронсар)

"Страсть — единственный оратор, чьи доводы всегда убедительны" (Франсуа де Ларошфуко)

"Все прелести обещанного рая..." (Поль Верлен)

"Лишь извращенные умы видят в наготе извращение" (Жан-клод Болонь)

"Лишь если волю я даю желанью..." (Луиза Лабэ)

"Но черт сидит в тебе с изнанки" (Поль Верлен)

"Совершенно свободно говорить о самых непристойных явлениях..." (Жан-Клод Болонь)

"Пошли мне, ночь, спасительную ложь" (Луиза Лабэ)

"...Воображенье в минуту дорисует остальное" (А. С. Пушкин)

Бастид Жан-Франсуа де — *Маленький домик*. Рассказ. Перевод с французского Екатерины Дмитриевой [7]

Беранже Пьер-Жан — *Три стихотворения*. Перевод с французского Марины Бородицкой [7]

Бисмют Надин — *Секс в жизни писателя*. Перевод с французского Людмилы Пружанской [7]

Брассенс Жорж — *Моя душечка*. Песня. Перевод с французского Марка Фрейдкина [7]

Бретонн Ретиф де ла — *Порнограф, или Мнения порядочного человека о составлении нового устава для публичных женщин*. Роман в письмах. Перевод с французского Веры Мильчиной [7]

Брюн Элиза — *Неровное дыхание*. Рассказ. Перевод с французского Александры Васильковой [7]

Верлен Поль — *Стихи из сборника "Параллельно"*. Перевод с французского Михаила Яснова [7]

1. Отдельно дан номер с нетрадиционными для журнала рубриками.

Виан Борис — *О пользе эротической литературы.* Перевод с французского Марии Аннинской [7]

Виан Борис — *Свобода.* Перевод с французского Марии Аннинской [7]

Готье Теофиль — *Сокровенный музей.* Перевод с французского Михаила Яснова [7]

Жанен Дороте — *Моя мама.* Рассказ. Перевод с французского Александры Васильковой [7]

Колетт — *Три эссе.* Перевод с французского Татьяны Чугуновой, Марии Аннинской [7]

Ламарш Каролина — *Ночью и днем.* Отрывки из романа. Перевод с французского Нины Хотинской [7]

Лафонтен Жан де — *Два стихотворения.* Перевод с французского Татьяны Чугуновой [7]

Лене Паскаль — *А ничего и не было.* Рассказ. Перевод с французского Елены Головиной [7]

Либенс Кристиан — *Вкус Маризы.* Новелла. Перевод с французского Марии Аннинской [7]

Либенс Кристиан — *Поэтика секса, или Вот что я об этом знаю, дорогой Борис.* Перевод с французского Марии Аннинской [7]

Луис Пьер — *Учебник хороших манер для маленьких девочек.* Перевод с французского Марии Аннинской [7]

Маркиза Маннури д'Экто Анриэтта де — *Кузины полковницы.* Фрагменты романа. Перевод с французского Аси Петровой [7]

Маро Клеман — *Упрямка-грудь.* Перевод с французского Натальи Шаховской [7]

Массар Жанина — *Хильдерик и Кати в одной лодке.* Рассказ. Перевод с французского Ирины Волевич [7]

Граф Мирабо — *Рассказы.* Перевод с французского Натальи Мавлевич [7]

Мишлу Пьеретта — *Стихи из сборника "Она, одетая в ничто".* Перевод с французского Ирины Волевич [7]

Молине Жан — *Два стихотворения.* Перевод с французского Владимира Елистратова [7]

Нерсиа Андре де — *Мимолетное любопытство.* Пьеса. Перевод с французского Елены Морозовой [7]

Н'Зондэ Вильфрид — *Сердце сынов леопарда.* Отрывки из романа. Перевод с французского Сергея Райского [7]

Петрова Ася — *Французский эротический роман. Некоторые особенности жанра* [7]

Реверони Сен-Сир Жак-Антуан де — *Паулиска, или Новейшая развращенность.* Отрывки из романа. Перевод с французского Елены Морозовой [7]

Рейес Алина — *Мясник.* Отрывки из романа. Перевод с французского Марии Аннинской [7]

Ронсар Пьер де — *Два стихотворения.* Перевод Натальи Шаховской, Михаила Яснова [7]

Переперевод

Уайльд Оскар — *Сфинкс.* Поэма. Перевод с английского, комментарий и послесловие Михаила Матвеева [8]

Шекспир Уильям — *Отрывки из "Комедии ошибок"* (с параллельным английским текстом) в переводе Марины Бородицкой [10]

Литературный гид

Дело Вудхауза [12]

Во Ивлин — *П. Г. Вудхаузу: подразделение и покаяние.* Выступление на Би-би-си. Перевод с английского Андрея Азова

Вудхауз Леонора — *П. Г. Вудхауз дома.* Перевод с английского Андрея Азова [12]

Вудхауз П. Г. — *"Ты только не волнуйся, но тут к нам немецкая армия".* Перевод с английского Андрея Азова [12]

Вудхауз П. Г. — *Два рассказа.* Перевод с английского Екатерины Доброхотовой-Майковой [12]

Вудхауз П. Г. — *Моя война с Германией.* Перевод с английского Екатерины Доброхотовой-Майковой [12]

Газетная война. Отклики на берлинские радиопередачи П. Г. Вудхауза. Перевод с английского и вступление Андрея Азова [12]

Маккрам Роберт — *Жизнь Вудхауза. (Военные годы.)* Фрагменты книги. Перевод с английского Игоря Мокина [12]

Маккрам Роберт — *Жизнь Вудхауза. (Детство.)* Фрагменты книги. Перевод с английского Андрея Азова, Игоря Мокина [12]

Оруэлл Джордж — *В защиту П. Г. Вудхауза.* Эссе. Перевод с английского Андрея Азова [12]

NB

Стоппард Том — *До-ре-ми-фа-соль-ля-си-Ты-свободы-попроси.* Пьеса. Перевод с английского Ольги Варшавер [12]

Документальная проза

В саду ста демонов. Отрывки из дневников Хяккэна Утиды. Перевод с японского Елены Байбиковой [2]

Ефимов Игорь — *Джон Чивер.* Из книги *Бермудский треугольник любви* [10]

Карский Ян — *Мое свидетельство миру. История подпольного государства.* Главы из книги. Перевод с французского и вступление Натальи Мавлевич [5]

Утида Хяккэн — *Плач черепахи.* Перевод с японского Елены Байбиковой [2]

Холландер Анна — *Взгляд сквозь одежду.* Отрывки из книги. Перевод с английского Вадима Михайлина [6]

Сигнальный экземпляр

Кумпфмюллер Михаэль — *Великолепие жизни.* Фрагмент романа. Перевод с немецкого Михаила Рудницкого [10]

Сонтаг Сьюзен — *В Платоновой пещере.* Глава из книги *О фотографии.* Перевод с английского В. Голышева. Вступление Юрия Роста [9]

Из будущей книги

Кампана Дино — *Орфические песни.* Перевод с итальянского и вступительная статья Петра Епифанова [10]

Карп Мария *Оруэлл в Испании* [12]
Пикколо Франческо *Минуты будничного счастья.* Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича [4]

Писатель и общество

Боттон Ален де *Озабоченность статусом.* Перевод с английского Екатерины Доброхотовой-Майковой [1]

Путешествие по книге

Венедиктова Татьяна *Коварство благородной страсти* [1]
Рыскин Григорий *Безумный гений Бобби Фишер* [3]

Юбилей

Эркень Иштван *Письма-минутки.* Перевод с венгерского и вступление Татьяны Воронкиной [4]

Обратная перспектива

Бенешова Гана *Кровь Кафки: Вера Саудкова.* Интервью. Перевод с чешского Полины Козеренко [6]
Козеренко Полина *Несколько слов от переводчика* [6]
Мелихов Александр *Вдохновители и соблазнители.* (Попытка эксгумации) [9]
Щигел Мариуш *Вера Саудкова – племянница Кафки.* Перевод с польского Полины Козеренко [6]

Статьи, эссе

Байбикова Елена *Актуализация памяти.* Литературные премии Японии [2]
Бёрджер Джон *Два эссе.* Перевод с английского и вступление Анны Асланян [6]
Ефимова Марина *Моногамия под вопросом* [1]
Ефимова Марина *Женщины Хэмингуэя. Прототипы и персонажи* [3]
Ефимова Марина *Чарльз Диккенс в Америке* [4]
Ефимова Марина *К 200-летию Американской "войны 1812 года"* [10]
Калмыкова Вера *Большой стиль и маленький человек, или Опыт выживания жанра* [9]
Като Сюити *О гибридности японской культуры.* Перевод с японского Марии Григорьевой. Под редакцией Елены Байбиковой [2]
Мелихов Александр *Победитель получает плевки* [8]
Перек Жорж *Думать / Классифицировать.* Эссе. Перевод с французского Валерия Кислова [5]
Померанцев Дмитрий *Что в имени тебе моем?* [5]
Серебряная Ольга *Еще раз о беременной вдове* [1]
Утида Тацуру *Свет Америки, Японии тень.* Перевод с японского Инги Ибрахим [2]

Что думают критики

Бродо Мишель — *Беседуя с Андре Жидом на пороге издательства.* Перевод с французского Елены Леоновой [11]

Виар Доминик — *Литература подозрения: проблемы современного романа.* Перевод с французского Аси Петровой [11]

Что думают публицисты

Лакруа Алексис, Малка Лоран — *Сохранила ли Франция былую литературную мощь?* Перевод с французского Александры Лешневской [11]

Малка Лоран — см. Алексис Лакруа

Трибуна переводчика

Дорман Олег — *Украсть нельзя перевести* [10]

Шульман Эдуард — *Превозмогая обожанье: искажения и переделки* [10]

Carte blanche

Мелихов Александр — *Прагматизм романтизма* [1]

Гиршович Леонид — *О вечной старости* [3]

Писатель путешествует

Давыдов Александр — *Филипп Супо – путешественник без багажа* [1]

Ицуки Хироюки — *Город в волнах тополиного пуха.* Перевод с японского Ирины Мельниковой [2]

Мельникова Ирина — *Японский блюз и русский напев* [2]

Подколзина Ольга — См. Шарый Андрей [8]

Стариковский Григорий — *Копенгаген* [5]

Шарый Андрей, Подколзина Ольга — *Московский глобус.* Фрагменты книги [8]

В устье Гудзона с Алексеем Цветковым

Четыре эссе: Родина громоотвода. Пятно на карте. Человек на мосту. Между плащом и шинелью [8]

Письма из-за рубежа

Гандлевский Сергей — *Есть остров на том океане...* [8]

Домбаян Елизавета — *Курьезы "Одинокой звезды", или Как это делалось на Диком Западе* [1]

Ливергант Александр — *Почетные гости* [10]

Стесин Александр — *Проводы Пятого солнца* [5]

Возвращаясь к напечатанному

Михеев Алексей — *Биография и репортаж* [3]

Наши интервью

"Гэндзи Моногатари" – это не работа, а судьба". С переводчиком *Повести о Гэндзи* Т. Л. Соколовой-Делюсиной беседует Юлия Стоногина [9]

Реплика

Веденяпин Дмитрий *О книге "Стихи об Анне"* [3]
Ливергант Александр *Инкогнито проклятое, или Дело наше веселое* [5]

Ничего смешного

Нэш Огден *Вот что должно быть вышито на каждом слюнявчике.* Стихи. Перевод с английского и вступление Михаила Матвеева [4]

БиблиофИЛ

Информация к размышлению. Non-fiction с Алексеем Михеевым [5, 8, 9]

Новые книги Нового Света с Мариной Ефимовой [1, 4, 6, 9,]

Новые книги Старого Света с Анной Асланян [4]

По материалам зарубежной прессы. Подготовили Ника Бажанова, Екатерина Кузнецова [3]

По материалам зарубежной прессы. Подготовили Евгения Лакеева, Екатерина Кузнецова [1]

Среди книг с Аланом Жуковским [3]

Среди книг с Верой Калмыковой [10]

Среди книг с Еленой Овчаренко [1]

Среди книг с Ларисой Савельевой [5]

Среди книг с Татьяной Венедиктовой и Верой Калмыковой [4]

Среди книг с Ю. Л. Оболенской [6]

Библиография

Английская литература на страницах "ИЛ" [12]

Французская литература на страницах "ИЛ" [11]

Японская литература на страницах "ИЛ" [2]

Анкета "ИЛ" [12]

Содержание журнала "Иностранная литература" за 2012 год [12]

Алфавитный указатель авторов журнала "Иностранная литература" за 2011 год [12]

Авторы номера [1—6, 8—12]

Переводчики номера [7]

Алфавитный указатель авторов журнала "*Иностранная литература*" за 2012 год

Аннинская М. [3, 7]
Арминио Ф. [1]
Асланян А. [4, 6]
Бажанова Н. [3]
Базиле Дж. [8]
Байбикова Е. [2]
Баскакова Т. [6]
Бассман Л. [11]
Бастид Ж.-Ф. де [7]
Бахман И. [10]
Белобратов А. [10]
Бенешова Г. [6]
Беннетт А. [4]
Беранже П.-Ж. [7]
Бёрджер Д. [6]
Бисмют Н. [7]
Борхес Х. Л. [4]
Боттон А. де [1]
Брассенс Ж. [7]
Братич Р. [4]
Бретонн Р. де ла [7]
Бродо М. [11]
Брюн Э. [7]
Веденяпин Д. [3]
Векшина А. [8]
Венедиктова Т. [1, 4]
Верлен П. [7]
Виан Б. [7]
Виар Д. [11]
Видеман А. [8]
Во И. [12]
Волгина О. [1]
Воронкина Т. [4]
Вудхауз Л. [12]
Вудхауз П. Г. [12]
Вулф В. [12]
Гандлевский С. [8]
Гардем Дж. [12]
Гиршович Л. [3]
Готье Т. [7]
Графов А. Э. [3]
Гусев Ю. [9]
Гэллико П. [5]
Давыдов А. [1]
Долин А. [2]
Домбаян Е. [1]
Дорман О. [10]
Епифанов П. [8, 10]
Ермакова Л. [2]
Ефимов И. [10]
Ефимова М. [1, 3, 4, 6, 9, 10]
Ёкомицу Р. [2]
Ёсида С. [2]
Жанен Д. [7]
Жуковский А. [3]
Идзуми К. [2]
Исида И. [2]
Ито С. [2]
Ицуки Х. [2]
Калмыкова В. [4, 9, 10]
Кампана Д. [10]
Карп М. [12]
Карский Я. [5]
Като С. [2]
Козеренко П. [6]
Коикэ М. [2]
Колетт [7]
Константайн Д. [12]
Коуту М. [8]
Кружков Г. [3]
Кузнецова Е. [1, 3]
Кузьмина Е. [6]
Кумпфмюллер М. [10]
Лакеева Е. [1]

Лакруа А. [11]
Ламарш К. [7]
Лафонтен Ж. де [7]
Лацфи Я. [9]
Лене П. [7]
Либенс К. [7]
Ливергант А. [5, 10]
Луис П. [7]
Мавлевич Н. [5, 7]
Мазинани М.-К. [9]
Маккрам Р. [12]
Малка Л. [11]
Маркиза Маннури д'Экто А. де [7]
Мантел Х. [12]
Маро К. [7]
Массар Ж. [7]
Матвеев М. [4, 8]
Мелихов А. [1, 8, 9]
Мельникова И. [2]
Мильяс Х. Х. [1]
Граф Мирабо [7]
Михеев А. [3, 5, 8, 9]
Мишлу П. [7]
Мишон П. [3, 11]
Молине Ж. [7]
Мураками Р. [2]
Науйокс М. [5]
Нерсиа А. де [7]
Н'Зондэ В. [7]
Нобре А. [9]
Нотебоом С. [9]
Нэш О. [4]
Оболенская Ю. [6]
Овчаренко Е. [1]
Окада Т. [2]
Оруэлл Дж. [12]
Пикколо Ф. [4]
Перек Ж. [5]
Петрова А. [7]
Подколзина О. [8]
Померанцев Д. [5]
Прокопьев А. [1]
Реверони Сен-Сир Ж.-А. де [7]
Рейес А. [7]
Ронсар П. де [7]
Россетти К. [12]
Рыскин Г. [3]
Савельева Л. [5]
Серебряная О. [1]
Середа В. [3]
Сёно Ё. [2]
Сёч Г. [3]
Соколова-Делюсина Т. Л. [9]
Солонович Е. [4]
Сонтаг С. [9]
Стариковский Г. [5]
Стесин А. [5]
Стоногина Ю. [9]
Стоппард Т. [12]
Сэвидж С. [5]
Томас Дилан [1]
Томас Дэвис [1]
Торп А. [12]
Транстрёмер Т. [1]
Уайльд О. [8]
Утерс Ж.-Л. [4]
Утида Т. [2]
Утида Х. [2]
Фай Э. [10]
Фещенко-Скворцова И. [9]
Фитцджеральд П. [12]
Фоулдз А. [6]
Хини Ш. [3]
Хирабаяси Т. [2]
Холландер А. [6]
Хонет Р. [8]
Хюрлиман Т. [6]
Цветков А. [8]
Целан П. [10]
Цзи Чэн [6]
Цуцуи Я. [2]
Шарый А. [8]
Шекспир У. [10]
Шепард Дж. [8]
Шимборская В. [4]
Шульман Э. [10]
Щигел М. [6]
Эркень И. [4]
Эшноз Ж. [11]

Роберт Маккрам
Robert McCrum
[р. 1953]. Писатель, редактор.

Автор книг *Достославный англичанин* [*The Fabulous Englishman*, 1984], *Вселенский язык: как английский стал языком международного общения* [*Globish: How the English Language Became the World's Language*, 2010].
Главы из биографии Вудхауза публикуются по изданию *Wodehouse: A Life* [London: Viking, 2004; New York: Norton, 2004].

Пелем Гренвил Вудхауз
Pelham Grenville Wodehouse
[1881–1975]. Англо-американский писатель юморист.

Автор многочисленных романов, рассказов, мюзиклов и пьес, создатель циклов о Дживсе и Вустере, лорде Эмсворте, Псмите и других. Его произведения многократно выходили в русских переводах, в частности, многотомное собрание его сочинений, осуществленное издательством *Остожье* [1995–2008].
Статья *My War with Germany* взята из журнала [*Saturday Evening Post*, 19.07.1941], рассказ *Guardian* взят из сборника *"Бросок!" и другие рассказы* [*The Swoop! And Other Stories*. New York: Seabury, 1979], рассказ *The Autograph Hanters* взят из книги *Рассказы, не вошедшие в сборники* [*The Uncollected Wodehouse*. New York: Seabury, 1976].

Леонора Вудхауз
[в замужестве Казалет]
Leonora Wodehouse
[Cazalet]
[1905–1944]. Падчерица [и приемная дочь] П. Г. Вудхауза, писательница.

Автор рассказов, которые публиковала в журналах под различными псевдонимами. В частности, детективный рассказ *Дознание* [*The Inquest*, 1932] был впервые атрибутирован, переведен на русский язык и опубликован в антологии *Только не дворецкий* [2011].
Статья *P. G. Wodehouse at Home* взята из журнала [*Strand* (London), January 1929. Vol. 77].

Ивлин Во
Evelyn Waugh
[1903–1966]. Писатель.

Автор романов *Упадок и разрушение* [*Decline and Fall*, 1928], *Черная беда* [*Black Mischief*, 1932; рус. перев. *ИЛ*, 1991, № 6], *Пригоршня праха* [*Handful of Dust*, 1934; рус. перев. 1971], *Сенсация* [*Scoop*, 1938; рус. перев. 1992], *Не жалейте флагов* [*Put Out More Flags*, 1942; рус. перев. 1971], *Возвращение в Брайдсхед* [*Brideshead Revisited*, 1945; рус. перев. 1974], *Незабвенная* [*The Loved One*, 1948; рус. перев. *ИЛ*, 1969, № 2], *Офицеры и джентльмены* [*Officers and Gentlemen*, 1955; рус. перев. 1977] и др.
Текст *An Act of Homage and Reparation to P. G. Wodehouse* взят из сборника *Эссе, статьи и рецензии Ивлина Во* [*The Essays, Articles and Reviews of Evelin Waugh*. London: Methuen, 1983].

Джордж Оруэлл
George Orwell
[1903–1950]. Писатель и журналист.

Автор романов, повестей, критических статей. Наиболее известен благодаря роману-антиутопии *1984* [*1984*, 1949] и повести *Скотный двор* [*Animal Farm: A Fairy Story*, 1945].
Публикуемое эссе взято из сборника *Критические эссе* [*Critical Essays*. London: Secker and Warburg, 1946].

Том Стоппард
Tom Stoppard
[р.1937]. Английский драматург.

Автор пьес *После Магритта* [*After Magritte*, 1971; рус. пер. 2000], *Ночь и день* [*Night and Day*, 1978; рус. перев. 2000], *Хэпигуд* [*Hapygood*, 1988], *Берег утопии* [*The Coast of Utopia*, 2002; рус. перев. 2006], *Рок-н-ролл* [*Rock'n'Roll*, 2006; рус. перев. 2011] и др., телесценариев, радиопьес. В *ИЛ* были напечатаны пьесы *Розенкранц и Гильденстерн мертвы* [1990, № 4 1990], *Аркадия* [1996, № 2], *Травести, или Комедия с переодеваниями в двух действиях* [2000, № 12].
Перевод выполнен по изданию *Every Good Boy Deserves Favour & Professional Foul* [Faber and Faber Limited, 1971].

Джейн Гардем
Jane Gardem
Писательница. Лауреат Уитбердовской премии [1983, 1991] и других литературных премий.

Автор романов *Бог на скалах* [*God on the Rocks*, 1978], *Дочь Крузо* [*Crusoe's Daughter*, 1985], *Человек в деревянной шапке* [*The Man in the Wooden Hat*, 2009] и др.
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Зайти в темный дом* [*Going into a Dark House*. London: Sinclair-Stivenson, 1994].

Адам Торп
Adam Thorpe
[р. 1956]. Поэт и прозаик.

Автор книги стихов *Птицы со сломанным крылом* [*Birds with a Broken Wing*, 2007] и др., романов *Алвертон* [*Ulverton*, 1992], *Нет сообщения* [*No Telling*, 2004], *Между каждым вздохом* [*Between Each Breath*, 2007] и др., сборников рассказов *Перемещения* [*Shifts*, 2001], *Вы именно так выразились?* [*Is This The Way You Said?* 2006] и др. В *ИЛ* опубликован его роман *Правила перспективы* [2009, № 5–6].
Публикуемый рассказ взят из антологии *Новая литература 9* [*New Writing 9*. [Vintage, 2000].

Хилари Мантел
Hilary Mantel
Писательница и литературный критик, лауреат Букеровской премии [2009, 2012].

Автор многих романов, в частности *Перемена климата* [*A Change of Climate*, 1994], *Чернее черного* [*Beyond Black*, 2005; рус. перев. 2010], *Волчий зал* [*Wolf Hall*, 2009; рус. перев. 2011], *Подать сюда их тела* [*Bring up the Bodies*, 2012].
Рассказ *Third Floor Rising* взят из сборника *Учась говорить* [*Learning to Talk*. London: Harper Collins Publishers, 2010], впервые появился в *The Times Magazine*, 2000.

Дэвид Константайн
David Constantine
[р. 1944]. Писатель, поэт, переводчик, профессор Оксфордского университета. Лауреат Национальной премии Би-би-си в области рассказа за рассказ *Чай в "Мидлэнде"* [2010].

Автор романа *Дэвис и огненные поля: Жизнь сэра Уильяма Гамильтона* [*Davies* and *Fields of Fire: A Life of Sir William Hamilton*, 1985], поэтических сборников *Заметить дельфинов* [*Watching for the Dolphins*, 1983], *Кое-что для призраков* [*Something for the Ghosts*, 2002], *Под плотиной* [*Under the Dam*, 2005] и др.
Рассказ взят из сборника *Национальная премия Би-би-си в области рассказа* [*The BBC National Story Award*. Manchester: Comma Press, 2010].

Пенелопа Фицджеральд
Penelope Fitzgerald
[1916–2000]. Писательница, лауреат Букеровской премии [1979].

Автор романов *Книжная лавка* [*The bookshop*, 1978], *На воде* [*Offshore*, 1979], *Голубой цветок* [*The Blue Flower*, 1995] и др.
Публикуемый рассказ взят из сборника *Средства спасения* [*The Means of Escape*. London: Flamingo, 2000].

Вирджиния Вулф
Virginia Woolf
[1882–1941]. Писательница.

Автор романов, рассказов и эссе. В *ИЛ* были опубликованы романы *Миссис Дэллоуэй* [*Mrs. Dalloway*, 1984, № 4], *Комната Джейкоба* [*Jacob's Room*, 1991, № 9], *Орландо. Биография* [*Orlando. A Biography*, 1994, № 11], *Волны* [*The Waves*, 2001, № 10], *Между актами* [2004, № 6]; в Библиотеке *ИЛ* вышли рассказы и повесть *Флэш* [1986].
Публикуемое эссе взято из книги *Обычный читатель: часть вторая* [*The Common Reader, second series*. London: Hogarth Press, 1932].

Кристина Россетти
Christina Rossetti
[1830–1894]. Поэт.

Автор нескольких поэтических сборников, в том числе *Базар гоблинов и другие стихотворения* [*Goblin Market and Other Poems*, 1862], а также стихотворного сборника для детей *Дин-дон* [*Sing-Song*, 1872]. На русском языке публиковалась в журналах и антологии.
Публикуемые стихи взяты из *Полного собрания стихов* [*The Complete Poems*. Penguin Books, 2001.].

Мария Поэлевна Карп
Переводчик стихов и прозы с английского и немецкого языков. Живет в Лондоне. Лауреат премии *ИЛ* [1991].

В ее переводе публиковались стихи У. Х. Одена, Дилана Томаса, Элизабет Дженнингс, поэма Н. Ленау *Дон Жуан*, повесть Джорджа Оруэлла *Скотское хозяйство* [2001], роман Вирджинии Вулф *Комната Джейкоба* [*ИЛ*, 1991, № 9] и др. В *ИЛ* публиковалась также ее статья *Исследование импульсов* [2006, № 11].
Один из авторов рубрики *ИЛ Письма из-за рубежа.*

Андрей Геннадьевич Азов
Переводчик с английского.

В его переводе, в частности, выходили рассказы П. Г. Вудхауза *Бить будет Катберт* [2004] и Леоноры Вудхауз *Дознание* [2011]. В *ИЛ* публикуется впервые.

Игорь Викторович Мокин
[р. 1986]. Переводчик с английского и скандинавских языков, преподаватель, кандидат филологических наук.

В *ИЛ* опубликован его перевод рассказа Р. О. Фримена *Послание со дна моря* [2008, № 1], фрагментов книги Д. Рескина *Современные художники* [2009, № 1], глава из книги *Экономика престижа* Джеймса Инглиша [2009, № 7], а также статья *"Слог богатырских лет"* [2010, № 12].

Екатерина Михайловна Доброхотова-Майкова
Переводчик с английского. Лауреат премии имени И. А. Ефремова *За достижения в области художественного перевода* за перевод цикла произведений Н. Стивенсона [2009].

В ее переводах выходили произведения П. Г. Вудхауза, М. Брэдбери, К. Льюиса, Н. Стивенсона, С. С. Форестера и др. В *ИЛ* опубликован ее перевод книги А. де Боттона *Озабоченность статутом* [2012, № 1].

Ольга Александровна Варшавер
Переводчик с английского.

В ее переводе выходила проза П.Теру, Н. Мейлера, Ш. Джексона, Б. Плейна, А. Кристи, А. Конан-Дойла, Дж.Троппера, Н. Краусса, Р. Конквеста, Дж. Мильтона и др., драматургия Т. Стоппарда, А. Мердок, Н. Лабьют и др., а также детская литература Э. Фарджона, Л. Ф. Баума, К. Ди Камилло, Д. Амонд, Ф. Б. Керра, Э. Б. Де Тревиньо, Т. Унгерер, Г. Д. Шмидта, Р. Уэллса и др.
Неоднократно публиковалась в *ИЛ*. Ее перевод пьесы Т. Стоппарда *Аркадия* [1996, № 2] вошел в шорт-лист премии *Инолит*, а переводы детских сказок и повестей Кейт Ди Камилло — в шорт-лист премии *Мастер* [2010].

Ольга Владимировна Новицкая
Переводчик с английского, преподаватель.

В ее переводах публиковались рассказы Д. Томаса и Г. Бейтса. В *ИЛ* напечатан ее перевод эссе Антонии С. Байетт [2006, № 1], рассказов А. Конан Дойла *Подлинная история о привидениях Горсторпской усадьбы* [2008, № 1] и Д. Шиклера *Ямайка* [2008, № 8].

Сергей Борисович Ильин
[р. 1948]. Переводчик с английского. Лауреат премии *ИЛлюминатор* [1999].

В его переводе издавались произведения В. Набокова, Дж. П. Донливи, Т. Уайлдера, Н. Марш, Ф. Рота, Дж. Хеллера, М. Кутзее, С. Миллхаузера и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Александра Леонидовна Борисенко
Переводчик, литературовед, кандидат филологических наук.

Автор ряда эссе, напечатанных в *ИЛ*: *О Сэлинджере с любовью и всякой мерзостью* [2001, № 10], *Песни невинности и песни опыта* [2002, № 4], *Льюис Кэрролл: мифы и метаморфозы* [в соавторстве с Н. Демуровой; 2003, № 7], *Иэн Макьюен: Фауст и фантаст* [2003, № 10], *Литературные премии США — XXI век* [в соавторстве с В. Сонькиным; 2004, № 4], *Сэлинджер начинает и выигрывает* [2009, № 7]; а также перевода фрагментов книги Э. Хоффман *Искусство потерь: опыт жизни в новом языке* [2003, № 1], эссе А. Картер *Элисон смеется* [2003, № 6], Л. Менанда *"Над пропастью во ржи" 50 лет спустя* [2005, № 10], Г. Грина *Беатрикс Поттер: критический очерк* [2006, № 1], Х. Карпентера *"Джейн Остин детской": Беатрикс Поттер как мастер стиля* [в соавторстве с В. Сонькиным; 2006, № 1] и др., составитель номера *Парадоксы литературного перевода* [2010, № 12].

Виктор Валентинович Сонькин
[р. 1969]. Журналист, литературовед, переводчик с английского, сербского и словенского языков.

Автор еженедельной рубрики *Салон* в газете *The Moscow Times*. В *ИЛ* публиковались [совместно с А. Борисенко] эссе *Букеровская премия и лоскутные одеяла* [1997, № 6], *Литературные премии США — XXI век* [2004, № 4], *Гаспаров-переводовед и Гаспаров-переводчик* [2010, № 12], переводы публицистических произведений и эссеистики Дж. Лондона [1992, № 2], П. Остера [1996, № 10], Ч. Симика [1996, № 10], У. Стайрона [1997, № 12], Ш. Андерсона [1999, № 7], Х. Карпентера [2006, № 1], Р. Чандлера [2010, № 12] и др.

Екатерина Дмитриевна Кузнецова
Аспирантка МГУ, переводчик с английского.

Автор заметок к рубрике *ИЛ По материалам зарубежной прессы*.

Маша Лукашкина [Мария Михайловна Лукашкина]
Детский поэт и переводчик с английского.

Автор книг *Забавные животные* [2004], *Моя любимая арифметика* [2004] и др. В ее переводе печатались баллада *Тикондерога* и сборник стихов *Поучительные эмблемы* Р.Л. Стивенсона, сказка *Слон Хортон высиживает яйцо* Доктора Сьюза и др.

В оформлении обложки использован фрагмент фотографии американского путешественника, фотографа и режиссера Бертона Холмса [1870–1958] *Лондон, Флит-стрит* [1919].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая");
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10 / 7).

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

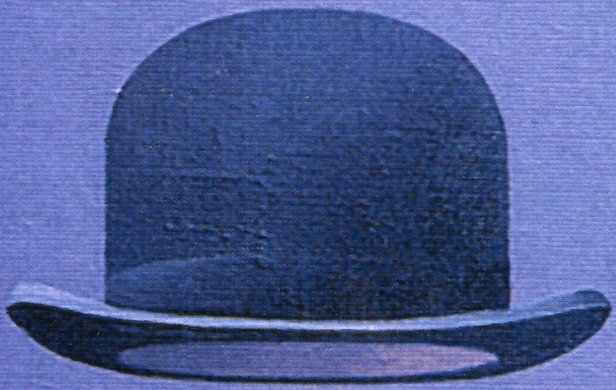
Подписано в печать 15.11.2012
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 97.
Тираж 5000 экз.
Отпечатано ОАО "Типография "Новости", 105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

[1] 2013

КНИГА СТИХОВ ВИСЛАВЫ ШИМБОРСКОЙ “ДОВОЛЬНО” / ПОВЕСТЬ АЛАНА БЕННЕТТА “ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ МИССИС ДОНАЛДСОН” / РАССКАЗЫ ТОМАСА КОРАГЕССАНА БОЙЛА, ГЕОРГА КЛЯЙНА, ХАНИФА КУРЕЙШИ И ДР. В РУБРИКЕ “Я ПРИШЕЛ ИЗ ИНОЙ СТРАНЫ...” / ИОСИФ БРОДСКИЙ В РУБРИКЕ “ВГЛУБЬ СТИХОТВОРЕНИЯ” / ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА: “БЕРЛИНСКИЕ ОЧЕРКИ” ЙОЗЕФА РОТА / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД: “РОМАН-НЕВИДИМКА РАЛЬФА ЭЛЛИСОНА”

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература":
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 41

ISSN 0130-6545 12012
9 770130 654770

ИНДЕКС 70394
ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2012, №12, 1-288